



ЛЕОНИД
ЛАТЫНИН

ГРИМЕР И МУЗА

**THE FACE-MAKER
AND THE MUSE**

ФТМ

2021

УДК 82-821
ББК 84 (1 Рос=Рус) 6-5
Л27

**Оригинал-макет книги для PoD-издания
подготовлен ООО «Агентство ФТМ, Лтд.»**

Латынин, Л.

Гример и Муза. The Face-Maker and the Muse. Роман. / Леонид Александрович Латынин. Перевод на англ. Эндрю Бромфилда. И— Москва: ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2021. — 516 с.

В оформлении обложки использованы иллюстрации Андрея Нефёдова и Тимура Исхакова.

ISBN 978-5-4467-1333-2

Леонид Латынин — русский поэт и прозаик. Автор книг стихов, работ по русскому народному искусству, романов «Гример и Муза», «Спящий во время жатвы», «Берлога», «Ставр и Сара», «Русская правда», изданных в России, Европе и Америке. В книгу также включен английский перевод Andrew Bromfield романа-антиутопии «Гример и Муза».

litagent.ru

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

ISBN 978-5-4467-1333-2

© Текст. Л. А. Латынин, 2021
© ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2021

ПРЕДИСЛОВИЕ

ДЕРЖИ УМ ВО АДЕ — И НЕ ОТЧАИВАЙСЯ

СИГУАН

Это — тяжела книга. И выматывающ душу был труд ее читать. Представляю, какое же тысячекрат самосгорание — был труд автора ее писать. Труд мыслительный, нравственный и художнический. Уж полтора года прошло, как прочитал я эту книгу, — и до сих пор сердце саднит и подташнивает: словно сам на костре, на аутодафе сгорал, будто тебе делали пластическую операцию лица... От ума до физиологии — всепроникновенно действие чтения этого было. Сочинение мифотворческое — и кишечнополостное зараз.

Состояние — подобное акту покаяния: когда взглянешь в недра сокровенные свои — и ужаснешься и затошнит и завзыскуешь очищения, преображения града Истины и Блага уже не только верхушечностью головы, где идеалы под черепушкой обитают, — но печенью, селезенкой и гениталиями.

Книга, чтение ее — как болезнь смертельная. Но переболев, обретаешь иммунитет и закалку против напасти подобной. Катарсис.

Вроде и простенок сюжет: ходят люди на работу, дома любят друг друга, затем — конфликт с начальством и уход. Но под этим — притча, философема. То не «работа» просто, а некий вселенский комбинат по переделке бытия и чело-века. То не рабочие, а Архитворец, как Фауст, — и роботы

снивелированные. То не изготовление изделий-деталей (работа ихняя), но преображение плоти и всего существа: чрез операцию лица души — тут Гомункулусов выведение.

Да: нечто и средневековое, алхимически-цеховое, фаустиански-парацельсово, из века Тиля Уленшпигеля и Джордано Бруно, есть в романе-притче этом, — и в то же время архимодерно-техническое присутствует как в научно-фантастических романах XX века: социальные утопии и антиутопии...

И — вполне русская это вещь: от Аввакумова, раскольничьего, саможжения, через Достоевскую легенду о Великом Инквизиторе, да и сны: Смешного человека и Веры Павловны о дворце хрустальном — нить тут идет.

«Она требует мыслей и мыслей», — так понял Пушкин долг прозы.

В нашей прозе современной есть и наблюдательность, лиризм, описания, соображения, характеры даже, — но с мыслью дело туго: вяленька, слабенька. Потому-то и не тянет на роман, а лишь повесть так состояться еще может. Роман Латынина — или, скорее, философская повесть его, — напором и волей мысли художественной властно захватывает: впитать те традиции культуры, которые упоминал, — и скрутить спираль своего самобытного сюжета (а роман построен четко-конструктивно), каким ставит как бы художественно-мысленный эксперимент над потенциями общества и истории, и над нравственными возможностями человека в предельной ситуации, — о, на это немало надо творческой энергии!

И вдруг — нежность и невозможность быть без друг друга: парение Любви — над всем этим скрежетом... как выход и надежда.

Из мытарств, которым, как в средневековых житиях, душа подвергается, и из испытаний-пыток, искусных в веке нашем-сём, дух человеческий имеет надежду выйти преображенным.

Так что, при сатанинской кромешности бесовского действия-мистерии, как наружи и плоти, и внешности (а «кромешнее» «внешнее») — все с плотью да с веществом, с душами — в аппаратуре, — тихая ангельская музыка сфер слышится, и есть — сияние!..

Соответствуют и язык: вязкая, густая образность, плотяно-языческая, даже барочная, в волевом потоке фразы — оказывается просто понятна, ибо в прозрачности чистой и простодушной купается...

ГЕОРГИЙ ГАЧЕВ



ГРИМЕР И МУЗА



ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Копоть нехотя встала на крыло, скользнула за спину, и Гримеру, сквозь просветлевшее и ставшее еле различимым в сером дневном свете пламя, открылся Город, который отсюда, из-под навеса, отделенный от глаз сухим пространством, был непривычен.

С улицы, из дождя, Город выглядел размытее, серее и всегда была видима только часть его. А отсюда, с высоты, через пламя, сухой воздух и дождь Город чуть трепетал, отделялся от земли и плыл, как будто наконец перестал притворяться и стал таким, каким он был на самом деле.

Сначала появилось тепло около дождя, и на ветру это было приятно, но потом языки огня, нагрев подошвы еще не теплом своим, а только жаром, обожгли ступни, и тут же сразу, без паузы, один из них лизнул в пах. Гример дернулся и вспомнил, что привязан крепко, и вздрогнул только внутри себя. И еще ощутил, что тело готово привыкнуть к огню, оно выпустило пот, защищаясь от жара. В это время ветер наклонил языки пламени, и они нехотя отошли от тела Гримера. Стало непривычно холодно, но непривычно — это была неправда, это было привычно холодно, но привычно холодно до огня. Гример поежился. А Город, отлепившись от земли, казалось, пытается осуществить смысл своей жизни — подняться на холм, над которым сейчас жил Гример. Но как ни высоко жил он, еще выше был Дом за

его спиной, и, наверное, с крыши Дома Гример увидел бы еще большую часть Города, а сейчас он мог видеть только ровные ряды домов, которые полукружьем обступили холм со всех сторон, образуя строгие параллельные ряды. Словно вывернутый наизнанку, но не тронутый временем античный театр, своими ступенями отделившись от земли, карабкался на холм, — никакой суеты, ни один из рядов не торопился опередить другой, и в движении вверх они сохраняли строгость, очередность, стройность, правильность. Отсюда было хорошо видно, как ровно расстояние между рядами, и только однажды широкий пояс разрыва разбивал ряды домов на два разновеликих отряда — так войско двигается, выставив вперед командиров, и только через осязаемое, заметное даже издали расстояние, достаточное, чтобы не спутать ведущих и остальную массу, шагают солдаты.

И опять другой порыв ветра вернул огонь к телу Гримера. За это время огонь уже вырос и, соскучившись, как по хозяину, языком лизнул Гримера в лицо. Вспыхнули брови, согнулись, побелели и исчезли, оставив белые завитки пепла. Еще чуть выше поднялся ласковый язык, и волосы исчезли, словно юркнули внутрь черепа. Так суслик, на минуту выглянув наружу и услышав приближение врага, прячется в свою нору. Отвратительный запах горящих волос, пожалуй, даже более отвратительный, чем боль.

Гример закрыл глаза. И все равно в них еще остался Город, каким Гример видел его впервые отсюда, — ровные полукольца, обнимающие холм. Веки нагрелись, и одно, не выдержав жары, лопнуло, глаз не выдержал света и огня, высох и перестал различать мир. И последнее, что успел им впрямую увидеть Гример, — первый ряд сплющился, вытянулся и выгнулся круто

в противоположную сторону, как будто попытался сопротивляться наступающим на него рядам, и вдруг не выдержал и лопнул от напряжения. И все — дальше красная тьма, Гример попытался запрокинуть голову и втиснуть живой глаз внутрь и почувствовал, как огонь ослаб. Может быть, ветер может быть, сложенное под его ногами барахло, прогорев, обвалилось и огонь отступился, скользнул вниз вслед за прогоревшим барахлом. Гример открыл оставшийся глаз. Конечно, это ему показалось: первый ряд все так же, ровно и правильно, полукольцом душил холм. С этим своим высохшим глазом он проморгал ощущение, что ноги уже начали гореть, обуглившаяся изогнутая подошва, наверное, стиснула ногу, но из-за боли тлеющей ступни боль зажатой ноги он не чувствовал. Только мозг еще мог предположить это, и все же тело, независимо от мозга, еще сопротивлялось жаре своей главной болью — хотя будущие причины уже смиряли Гримера с ней.

Огонь в это время взобрался на какую-то кипу бумаги и, подпрыгнув, кольнул копьем в сердце Гримера. Эта боль, пожалуй, была бы сильной, если б не выгорел глаз и не тлели ноги. Как жалко, что над ним навес, — если б навеса не было, дождь давно бы залил огонь и на этом все кончилось, он готов к испытаниям и огнем, но не до такой же степени, пора бы уже и снять Гримера, в конце концов он уже потерял один глаз и работать будет труднее. Пламя вспыхнуло еще ярче и шире, и Город исчез за его спиной. Вверху загорелся навес. Пламя пробилось наружу. Гример обрадовался, выплюнул солоноватую слюну. Сейчас хлынет дождь. Нет, уже поздно. Струи дождя, не достигая пламени, испарялись и исчезали. Огонь был сильнее воды. Конечно, рано или поздно огонь ослабнет и дождь возьмет свое, потому что огонь — это временно, пока есть чему гореть, как

бы он ни был силен, а дождь в этом Городе постоянен. Но Гримеру-то от этого не будет легче: пока осилит дождь и иссякнет огонь, что останется от тела? Во всяком случае, не то, что потом может спуститься с холма и открыть дверь, за которой его ждет Муза. Стало чуть прохладнее, — все-таки, не одолевая огонь, вода сделала его терпимее. Но глаз открыть было рискованно. Кожа на животе стала лопаться, трещины поползли по бедрам, до колен Гример уже не чувствовал боли.

И все же ему повезло. Он успел получить Имя. Ведь он — Гример, а не просто Семьдесят седьмой, каким был еще два года назад. И Муза, его Муза, тоже сегодня не безымянна... И он почувствовал, как живот стал вздвухаться, вот уж никогда не думал Гример, что живот так поведет себя в огне. А, нет, это все-таки заблуждение — просто кожа лопнула и все, что было внутри, вывалилось наружу. Подожди, у тебя уже путаются мысли, если б это вывалилось, то нужно было бы открыть один глаз, чтобы подобрать все это, когда связаны руки, ты же можешь видеть, следовательно, помочь. Или нет, когда связаны глаза, ты можешь быть ни в чем не виноватым. Опять не так?

Не так. Это не выход. Успокойся, вспомни. Что не боится огня? Камень? Камень. Тело, видимо, еще подчинялось мысли. Ибо все, что оставалось живого в Гримере, стало камнем. И справедливо — ведь если нет выхода, значит, надо его выдумать. И мысли опять, как споткнувшийся бегун, поднялись и затрусили дальше, чуть прихрамывая. Да, действительно, думал Гример, если сейчас открыть оставшийся глаз — он сгорит, если открыть рот — сторят его речь и дыхание, если он будет ощущать боль, не выдержит мозг.

И Гример засмеялся. Выход не надо было выдумывать. Все стало просто, он камень, а камень не боится

огня, раскаляясь, он всего лишь становится красным и хрупким, выделяя пот, чтобы уравновесить температуру, исполняя закон будущих причин.

И тут возникло сомнение — так внезапно открывается пропасть за поворотом, на месте еще вчера бывшей здесь дороги. Став камнем, сможет ли он работать? И обойдутся ли без него? Не каждому дано людей, от природы разных, выправить в одно лицо — такое, как в зале на стене в Доме за его спиной. Гример даже сейчас, за годы работы выучив наизусть каждую черту этого лица, здесь — над Городом, в огне, спрятав внутрь себя последний оставшийся в живых глаз, — видел это лицо так же ясно, как если бы смотрел на себя в зеркало с полуметрового расстояния.

Брось спичку в стог сухого сена, и увидишь, что станет с сомнениями Гримера. Только красный пепел запыряет в воздухе. И ничего. Только почерневшее пятно на земле. Наверное, еще меньше след от будущей памяти. Хотя был же он, стог, трава которого еще не взошла, летели по ветру красные пчелы, прятались в нору суслики, спасаясь от огня, и пахло паленым волосом, и дымилось мясо, ставшее камнем.



ВЫБОР

I

Идет дождь, и только внутри человека его нет. Как ни силен, как ни постоянен, как ни настойчив, как ни повторим, как ни холоден, как ни всемогущ он, дождь, дождь синий в косую линейку — реки, красный в крупную клетку — солнца, зеленый, сквозь листья — вниз — на пик капюшона плаща — по плечам — наземь, а там в поток, в канал и загород, — как ни силен он, дождь, внутри человека течет мысль, набухает кровью, выходит паром изо рта или застывает в мозгу памятью на всякий случай, в надежде когда-нибудь пригодиться. Все, что вне человека, подчинено законам природы, все, что внутри человека, ничему и никогда не подчинено. Он может прожить в подполье, то есть сам в себе, жизнь, и никто не узнает об этом, потому что он будет идти, как Гример идет сейчас по улицам Города, возвращаясь с работы, как возвращается сейчас с работы Гример, потому что его будет ждать дома Муза, случайно доставшаяся ему, его верная Муза, как ждет Муза нашего Гримера. И все равно дождь — сверху вниз, а кровь внутри тела, в неправильном, в единственном направлении не-за-ви-си-мо от направления дождя, — так или примерно так в радости рассуждает Гример. В радости, потому что рано или поздно сбывается то, чего

ждешь и чему единственно верен. И все же час встречи человека с самим собой главным неожидан и случаен и, может быть, губителен, может быть, и не нужен, а наоборот, чем долее проживешь в ожидании часа этой встречи, тем больше будет осмыслена жизнь твоя. Так или примерно так и примерно, может быть, такими словами Гример рассуждает на пустынной улице Города, не замечая, что мысль защищает его от происходящего снаружи и идет он, не чувствуя, как дождь сжимает своими холодными тяжелыми руками тело и пригибает голову к камню, что, лежа под ногами, надежно служит жителям Города.

II

Как все переменялось. Еще вчера по этим же улицам почти с теми же мыслями Гример шел, ощущая этот дождь складками плаща, а потом и кожи, принимая тяжесть этого потопа — сверху вниз. А сегодня, не перестав лить, а, может быть, идя и сильнее, дождь был не ощущаем Гримером.

Произошло то, чего ждал он годы.

Уже один раз, поторопившись ускорить ожидание, Гример потерял остатки веселости, приобрел после Комиссии безразличие к страху и, затаившись, опять стал готовиться к сегодняшнему дню, не зная, что он будет сегодняшним, разумеется.

Таможенник появился в предобеденные четверть часа в лаборатории, и пациентка, лежавшая на столе, натянув простыню на грудь, округлила глаза и попыталась подняться. Тогда-то Гример в ее глазах и увидел Таможенника.

Жестом Таможенник поднял пациентку со стола, та от холода поплотнее закуталась в простыню, встала

и, поняв, что ее высылают из кабинета, вышла за дверь.

Гример стоял, неловко опустив руки, и в одной из них в пальцах остался скальпель. Он попытался встать понеzáвсимей — согнул руку и швырнул по-свободнее скальпель в белую никелированную коробку с инструментами, но свободы изображалось, видимо, больше, чем ее было, и в сочетании с волнением бросок оказался неловким — скальпель шлепнулся на дно, отскочил, выехал за пределы коробки, полетел остро на пол и, на мгновенье сверкнув, как блесна в воде, погас.

Гример с удивлением обнаружил в себе черты, которые в нем существовали только до Комиссии. В-первых, он волновался, а во-вторых, перестал владеть собой до такой степени, что это волнение стало видимо чужому глазу. И это обрадовало Гримера. Так радуется, ощупывая себя, человек, упавший со скалы, выплывающий в жизнь из непамяти, ибо оказывается, что не только жив он, но целы и послушны руки и ноги ему, видит глаз и слышит ухо; радуется, до конца не веря своему осознанию, но радуясь даже этому неверию.

Значит, за пределами быта Гример по-прежнему чувствует все, как и прежде. А приход Таможенника — это мимо быта, это над бытом, это из жизни, в которой до сегодняшнего дня не было Гримера. Из жизни, спеша в которую в прошлом году чуть не сломал себе шею Гример. И все-таки опыт безразличия и владения собой, оказывается, работал и в этой новой жизни — если внушить себе мысль, что приход Таможенника — новый и все же быт, то приходит почти прежняя, только напряженная свобода.

Но и эта придуманная свобода оказалась почти мгновенной. Так заколачивают костыли в шпалу: один

удар, второй — и вот уже только шляпка на поверхности.

Мало того, что появился сам Таможенник, — а появление его было знаком причастности посещаемого главной жизни Города, — последовал еще один удар, который лишил Гримера его придуманной независимости: таможенник пришел к Гримеру по делу. Таможенник заговорил.

В речи, монотонно и хрипло укладывающейся на полках памяти, как рулоны ткани в магазине, Гример видел смысл, а не слова, ибо слова никогда не содержат в своих внешних значениях того, что на самом деле хочет сказать вам говорящий, — то есть удивить, победить вас, приказать, уничтожить, разбить, заставить полюбить себя, разлюбить... и прочая... Это надо выделить из любой речи, как соль из воды, и не каждый способен на это. Гример в совершенстве владеет техникой перевода слов в смысл. Таможенник предложил пару, над которой работал Гример, готовить в Главную пару. Несмотря на то что обе пары участвовали в выборе, дистанция между ними была так же непреодолима, как пропасть для черепахи или стекло для бабочки.

Еще большей была дистанция между нашим Гримером и его учителем — Великим Гримером, готовившим Главную пару.

Гример не знал, куда деть руки, он встал... поднял скальпель... шмыгнул носом, что было равносильно непочтительности, еще более смутился, положил скальпель бережно в коробку. Скальпель звякнул и затих. И, словно ободренный этим стальным продолжением своей судьбы, вздрогнул и пришел в себя — по крайней мере, внешне.

Предложение было настолько неожиданным и невозможным, насколько неожиданно предложение де-

вочке из кордебалета станцевать главную партию в конкурсной программе. Конечно, Гример был все-таки Гримером, но разница между ним и Великим была позначительней, чем между прямой и балетной шушерой.

Великий был единственным.

Можно, конечно, предложение расценить как проверку на степень подпольного честолюбия. Но не Таможенника это, разумеется, ремесло, да и воспринимать визит как проверку было бы крайней границей страха и недоверия, а страх Гримера даже после Комиссии, как у всякого достигшего имени, был умерен.

Сегодня Таможенник не шутил и не проверял. Несмотря на свою искусственность в оправданном недоверии, смысл просто предложения в информации Таможенника Гример поставил на первое место. Более того, оказалось, что соглашаться или не соглашаться можно было подождать до завтрашнего дня. Да, если воспринимать все вместе, то смысл искушения и одновременно подвоха практически исключался. И все же Гример не расстался с этим смыслом вовсе, он просто сделал его не главным в системе вариантов и просчитал смысл просто предложения как основной, употребив на это все свои сохраненные и таким образом накопленные силы. Это был первый шаг к тому, к чему он готовил себя в жизни — с помощью Музы, разумеется. Готовил? А вот готов ли?

Дождь усилился и наконец пробил себе в сосредоточенности Гримера брешь, тонкую и маленькую, размером в одну каплю, и она проползла во внимание Гримера — так мышь, изогнувшись и вытянувшись, пролезает в комнату через щель в полу. Плечи Гримера передернулись. И он опять увидел себя на улице одного, под дождем, согнувшегося, жалкого, спрятавшегося в само-

го себя от людей, каким видел себя почти всю жизнь, кроме минут мыслей о Музе, которая ждала его в сухой квартире и делала вид, что что-то читает, хотя сама слушала, не хлопнул ли лифт и не откроется ли сейчас дверь. Она в отличие от Гримера, ждавшего своего часа, давно была готова к любому варианту жизни — удаче или прожить остатки лет так, как они жили, в ожидании друг друга, и радости видеть друг друга, и... И, пожалуй, для Музы был бы приемлемей вариант второй, потому что удача — это было что-то неизвестное и даже страшное, она открыла бы другой быт, который мог исковеркать все, что было накоплено их долгими и верными отношениями, и, может быть, сделать их нежнее и добрее, а может, и разорвать вовсе. И она не хотела этих вероятных благ или бед, она меняла их с радостью на то, что было у них, и чем она дорожила, и в чем была счастливее многих, с кем ей приходилось сталкиваться на работе или после нее. Но, к сожалению, не от нее зависел этот выбор, она сама зависела от Гримера, а тот — от чего угодно. И от Таможенника тоже, и подтверждение этой мысли — сегодняшняя встреча.

III

Но если б не было сегодняшней встречи — не было бы романа. Их вчерашняя жизнь не есть предмет романа, она, их жизнь, похожа на жизнь всех, а все, что известно и видимо всем, даже в более выраженном варианте, есть предмет не романиста, а бытописателя. Предмет романа есть то, что сосредоточенное в одном или нескольких людях изменяет жизнь всех живущих наново, меняет их и их быт, чтобы будущие бытописатели могли совершенствоваться и формально изощряться по поводу того, что

уже стало реальностью и без них. Поэтому-то роман начинается именно с сегодняшнего дня. Он касается судеб живущих, а не только Гримера и Музы — этого, разумеется, можно было бы не писать, оставить якобы на догадку критику. Так убирают леса, когда достраивают дом, и только архитектор знал бы, куда поставить снова опоры в случае реставрации этого здания. Но я желаю оставить критика без работы, ибо он осужден служить бытописателю, он — та вторая половина пары, которая кормится, собирая хлеб, посеянный до него сеятелем, истратившим в почву себя вместе зерен.

И как странно: до сегодняшнего дня от Гримера ничего не зависело, все решалось помимо него — и работа, и оплата, его быт, и он зависел от стоящих над ним, а сегодня от его добровольного решения зависело, делать или не делать работу, предложенную Таможенником, потому что *это* нельзя приказывать сделать.

IV

Гример поскользнулся. С трудом удержал равновесие, как канатоходец, коснулся холодной безоконной стены дома. Следующий дом его. Осторожно двинулся дальше, на всякий случай пошире ставя ноги. Не с неба, так с земли дождь обратился на себя внимание. С ним даже в задумчивости надо было считаться. Этак трахнешься затылком о камень, и все великие решения и желания вытекут через трещину в земной коре и, смешавшись с дождем, исчезнут за городом, по каналу, уходящему вниз по холму. Еще осторожнее: сегодня эта кора ему была особенно нужна, ее следовало нести бережно.

Ответить на предложение Таможенника было не так-то просто. С одной стороны, желанная перспектива — Гример, занявший первое место, следовательно, ставший Великим, и осуществление затем того, к чему для начала стремился Гример, или, по крайней мере, ему казалось, что стремится. А с другой — та же авантюра, которая едва не стоила ему Ухода. Правда, авантюра, в которой участвует Таможенник, но кому не известно, чем кончаются официальные устные предложения, если что-либо срывается в исполнении задуманного? Предложившие забывают о своих предложениях — следовательно, отвечает только исполнитель. А у исполнителя, в данном случае Гримера, была, и недавно, уже одна Комиссия... А потом, кому хочется занять место живого и работающего человека, да еще в том случае, когда тот твой учитель и работает прекрасно, более того — лучше тебя? Ну здесь, правда, Гример мог бы и поспорить — но только в воображении. Реальных Операций Подобия класса Великого Гример не делал ни разу. Прошлогодня операция — самодеятельность. А работать на глаз в сегодняшних условиях бессмысленно. Как видишь, предложение достаточно сложное, чтобы ответить не задумываясь... Вот эти мысли и совершают круги в двух полушариях мозга Гримера. Так иногда голуби, ведомые в небе опытным голубятником, раскрутившись, никак не могут остановиться, и нужны усилие и воля, чтобы загнать их в голубятню, и там, вблизи, спокойно рассмотреть каждого, дать им отдохнуть. А пожалуй, истинным голубятником мыслей Гримера все же была Муза. Вот мы и вернулись опять к той, без кого не было бы нашего Гримера. И всем, чем он стал и что мог, Гример был обязан Музе, она была с ним везде — и когда он был занят размышлениями, отдыхая, и когда

работал дома со скальпелем, во имя владения пальцами инструментом... И только один раз Гример решил действовать сам, когда пустился в прошлогоднее предприятие...

Если бы Гример спросил Музу ясно и просто, стоит ли ему делать это, она сумела бы убедить его отказаться, ибо всегда наступает случай, когда то же самое можно делать и без столь великого риска. Гример в прошлом году почти перестал разговаривать с Музой, в первый раз решился обойтись без ее помощи. Не отвечая на настойчивые просьбы Музы рассказать, что происходит, он отправился осуществлять свой замысел, пошутив, что не происходит ничего, что с кем-либо уже не происходило.

Муза успокаивала Гримера — способы были разные, но в результате мысли Гримера замирали, складывали крылья и, чуть беспокойно сначала, потом затихая, давали себя в руки.

Хотел бы я посмотреть на того, кто может определить породу птицы, которая летает в темноте, а непокой — это и есть темнота, в которой шелестят крылья и живут крики.

Хранительница Музея Двести девяносто два — таковы были должность и номер нашей Музы, когда она встретилась с Гримером на одной из Операций Подобия. Тогда она была моложе, он тоже. И едва Гример, по привычке навалившись всей грудью на ее лежащее на столе открытое тело, попытался скальпелем прикоснуться к первому верхнему квадрату лица, что он делал до этого тысячи раз, как почувствовал такое, что весь кабинет сначала покачнулся, потом перевернулся, потом — потом стал то увеличиваться, то уменьшаться, как будто превратился в маятник... И когда Гример через полчаса пришел в себя, един-

ственной его радостью было то, что Муза осталась жива и нуждается не просто в Операции Подобия, а в операции восстановления. Это в общем-то было несложно. В том случае, если Гример брал ее в пару, полагалась все равно другая операция, в результате которой она получала имя, или, может быть, сначала она получала имя, а потом следовала Операция Подобия, но вне зависимости от последовательности происходящего через неделю-другую Муза, впрочем, как и любой другой, кому повезло (а случаи подобные в истории города были так же редкостны, как колодцы в пустыне), Муза из служителя Музея превратилась в Музу, с лицом, соответствующим подобию Образца.

Вообще надо сказать, что́ было в городе первично — номер или соответствующее лицо, — так же неразрешимо, как неразрешим приоритет курицы или яйца в истории человечества. Посему в Городе, исполненном порядка и справедливости, стихия оставалась главной мерой в оценке судьбы горожанина. Что-то происходило такое, в результате чего все же время от времени менялись номера у людей, следовательно, или наоборот, менялись лица. И Гример, от кого вроде зависела судьба жителя, должен был делать только операцию, соответствующую его классу, не больше и не меньше. Черт ногу сломит, а не разберется в этой тайной штуке.

В общем, неважно — имя ли сначала или лицо, но какая-то Двести девяносто вторая стала Музой. Повезло человеку, сказал бы любой обыкновенный человек. «Судьба», — один раз на эту тему обмолвился Гример, и все. А не то чтобы оба молчали; сколько жили — столько и говорили, а уж ждали друга друга!..

V

Но сегодня, как известно, день особый. На радость Муза чутка, как собака на запах. И на горе тоже, на любое отклонение от будней чутка Муза. Сразу и виду не покажет, вроде и не спросит ни о чем, и не заговорит о том, что с Гримером происходит, а в болтовне и чуши, одной интонацией закружит его, завожжит, глядишь, через час все ей, Музе, известно. Как это происходит, Гример до сих пор не знал. Заметил только одно: когда праздник выходит за пределы будней праздника, здесь опять Муза, увы, бессильна. Конечно, догадывается, что произошло, и полувызнает в разговоре, но чтобы понять до дна?.. Тут уж Гримера пушкой не прошибешь...

Сегодня тоже праздник праздника, день для Музы не из легких. Но поскольку Гример однажды, пожившись на себя в этом двойном празднике, еле уцелел, он и сам перестал быть таким уж сдержанным. И почти прямо с порога, едва Муза сняла с него плащ, сунула в сушилку и, прижимаясь к его спине своим лицом, обняв его сзади обеими руками, повела в столовую, Гример сообщил Музе о визите Таможенника, и предложении, и о решении, которое надо сообщить завтра. Но первый вопрос, который задала Муза, был для Гримера неожиданным, — просчитывая все варианты — с одной стороны, в плоскости нравственности, с другой стороны, в плоскости исполнения воли судьбы, которая принадлежит лично Гримеру (в основном жизнью людей распоряжается общественная судьба, например, в данном случае — Города), Гример совершенно забыл одну весьма существенную, как оказалось, вещь.

— А сроки, — спросила его Муза, — перенесены? Ведь это двойной объем работы...

— Тройной, — сказал Гример и сел в кресло, погружившись в него и одновременно в размышление по этому поводу. И вспомнил, что об этом не было сказано ни одного слова, следовательно, ни о каких переносах речи быть не могло.

— Ну, если так, то, собственно говоря, о чем думать, — сказала Муза, — мне кажется тебе одного урока достаточно. Покажи умному перо — он тебе покажет лису, съевшую курицу.

— При чем тут лиса, — сказал Гример, думая о своем.

И во время объяснения Музы, при чем тут и Таможеник, и лиса, и курица, Гример, не слушая ее, неожиданно что-то вдруг определил для себя, — так идущий по воду, найдя золото, бежит домой, а не к колодцу, — понял, утвердился в этой мысли и перевел разговор совсем на другую тему, тема эта была разработана нашей парой до такой степени, что стоило только, например, показать язык корытцем и, чуть высунув, пошевелить им, как... И лишь сделать губы как бы произносящими буквы у-о...

— Подожди, — сказала Муза, — ты что-то решил, и я решила, и, по-моему, тут нет двух мнений...

И она выразила мысль, что ей ждать его после Комиссии каждый раз невыносимо, а мучиться возможным Уходом не только не доставляет никакого удовольствия, а более того... и что в сегодняшнем визите она видит знак судьбы, которая ему-де посылает испытание, напоминая прошлогодний урок, из которого следует, что все похожие случаи должны не вызывать у него никаких желаний и никаких размышлений...

Надо сказать, что если б Гример в этот вечер думал так, как думала она, или его не занимало одно

уже принятое решение, или, скажем так, для верности, желание и он выслушал бы все доводы Музы, то, может быть, и не произошло в Городе того, что в нем произойдет. Но разве Гример мог всерьез слушать Музу, когда у него самого появилось вдохновение? Хотя, надо отдать должное музам, они всегда совершенно бывают правы. Но, я вижу, у вас появилось сомнение, что, мол, событие может произойти и без моего Гримера. Да, и может, и произойдет. Но не обязательно теперь, и даже обязательно не теперь. Для того чтобы событие произошло, в равной степени необходимы и готовность его произойти, и тот, кто событие приводит в движение. Не будь моего Гримера, не было бы этого романа, был бы другой, может, с таким же эпилогом, но не сегодня, и иные люди иначе приводили бы в движение время. Тут уж я уверен в этом, как уверен бывает трезвый и не слепой человек, что перед ним береза, когда он стоит перед ней и видит ее...

Ах, береза, как мягок и бел твой ствол, как он нежен и приятен под пальцами рук...

Пальцы становятся теплыми и такими чуткими, как будто слышат бересту, и шорох пальцев, и ветер, с тихим шелестом трогающий надорванные ворсинки кожи березы...

VI

Муза на этот раз уступила ему... Она положила руки Гримеру на плечи, возле шеи, скользнула по гладкой и холодноватой коже вниз, нагнула голову и прижалась вся, тихо и нежно. И если бы свершилось все, что задумал Гример, и если бы перевернул он мир и тот стал формой и материалом его самых тайных желаний, все равно вот так же бы ложи-

лись руки на плечи. Все равно вот так же губы, пальцы ощущали, как набухает тело и как обрывается мысль на ползвук, полуфразе, полумысли... И начинает двигаться свет против часовой стрелки, мешая ряды цифр и порядковые номера поясов. Муза знала это, Гример этого не знал, и он качнул воздух, и поднялся ветер, и надул парус, и красные весла опустились в воду, и поднялся столб огня, и поднял лодку на гребне своем, с белым парусом и красными веслами. И ударила молния, и раскинулись ее ветви по небу, и заслонила она от медленного огня лодку, а потом корни ее проросли сквозь лодку и вспыхнула она, и медленно-медленно горящая лодка полетела обратно в море и легла на его спокойные волны, и погасли красные весла, и клочок обгоревшего паруса медленно потащил ее к берегу, полуживую, обгорелую, розовую...

VII

Лолго лежали они, не шевелясь, не двигаясь... Первой поднялась Муза. Говорить после этого с Гримером было так же бесполезно, как, например, убеждать телеграфный столб пустить корни в землю и сбросить провода. Сначала нужно было оживить его, научить говорить, а потом уже обращаться с просьбами. Посему Муза просто встала молча... Но чтобы полностью очистить свою совесть от будущей вины, чувство которой могло все же у нее появиться, будь хоть один шанс вернуть Гримера к разговору, происходящему перед этим, и переубедить его, Муза взяла его руку и попыталась приподнять Гримера. Гример не мог ни говорить, ни спорить, ни соглашаться — он просто продолжал быть не здесь... И никто его, наверное, в ближайшие полчаса не вывел бы из этого состояния. Но Муза не сразу от-

ступила, и теперь ей было так жалко Гримера. И откуда это чувство, словно именно сегодня она теряла его. И больно было так, будто все случилось еще вчера и сегодня уже все непоправимо... Но одно дело — ощущение и боль, а другое — наши поступки. И Муза тихонько оделась, накинула плащ и вышла на улицу. Она решила попытаться что-то изменить — раз не вышло в нем — в обстоятельствах. Ибо Сотые, которых готовил к Выбору Гример, были ее друзьями. Собственно говоря, даже Муза нашла в свое время их для Гримера. Все гримеры предпочитали работать с лицами, которые им были не только известны, но и в какой-то степени связаны с мастерами лично. Личная связь с Гримером заключалась в том, что Муза дружила с ними. Эта дружба еще осталась с той давней поры, когда у Музы с ними были соседние номера, следовательно, и жили они тогда вместе. Все началось с ухода Сотого, тогда Двести девяносто пятого, и, не кончившись ничем, перешло в добрые отношения с его парой. С тех пор прошло достаточно много времени. В прошлом в чем-то похожие, сегодня они были такими разными. Но не будь верности памяти, чем еще жить на земле? И дружба эта, если ее можно назвать так, тянулась, не принося, впрочем, особого удовольствия Музе. Но других друзей она не завела, да и когда имеешь Гримера парой, вряд ли нужны другие, достаточно вполне его энергии, желаний и проблем: то придумать что-нибудь новое в постели до бредового желания (и откуда это втемяшилось ему в голову?) создания нового лица — это, видите ли, ему надоело... А потом еще и своя работа... Имея право бросить ее, Муза продолжала служить, и это в какой-то степени ослабило в ней мысли, от которых можно было иногда сойти с ума, и даже случалось, что мысли эти работали лихо и запросто, обращаясь в нечто полезное и спокой-

ное. Сегодня, пожалуй, как никогда, идти к Сотым не хотелось... Но надо. Для Гримера надо. И опять все вставало на свои места.

На улице дождь схватил ее, сжал, как будто стараясь сделать маленькой, легкой, чтобы своими струями сбить ее с тротуара и унести за пределы Города. Даже сердце заболело от этого давления. Случись — собьет, и кто поможет? Вокруг только Камень, что не боится дождя. Номера. Мосты. Ни одного дерева. Ни одной ветки. Ни одной птицы, ни одной души. Редко кто вылезал на улицу, да и то в одиночку, оглядываясь, уж если гнала великая нужда, а нужды почти и не было вовсе, все общались в пределах своей десятки, значит, в пределах дома. Поэтому спокойно дымились улицы, пар поднимался от канала, только монотонный шум дождя, и больше ни одного звука; тишина шума. Тишина дождя. Тишина каменных стен. Тишина тумана... Оглохнуть можно...

VIII

Какое у Сотой усталое лицо. Рабочий день на столе под ножом. Еще бы не устать. Муза случайно перевела глаза на грудь Сотой и вспомнила слова Гримера о том, что он не может прикоснуться к этой белой, острой и плотной, как камень, груди и надевает фартук во время операции, становясь похожим на домашнюю хозяйку. Ну, положим, он всегда рассказывает, что надевает фартук. Кстати, когда делает поправки Музе, тоже надевает его. Но в том случае, по его словам, только потому, что боится опять изуродовать ей лицо. Надо будет все-таки попросить его попробовать работать без фартука, может, все уже давно прошло. А может, и работая с Сотой, он надевает фартук, потому что это его заводит...

В первые пять минут беседы между людьми, которые давно все знают друг о друге, удается выяснить все, что надо Музе. Несмотря на всю выслугу дружбы и прочую ерунду, для Сотых возможность перескочить в Главную пару настолько мала, даже присниться не может, что появившись она... И тут лицо Сотой становится мягким, немым, мечтательным, женственным... Каким и должно быть там, во время Выбора. И она не задумываясь... Что она сделает, не задумываясь, Муза выяснять не стала. Но для себя подтвердила бессмысленность расчета на помощь и перестала говорить об этом с Сотой. Да и чего говорить. Все было понятно и заранее. С таким же успехом можно просить дятла не долбить дупла в деревьях.

И все-таки, понимая, как и в случае с Гримером, проверила себя: есть хотя бы один шанс... Не было шанса. Не на что и здесь было рассчитывать. Алчность, с какой Сотая приняла невообразимой удачи вариант, убедила Музу в своем просчете. Покончив с деловой частью и даже не открывая серьезности содержания пятиминутной болтовни, она согласилась пройти с ней в сад и посмотреть, как Сотый работает с птицами, чтобы не уходить сразу, оставив острую на сообразительность Сотую озадаченной (в конце концов та устала и от собственных проблем, зачем ей еще и Музины).

Они прошли через холл, открыли дверь в сад, решетчатая, легкая, почти воздушная дверь не скрипнула, не пискнула, отошла, как крылом махнула. Спинай к ним, в рубаше сидел Сотый. Как раз доставал птицу из клетки. На тихую просьбу — можно посмотреть? — не обернулся, кивнул. Осторожно достал птицу, она попыталась встрепенуться — невозможно. Только внутри вся напряглась, как будто хотела стать меньше и выскочить из этих пальцев. Еще сильнее сжалась рука — уже тесно.

Уже страшно ей. Уже и сердечко обступило тело, уже не бьется сердечко. Уже без сердца живет птица. И еще сильнее, жестче вдавилась кожа ладони в мягкое, податливое, тонкое, крохотное птичье мясо. Кра-ак — как орех, треснуло тело, сначала брызнула, а потом и потекла кровь, закапала тихонько, розовая, жиденькая. А рука каменная, еще жестче и сильнее, и коричневое, розовое мясо сквозь пальцы выступило...

Сотая на глазах оживала. Муза поежилась, но мастерство оценила. Немного ей приходилось видеть это и нечасто, но из того, что видела, — Мастер. А Сотый уже вторую доставал, а кругом стояли желтые деревья, пели птицы, которым завтра, может быть, тоже придется забиться в сильной руке мастера, но они этого не знали, а может, привыкли, порхали себе беззаботно, пока можно. И под их трепетными пушистыми телами трепетали веточки сухие, тонкие комнатного сада.

— Пойдем, — потянула Музу Сотая, — пойдем, чаем напою.

Чай пили со вкусом, за болтовней пролетело минут десять, появился сам, руки вымыл, только на рукаве, на подрубленной кромке коричневое пятно — пережал, брызнуло, сел рядом с Музой. Глаза еще рабочие — красные, жесткие.

— И так теперь каждый день, — с виду небрежно доложила Сотая.

— Каждый день? — отозвался Сотый. — Ну зачем, бывают и перерывы. Как говорят в Городе, «нельзя все делать всегда», надо иногда делать и не все, и не всегда.

Сотая расплылась так, что кончик правой губы почти долез до уха и там криво остановился. Ее был сегодня явно в ударе. А раз в ударе, она знала наизусть сюжет его очередных двух часов. Поэтому в разговоре,

который возник после великого афоризма, Сотая участвовала охотно и оживленно. Ведь ей тоже в этом случае перепадало два часа свободы...

С виду содержание разговора выглядело примерно следующим образом: мол, Сотый любит дождь — когда разгорячен, ибо тогда приятно выйти под его жесткие плотные струи и охладить тело свое и вернуться, погуляв, чувствуя и утвердившись в мысли, что тело сильнее дождя.

Тепло Города, мол, и человек не подвластны дождю, ну и подобные же пустые клише, которые всегда с равнодушным вдохновением совал Сотый своей паре в уши. А та с таким же равнодушным вдохновением соглашалась с ним и уверяла его, что она еще как понимает его, и будет ждать, когда он вернется, и приготовит ему горячую воду и полотенце, и... — тут она делалась еще розовее и нежнее... Если же с языка втирания очков и заговаривания зубов перейти на язык смысла, то его лирический пассаж заключал в себе информацию, что Сотый идет к бабе, напоминая, что это для Сотой не новость.

Та в свою очередь сообщала, что поняла Сотого и сама не прочь провести весело пару часов. Все трое хорошо понимали этот язык. Приятно иметь дело с умными людьми, им никогда не надо говорить то, что думаешь, они это поймут и, рассказывая, например, о пользе горячей воды для охлаждения тела, разрешат тебе залезть в их карман и заверят, что они этого не заметят. Зачем все эти сложности? Практика показывает, что среди пользующихся подобной системой в случае суда виноватых оказывается вполовину меньше, чем среди людей, скажем, прямолинейных.

— Так, прощай, дорогая, — Сотый был уже в плаще.

— Прощай, дорогой, — ответила ему нежно-розовая Сотая и, пролив слезы, обвила его шею своими теплыми руками, — береги только лицо — оно наше будущее...

И целую минуту смотрела ему вслед, не вернется ли он обратно, как иногда случалось. Выждав необходимое контрольное время, сбросила с себя халат, натянула полотняную рубаху, рукава которой были все в мелких розовых брызгах. Сверху плащ. Извинилась перед Музой. Поскольку приближается время выбора и ей придется уехать из этого дома, она хотела бы навестить еще пару соседей, с которыми была незнакома... И конечно, зайти к Музиному Директору, к которому Сотая была равнодушна, и даже более — вызывал он у нее чувство брезгливости из-за белой, безволосой как коленка и узкой груди, но это был единственный человек в ее жизни, имевший имя. А кому не лестно быть женщиной с номером, которая допускаема в постель к самому Директору. Конечно, Директор не Гример, но для Сотых и Директор что крылья для бездомной кошки.

Муза удивилась, что за такой короткий срок ей придется столько успеть.

— Ничего, раньше больше успевала, не умея. А теперь! О-о-о-о, — она подмигнула Музе и завязала тесемки капюшона бантиком.

— Пока... — чмокнула Музу в щеку.

Муза вернулась к столу, потом прошла в сад. Надо было что-то придумать или, во всяком случае, сделать все, что могла, чтобы к прошлому отнестись без вины и спокойно... Села в кресло, в котором Сотый давил птиц, задумалась. Пели плицы, падали листья... И было тихо...

IX

Сотая подошла к соседней двери, торопливо дернула ручку. Двери разошлись. В холле никого не было. Сняла плащ, повесила его. Тихонько толкнула вторую дверь — та отъехала. И комната была пуста. Следующая тоже. В третьей был сумрак, сырой и теплый. И вдруг она вздрогнула — прямо на нее смотрели глаза. Удивленные, и в них жил страх. Так приходят только они. Страх был похож на птицу в клетке, когда открыта дверца и рука тянется достать птицу.

— Вы Сто первый?

— Нет, Девяносто девятый.

— А я Сотая. Живу рядом, — она протянула руку.

Страх взмахнул крылом, юрк мимо руки — и скрылся из глаз.

— У меня вот несколько минут свободного времени.

— Пойдемте, я напою вас чаем, — Девяносто девятый встал.

— У меня всего несколько минут времени. — Сотая подошла к нему. — У меня всего несколько минут, и я уйду. Иди сюда, — она потянула Девяносто девятого к себе. Ощутила, как он весь напрягся, задышал тяжелее, ощутила его сердце, которое забилося чаще. И поползла стружка, тонкая, прозрачная, протяжно, монотонно. Доска еще не была готова, а Сотая уже думала, что материал сырой и вряд ли стоит на него тратить...

Она, пожалуй, чувствовала, что партнер сходит с ума, и ничего похожего в своей жизни он не встречал, и, в общем-то, немного немилосердно уходить сейчас... Но время!

Так человек, несущий воду, не дает напиться умирающему старику, ибо там, впереди, эту воду ждут роющие колодец, чтобы напоить весь мир. Иногда бывает, что донесший не застает никого в живых. И возвращается обратно и находит оставленного мертвым.

— Некогда, я сказала тебе, что несколько минут...

Сердце ворочалось, как застрявшая машина, ноги дрожали. Он отпустил ее. Она вышла в холл, накинула плащ. Он подошел к ней, прижался.

— Подожди минуту...

— Завтра, слышишь, завтра я приду.

Выскользнула из двери. Вышла на улицу. Дождь встретил ее прохладой, но не остудил, а сжал своими струями тело. Еще неся в себе прикосновение руки возле губ, около уха, она заспешила, и эта сила неостывшего возбуждения пронесла ее по улицам, мокрым, черным, блестящим, скользким, до заветного подъезда. Дверь настезь.

— Здравствуй, ты опоздала на десять минут.

— Он ушел на десять минут позже.

— Это правда?

Но он уже не слушал ее. Он ждал ее и не дал снять плащ...

Х

Муза убрала сад. Вымыла следы крови и мяса. Подмела опавшие листья. Ничего путного она не придумала. И ей захотелось к себе, в свой сад, к Гримеру, от чужих тайн, от чужой грязи. Надела плащ. Распахнула дверь.

— Я не могу до завтра, — на пороге Девяносто девятого, всклокоченный, узкие глаза, весь пьяный...

Музе жалко его, она даже медлит, прежде чем произнести свою всемогущую фразу, ибо уже от нее зависит, останется Девяносто девятый в живых или вечером его ждет Комиссия. Сейчас и тот узнает об этом. Гнала лиса зайца, да и сама в капкан — щелк.

— У меня имя, — Муза даже головой покачала, как будто прощения попросила.

...Все прошло, все улетело, все исчезло. Девяносто девятый стал мягким, как каша, на лбу выступил пот, обезьязычел.

— Ладно, иди, чего стоишь. Я не скажу... — держась за стенку, Девяносто девятый выполз за дверь. И Муза вышла вслед.

Все-таки удобно иметь имя. А вот ворвись он в до-гримеровы годы — и нужно было бы царапаться, за-щищаться. Господи, как трудно женщине без имени. Да и кому без него легко. Сразу и беззащитен, и зави-сим. От чего только ты не зависим. Хотя и Муза и Гример зависимы от более крупных имен. Но... это уже не так грубо, другой уровень, хотя если имена равны — то же самое... А парня ей все-таки было жалко.

«Вот неутомимая баба, — подумала она о Сотой, — видимо, даже ушла раньше времени».

Едва Муза отошла несколько шагов от подъезда, ее чуть не сбила с ног Сотая. Вытянув вперед голову, как утка перед посадкой на воду, она летела домой... Узнав, что сам еще не вернулся, облегченно вздохнула и шмыгнула в проем двери. Еде несколько шагов. По-ворот, и навстречу Сотый. Совсем другое дело. Нето-ропливо. Вальяжно. Задумчиво. Остановился посмотре-ть так, что Музе захотелось вымыть глаза. Что она и сделала, подняв лицо кверху.

— Погода прелесть, даже домой не хочется, если бы не время... — Сотый подмигнул. — А может, проводить тебя...

Муза поехала...

— Спасибо, — подумав при этом: «Какая все-таки скотина», но улыбнулась и, боясь, что ее начнут уговаривать, попрощавшись, пошла вперед.

Тот не сразу повернулся. Перекосил рот. Жалко, имени нет, а то бы он ее давно... Правда, дело не только в имени, — как он умел, сюда, пожалуй, не подошло бы. Да и зачем возиться, когда этого добра и так навалом за любой дверью. А что у них, с именем, тело, что ли, другое...

А может, другое. Мысли приклеились к слову «имя» и завертелись вокруг, как кудель на веретено. Не сразу, не теперь... но ведь каждый в городе теоретически мог достичь имени. Сотый вытер лицо, наклонил голову вперед, чтобы дождь не попадал на кожу. До выбора Главной пары осталось три дня, его операцию ведет Гример Музы, а значит, — второе место. Следовательно, имени ему не видать как своих ушей. А чудо? Ведь возможно же чудо...

Он остановился; с этой минуты, забыв и про Музу, и про Сотую, и про Сто шестую, он почему-то стал ждать чуда. Так мысль, случайно промелькнувшая в голове, вдруг становится очевидной, включает предчувствие, и начинается работа ожидания, а почему, убей бог, человек никогда бы не смог объяснить. Происходит то, что происходит вне нас, а мы только ощущаем это происходящее! И ради Бога, не думайте, что внешне в его жизни что-то тут же переменялось. Он шел домой. Дождь шел над ним. Завтра опять он проведет свой рабочий день на операционном столе. Вечером будет смотреть с Сотой видеозаписи и давить

птиц, а потом отправится по своим делам. «Это хорошо я придумал, — пришла мысль, — по своим делам». Потом будет возвращаться, как сегодня. Настолько все похоже, что можно предположить: это уже завтра или через десять лет он возвращается домой — день ото дня его неотличим... Но вот ощущение ожидания чуда появилось в нем. Он попытался понять, почему это произошло. День был весь на виду. И ничего особенного не случилось. Муза приходила и раньше. Да. Но последний раз она была две недели назад. И должна появиться через две недели, а пришла сегодня. Неужели приход Музы что-то менял в его жизни? Конечно, если ей нужно что-то узнать или передать, она сделала бы это через Гримера. Ах, как прекрасно жить в городе, в котором не бывает неожиданностей. Тогда сразу вот так, по одному крохотному фактику, можно догадаться, что должно произойти что-то необыкновенное. Но не в этом только дело, не в размышлении. В него вошло ожидание чуда. Это было точно и просто по ощущению, как сопротивление лица дождю, как то, что он еще нес в себе руки и губы Сто шестой. И ему стало тепло и радостно. И у простого человека с трехзначным номером бывают свои радости. Как говорят в Городе, и до воробья радость, если верить, доберется. Улыбаясь чему-то, вошел в дом Сотый. Сама уже в халате встретила его, как всегда, так, будто не видела целую вечность. И он еще больше ослабил на ее вытянутые руки, которые сняли с него плащ, а потом ласково обхватили его шею, он даже сам удивленно потянулся к ней, чему несколько удивилась и она. Обычно после таких прогулок оба быстро ложились и засыпали, оба, а тут... может, из-за своего нового ощущения, может, потому, что сегодняшняя прогулка не так уж была удачна — поднадо-

ела Сто шестая, и оказалось, что напрасно он давил своих птиц, ибо партнерша заставила его давить у себя; во-первых, он Мастер, а во-вторых, возбужден, а она нет, пожалуй, сегодня он впервые подумал, стоит ли тратить столько времени и сил, если тебе почти так же, как и с Сотой... А может, чуть ласковее обняла Сотая его... но...

Она положила руку на его плечо, плечо было теплым и даже горячим. Так тепла и даже горяча грязь, в которой в летний день толкутся две свиньи; грязь глубока и жирна, она течет по ногам, застревает в щетине, окатывает морды, и одна свинья повалит другую, и они начнут кататься в этой жиже — теплой, горячей, зловонной, радуясь запаху, и теплу, и возможности переваливаться с боку на бок, кружась и хлюпящая жижей... Хорошо?.. — Хорошо.

XI

Им хорошо. Но количество в данном случае еще не имеет важного значения в осуществляемом действии. За время повторного вытеснения телом грязи, масса которой равна массе их тел, мы вполне успеем увидеть того, кто завел пружину, приведшую в движение Гримера. Зубец оной повернул его мысли предложением проведения операции по новым данным, Муза мыслью Гримера завела себя и передала движение Сотым, а как это случилось, они сами не поняли, те не остановили движения до сих пор. И даже когда остановятся, все равно будут крутиться в главном направлении.

Итак, четыре человека в этом городе живут уже иначе, они уже заболели идеей движения, — сами не понимая, чем на самом деле. Ибо их поступки совпа-

дают с их желаниями, и они внешне продолжают такую же жизнь, какую, как им кажется, и вели до сегодняшнего дня, оттенки отличия в счет не идут. Но знающий будущее легко поймет, что это за перемены на самом деле. Это великие перемены. Хотя никто в Городе этого пока не знает. Кроме разве закрутившего пружину действия, но и он никогда в жизни не стал бы этого делать, если б знал о масштабе и результатах своего начинания.

Речь идет о Таможеннике, который предложил нашему Гримеру готовить Главную пару, когда самим законом с ней должно работать только Великому. Так зачем же Таможенник такое отлаженное и надежное хозяйство, как Город, которым управлять нелегко, но вполне приспособлено и привычно, обрек на перемены?

Привычка и традиции — вот суть жизни, и когда нарушаются они — никто не знает, чем это может кончиться.

Может, благородная идея обретения равенства живущими в Городе?

Может, попытка освобождения от вечного страха Ухода?

Может... но прочая и прочая великие причины, во имя которых ломаются города и люди...

Увы... Стыдно сказать и произнести, но все дело, к сожалению, к несчастью, черт знает, почему это случилось, оказывается, Боже мой, в сугубо личной вражде Таможенника и Великого Гримера, которая началась за день до того, как наш Гример был спасен и освобожден Таможенником от Комиссии. Когда начинается такая вражда, авантюристов должно освободить от Комиссий. А Гример в данном случае оказался, как это ни грустно признать, с точки зрения Закона, именно им. Но, естественно, в дальнейшем, конечно

же, не повторится ничего похожего, во всяком случае, теперь. Он и Муза думали только так, но... Гример Таможеннику понадобился опять именно в этом качестве.

Что же касается причин, приведших к ссоре Таможенника и Великого, думаю и сам Бог — случись ему быть свидетелем ссоры — четко бы не сформулировал их: только, может, внешний ряд — и ссоры год назад, и последней, после которой Таможенник приперся к Гримеру. Ну, это и мы можем: надоели друг другу, власть не поделили. Хотя чего делить — один главный по лицам, другой по человекам. Но это на самом деле, может, одно и то же, человек и его лицо, и уж, во всяком случае, бабушка надвое сказала, что главное. Но надвое или не надвое — была ссора. И все тут.

А если бы речь зашла о поводе, то тому и другому и вспомнить о нем было бы стыдно...

В общем, один — первый, другой — второй, но это так, для непосвященных, на самом деле по сути — оба первые...

В этом вся закавыка, двух вверху не бывает — финал один, впрочем, он и так один.

А поссорились, и вчера тоже, из-за — тьфу... нет, не могу... язык не поворачивается... Оставим это на их совести и посмотрим лучше, к чему в результате дело идет. Пока, естественно, нет результата, но дело к нему, бесспорно, идет. Таможенник тоже волнуется, ведь чтобы согласиться на авантюру во второй раз, да после Комиссии... Вряд ли на это пойдет нормальный человек. Но что касается Гримера, есть надежда, что он человек явно ненормальный. С точки зрения разумной, разумеется. Упорно даже на Комиссии настаивал Гример, признавая вину, что причина не авантюра, а эксперимент, и ведь, кажется не врал — пожалуй,

только такие и удобны Таможеннику, хотя они редки — выстоят и выполнят свою долю работы, полагая, что это они ее делают для себя. Но, конечно, за ними нужен глаз да глаз. Еще хорошо, в свое время Таможенник (рачительный хозяин — далеко вперед видит) Музу Гримеру подсунул, чтобы та чем-то вроде тормоза при нем была, а то бы еще раньше сорвался, и тогда сегодняшняя затея, увы, лопнула бы, а других на его глазу, подобных Гримеру, увы, нет. И опять ходи, ненавидя Великого, и, исходя ненавистью к этому уроду, сам улыбайся. Ладно, успокойся, сказал сам себе таможенник, дело не в том, как ты его называешь, а дело в том, что ты должен соблюдать правила игры. Что-то завтра? Кто одолеет — Муза или Гример?

А время позднее, пора и Таможеннику уснуть — тело это та лошадь, которую нужно держать в холе, иначе не повезет, а чтобы быстрее уснуть, есть неплохое снотворное. Увы, чтобы выжить ему в Городе и именем не рисковать — мудрый и для Таможенника поступок, — от женщин со временем пришлось отказаться вообще, и Таможенник — человек в эти минуты — может проболтаться, а лишние свидетели — это большой процент возможности неудачи. Тьфу... Таможенник даже плюнул, что за язык у него — наслушался всех этих коэффициентов, параметров... хорошо, когда есть это... Через несколько минут он успокоился, сходил принял душ, и сразу благодущие подкатило. Может, и не надо ничего, черт с ним, с Великим, столько лет терпел. Нет... а может, не надо... но, не решив ничего, заснул... И спал не хуже, чем всякий простой, не обремененный никакими высокими заботами какой-нибудь Сто сороковой. Это тоже была особенность Таможенника, в любой ситуации он нормально спал, легко принимал любые решения. И не мучился, когда служба требовала поступать так, а не иначе.

То же самое и по поводу своих личных проблем, поскольку личные проблемы и проблемы Города были для него едины, ибо он и был самим Городом... Но тише, не мешай спать человеку. У него завтра все-таки нелегкий день — при всем его хладнокровии. Ведь он тоже переступил обычай, то есть самого себя, и тоже как человек включен в систему им же вызванного движения, которое ему не прекратить и не переиначить, ибо оно уже и в спящем Городе набирает скорость.

XII

Но сон, как и бессонница, не вечен. Уже и утро.
Фонари.
Дождь.

Черные мокрые стены, блестящие, как агат, словно памятники на кладбище, скромно-величественные и маломасштабно-монументальные.

Кто же первым встретится идущим вдоль низких черных бортиков канала? Конечно, тот, у кого больше работы. Следовательно — Таможенник. Прошел, почти промелькнул как тень по этим улицам без размышлений, не оглядываясь по сторонам, никого и ничего не заметил. Только один раз остановился, руку в воду канала сунул. В пальцах потер. Нормально. Никакого ощущения, вернее, такое ощущение, какое и должно быть. И уже дальше, как мальчик с разбегу, проехался по черной скользкой плите и остановился там, где Муза видела Сотых. Около подъезда. На мгновенье замер, подумал. О чем? Стоит ли? Нет. Это уже вчера на самом деле было решено. Успеет ли до их выхода? Да!

Зачем же Таможенник так рано приперся в дом Сотых, когда за всю свою жизнь дальше домов, имен и не показывался? А затем, что Таможенник должен сам,

прежде чем услышит ответ Гримера, посмотреть на материал, с которым тот работает. Почему не сделал это прежде, чем пришел к Гримеру? До того как Гример начнет быть движимым пружиной, любой порядок неприемлем, это вот потом последовательность имеет единственный вариант, а сейчас... А сейчас Сотые уже встали. Были одеты и готовы к продолжению работы с Гримером, они даже подошли к двери, когда в ней возник Таможенник. Оба попятились... Уж они-то знали, кто перед ними, все мысли всегда в эту сторону, — ослабились. И опять у Сотого радостный комар впился в сердечко, вот оно... А у Таможенника мало времени. Он ухмыльнулся. Подошел сначала к Сотой, провел пальцами по коже лица, отвернул кожу век, открыл пальцем рот. Расстегнул рубашу, спустил вниз, рубаша сползла и застыла горкой вокруг ее ног.

— Шагни вперед. — Она шагнула. Таможенник опустился на колени, поднял ее правую ногу, затем левую, осмотрел тщательно ступни, поводил ладонью по ее пяткам. Гладкие, розовые, ровные, словно свет красного фонаря в тумане. Посадил в кресло. Попросил Сотого приблизить свет лампы, пальцами, как пианист по клавишам, пробежал по коже, на боку пальцы почувствовали, что кожа не отзывается на прикосновение, словно западающий клавиш, чуть сильнее погрузил палец в кожу — ага, глубже была реакция, тело Сотой было настроено и звучало вполне перспективно, в последний раз тронул правой рукой шею, провел согнутым пальцем по губам, дождался полной реакции, бережно вышел из касания. Тело еще несколько минут звучало... Пойдет... После осмотра Сотого, столь же тщательно быстрого, методичного, профессионального, он попросил его чуть приподнять голову. Сотый приподнял голову.

— Довольно, — Таможенник уже шел к двери.

Сотые посмотрели друг на друга. Они были счастливы. Она бросилась к нему на шею.

— Господи, как я рада. Это был Таможенник.

Он гладил ее волосы и тоже плакал. Просто чуть не сошел с ума от радости. Зареванные и счастливые, они стали одеваться.

XIII

А Таможенник и Гример в это время движутся по направлению к Дому, и головы каждого светятся в тумане. Когда мысли яркие, они различимы и сверху тоже. Видишь, как ползет свет Гримера — много медленнее, чем Таможенника. Оно и понятно. Гример еще не додумывает, а Таможенник делает. Всякий делающий движется быстрее, чем думающий, как делать и тем более делать ли вообще. Я уже говорил, что Город похож на вывернутый наружу античный театр. Вот и сейчас снизу из проходов они движутся, светясь дождем в тумане, чтобы сойтись в одной точке, где появлялся бы *deus ex machina*¹, и вот уже скоро Таможенник, опередив Гримера, погаснет в дверях Дома. Таможенник погаснет, не заметив и не обратив внимания ни на дождь, ни на черные мраморные стены и вообще не ощущая почти ничего. Это и справедливо — до ощущений ли делающему, ему только до очередного исполнения. А вот Гример, смотри, все еще ползет, тяжело, боясь своего решения и запутывая себя мыслью, что, мол, все случится, как случится в последнюю минуту, и как случится — то и будет, как надо. И справедливо, ибо когда он поступал не думая, всегда выхо-

¹ Бог из машины (*лат.*).

дило как надо, как судьба распорядилась. И так вроде удобно было, ни за что и отвечать не надо. И то, внешне, решение и ощущение и есть истина, а все расчеты и решения до — всего лишь ложь самому себе. (Господи, а может, все наоборот!) И Муза, может быть, права, и он еще откажется от всего, — так думает Гример, вроде бы как понимая себя... И ощущает все, ощущает сегодня особенно и глубже, чем обычно, потому что сомнение — это и есть внимание ко всему вокруг. А дождь сегодня вечен и еще более ощутим, его тяжелые властные руки обшаривают тело Гримера, пытаюсь найти то, что он спрятал снаружи, а если нет ничего, то и внутри, и кожа подалась под этими руками, и чувствовал он сквозь нее, как дождь обшаривает Гримера внутри его, труднее стало дышать, сердце будто зажали в кулак, и оно, как птица, пыталось делать какие-то движения — взлететь, вырваться, но только дергалось внутри себя; еще сильнее под дождем на лице выступил пот. Гример остановился. Стоп. Еще ничего не решено. Рука разжалась, сердце сначала судорожно рванулось... потом крылья его стали работать опять легко и постоянно... Постоянно билось сердце, пот смыл дождь, и новый уже не выступал. Господи, подумал Гример, я же не завишу, как все, от каждого события, я же выбрал себе дорогу, я же... Это они зависят от меня...

XIV

Таможенник, конечно, не знает, шагая по кабинету Гримера, о чем тот думает сейчас, но настроение его в норме. Кандидаты вполне подходящие. У него даже проскальзывает любопытная мысль, что потом надо будет ее навестить... Но эта мысль все же в ка-

кой-то степени — попытка уравновесить волнение, которое сейчас живет в нем. Он бы убил это волнение, если бы было надо, но надо только чуть уравновесить. Потому что Таможенник знает: в волнении человек чутче, а он должен быть чутче, потому что от решения Гримера многое именно сейчас зависит, и здесь не только важен факт, а и степень надежности этого решения. А это уже никакими мозгами не просчитаешь, но ощущение может вполне надежно расшифровывать ответ и степень согласия или несогласия. Бывают такие несогласия, в которых больше гарантии исполнения, чем... Вошел Гример. Не ожидал увидеть Таможенника здесь, специально пришел на десять минут раньше, чтобы в знакомых стенах и до решить, и отрепетировать варианты ответов, и даже на этих стенах попробовать их убедительность. Ничего не вышло. Придется прямо на глазах Таможенника... Что это — все же шанс или... Таможенник пришел раньше. Следовательно, обеспокоен сам, следовательно... шанс. Попробуем вариант другой. Таможенник пришел раньше, следовательно, хочет создать иллюзию беспокойства, следовательно... Но ведь, так рассуждая, ничего не просчитаешь. Правильно. Ты ведь хотел положиться на ощущение. Хорошо, на ощущение. А Муза, которая знает, наверное, лучше меня мои ощущения, абсолютно проста в выводе. Отказаться не прямо, не вслух, а сославшись на любую вполне объективную причину. Когда есть такая причина — всем удобно. Гримеру — чтобы отказаться, Таможеннику — чтобы принять отказ. Причина? И Гример решает выполнить все советы Музы, чтобы, по крайней мере потом, перед ней не пускаться в тонкие оправдания.

— Я не знаю, подойдет ли моя пара.

На «е2 — к4» Таможенник не тратит даже мига мысли.

— Осмотрел, подойдут. Удачный материал. — И даже ладонь опять поднес к носу — запах остался, подходящий запах. — Подойдут.

— Хватит ли мастерства? — Это так не прямо, а с виду так спрашивает Гример, как будто он-то уверен, а вот уверен ли в этом Таможенник, Гример не знает.

— А у тебя будут данные, — объясняет Таможенник Гримеру.

В смысле — радуйся, мол, что вообще это предложение сделано тебе, а не другому, потому что мастерства десятка примеров хватит для того, чтобы по этим данным сделать то, что надо. Но Гример тоже не лыком шит. Десяток сделает, а пришел к нему. И тут Таможенник как бы проговаривается нечаянно, что, мол, он не первый, но что с другими разговора не вышло. Может, и правда. Вполне может быть и правдой. Соавторы власти. Страх и так называемая справедливость в чем-то поглавнее Таможенника... Но что такое правда и неправда у Таможенника, Гример хорошо знает. Ему надо сделать дело, все равно как. А остальное все можно назвать любыми именами, которые удобны или приятны партнеру по торговле. Все равно суть не в этих словах, а в деле. Конечно, для самого человека приятнее пытаться жертву, думая, что занимается он исключительно спасением души пытаемого, чем делать это за деньги. Но, с другой стороны, какое дело жертве до мотивов палача, огонь палит тело, когда ток...

Да, в результате разговора (и все-таки ясно это не выговорено) оказывается, что гарантий Гример никаких не получит и в случае неудачи будет за все отвечать один. Наконец наступила ясность — Гримеру стало легче. Этот вариант его устраивал. Если он отвечает

один, это действительно шанс, потому что тогда Таможенник ни разу не придет и не будет соваться в работу, а это означает, что и без того в короткие сроки операции одним неудобством, и может, главным, будет меньше. Следовательно, возможна удача. А если невозможна? А возможно жить еще столько, сколько он прожил, или бóльший срок так, как он жил, ибо потолок его им достигнут? Бессмысленно буксовать внутри себя, как танк в трясине, погружаясь в болото еще десятка два лет.

Бррр... И только в этом весь смысл жизни и все ее перспективы?.. Но Гример не дурак, согласие он выражает в форме туманной и расплывчатой. Таможенник еще больше не дурак, напоминает ему, что этого разговора не было между ними. Ну вот и все. Очень просто — пружина повернула барабан, у того на оси — зубчатое колесо, зуб в зуб — шестеренка поменьше — крепко вцепилась, не оторвать, и, пожалуй, не разберешь, кто кого движет. Да и времени, чтобы разобрататься, нет. Зуб за зуб — и Сотых сейчас зацепят. Чтобы не сталкиваться с ними, Таможенник выходит в противоположную входной дверь. Еще движение до маятника не дошло, еще недвижимы стрелки, даже зоркости крайней не видимо новое время, а внутри вздрогнуло колесо, насаженное на одну ось с судьбой Города, — вздрогнула застоявшаяся история — пое-ехали...

И все-таки, черт возьми, Гример взволнован. Не просто разговор — начало новой жизни. Руки даже дрожат. Пальцы. Приятная вещь это дрожание. Он давно уже научился использовать и согласовывать волнение и движение пальцев и рисунок операции. Одно удовольствие избирать ту часть рисунка, правки лица, ритм, которые совпадают с твоим собственным

волнением. Это все равно что к зажатому и крутящемуся куску дерева подносить резец и снимать ровную и красивую стружку: дерево получается гладким и совершенным — более гладким и совершенным, чем когда режешь дерево, неподвижно лежащее, зажатое в тиски; а если и тисков нет — в руке, какой ни глаз, какая ни рука, поверхности, как вычерченной при вращении, не получится, а уж скорость — об этом и говорить нечего. Давно Гример работает быстрее, чем его коллеги, потому что для Гримера волнение не помеха, а напротив.

Но сейчас некогда об этом думать. Сотая уже спустила рубаху до колен. Гример просит поднять до пояса — больше не надо. А у Сотой после посещения Таможенника все в голове перевернулось; может, теперь и рубаху до колен надо спускать. Гример надевает фартук. Сотый сидит за дверью, тело его дрожит. И он весь в нетерпении продолжения операции. Но если бы его спросили, чего он дрожит, чему радуется, то, хоть убей, вряд ли бы он ответил точно, но приблизительно свои ощущения от визита Таможенника и своих догадок он бы сформулировал так: грядут удачи, повышения... и немалые... Вот почему он дрожит и волнуется. Так бык на бойне чует кровь и уже дрожит от возбуждения.

А Гример в это время уже навалился грудью в фартуке на влажную от напряжения грудь Сотой и поднес дрожащую руку к ее веку, третий квадрат... как машинка, строчащая споро и быстро, он надрезал кожу и вывернул ее наружу. Сотая зашевелилась под ним. Он еще сильнее навалился на нее и притиснул к столу. Той было больно и от тяжести, и от ножа, но она успокоилась. Надежда делает нас более терпимыми к боли и тяжести. Она даже почувствовала его сильное тело, и дикая и невозможная мысль мелькнула у нее: а что,

если... но у Гримера было имя, и это было исключено, но закон законом, а ощущению не прикажешь. И она шевельнулась под ним, и опять боль отступила. Телу стало истомно.

— Если ты, тварь, будешь мне мешать...

Это отрезвило и испугало ее. Гример сильнее утопил скальпель, из-под него брызнула кровь, и ее дернуло, как на электрическом стуле, истома вышла стоном, Гример взял сразу два квадрата, и эта тройная боль... Стон перешел в крик... Это уже удобнее, когда пациент только в боли, он не мешает тебе хотя бы тем, что не думает и не ощущает тебя, а Гримеру нужно было сегодня только немешающее тело... И еще глубже и шире скальпель Гримера впился в плоть... Здесь начинаются чисто профессиональные вещи, а они никогда никому не были интересны, в них, кроме боли, привычки, ярости Гримера, самовнушенной уверенности, что он успеет, ничего больше нет. Да и стоит ли стоять над этими двумя союзниками, имя первой — сопротивление боли, а второго — причинение боли, они оба получают многое, конечно, в случае удачи... Вернемся лучше на улицу и последим за той, у которой эта удача ничего не изменит в жизни. Она будет так же кормить Гримера и ждать его, плача от любви и жалости к нему и его бессмысленным идеям.

XV

Муза идет на работу.

Смотри не смотри сверху, ты не разглядишь ее в дожде и тумане. Зато тебя Муза может увидеть, если мысли выдают тебя с головой. Вслед за Гримером вверх движется она, ее работа чуть ниже места, где появлялся *deux ex machina*, и слезы текут у нее по лицу,

потому что сейчас, чувствует она, Гример уже работает и уже не остановить движения, уже крутятся колеса вагона, стронутого с места Таможенником, а истинней — его ссорой, и эти колеса повисли над двумя стальными стрелами и скоро коснутся их, и покатится он, нагоняя в пути состав, который движется под уклон, потому что время вечно движется под уклон.

Как уже ина' погода, дождь плотнее, жестче, как будто тонкие пальцы впиваются в плащ, не прокалывая его, но вдавливаясь в тело, равнодушно и сильно, — так Таможенник осматривал Сотую. Дождь быстро смывает слезы, и опять глаза видят ясно, и туманный мир в дожде сыр и прекрасен.

Муза входит в дверь и ловит себя на том, что опять забыла, что ей сегодня надо сделать, и так бывает часто в последнее время. Она почти не помнит о работе. А когда-то ей было трудно представить даже, что она может забыть очередное задание. Она спешила к этим дверям, торопилась нажать кнопки лифта, веселела при мысли, что сядет за свой стол. Утопит клавиш видеозаписи и...

— Что у вас сегодня? — Директор спросил ее чуть раздраженно.

Она посмотрела на себя, на часы. Нет, все в порядке, — значит, это он сам по себе. Смешно. Вечером она могла сказать два слова Гримеру о Директоре, и тому завтра сменили бы имя на номер, а то и вовсе дело могло дойти до Ухода.

Муза никогда не пользовалась своим именем, другие — часто и еще радовались своей власти, как будто сами так же не были зависимы от Таможенника, и никогда не могли понять «за что», когда приходил их черед. Муза не торопясь посмотрела на пульт. Последняя передача «Бессмертных».

— Будете смотреть одна и поставите свой знак.

Ага, вот и причина: боится. А чего боится? Это же не первая передача. Что-то изменилось в Городе? Ну он-то откуда это знает? Никакой информации ни у кого нет. Информации нет, но... Вот в этом «но» — вся разгадка, и Директор уже чувствует. Ну и черт с ним, пусть боится. На уровне Директора у нее не было проблем и не было никаких сомнений. Все, что могло случиться, могло случиться только с Гримером, следовательно, и с ней, но не по поводу неудачной передачи.

XVI

Клавиш вниз; третий, девятый, второй. И сразу речь: «Напоминаем содержание предыдущий серий.

В одном из районов мира, оторванном от основного континента, Бессмертье стало нормой и формой жизни. Решением Главного Совета решено было сохранить количество населения в пределах десяти тысяч человек. Всех женщин, способных рожать, уничтожили. Остались те, кто больше никогда не помышлял о грехе, десять тысяч бессмертных стали жить, наслаждаясь тем, что было создано ими и что окружало их. Так прошло несколько столетий. И вот люди поняли, что они уродливы, стары, безобразны; слабы, чудовищны и бессмысленны их жизни. И решением Главного Совета было решено за счет добровольцев, согласившихся уйти из жизни, освободить место новому поколению, произвести на свет Божий детей, чтобы жизнь сдвинулась с мертвой точки.

И, о чудо, в самом глухом месте района была обнаружена девочка, самая последняя в семье. Все семейство умерло, и она жила одна. Ей было лет шестна-

дцать. Не одно поколение рода охраняло этот крохотный ручеек жизни, минуя списки, минуя бессмертных наблюдателей. И она была найдена и приведена на Совет. Ей объяснили, зачем она нужна. Каковы ее обязанности. Ей показали видеозапись, как она должна была вести себя. И она почувствовала в себе желание. И были выделены десять самых молодых бессмертных, в возрасте примерно до тысячи лет».

Вступительный текст кончился. Муза остановила запись.

Простучала свой знак быстро и привычно, затем знак хранилища, затем знак соединения. Готово. На пульте зажглась зеленая лампа.

Завтра эту серию увидит весь Город.

Чиста ли запись? Все ли смонтировано правильно? Однажды был такой случай. В «Бессмертных» вмонтировали хронику выбора Главной пары... Уход был назначен сразу всем Музиным коллегам. После этого было большое передвижение. И только ее, Музы, не коснулись и этот Уход, и это передвижение. Она была парой Гримера, у нее было имя.

Внимание.

Перед ней выросли люди. Они были приятны на вид, таких одежд не носили в Городе.

И был сумрак. И был час. Легкие, белые, льющисся одежды были свалены в кучу. Все встали, сгрудились, тела людей были тощи, дряблы, безобразны, но чисто вымыты, и от них пахло приятно. Тела давно облысели, все было как у младенцев: наружу, невинно, бесполо. И даже в сумраке, видя это, было страшно и горько за человека. И была она. И легла она, красивая, нежная, юная...

И открыла ноги свои и подняла рубаху, похожую на рубаху женщины из Города. «Зачем это? — подумала

Муза. — И так все понятно. Это лишнее». Она остановила запись. Вырезала рубаху.

Опять кольцо мужчин. И она.

И, опираясь на посох, подошел один. И вздрогнула она и повернулась к нему, и протянула руки. Он потрогал посохом ее руки, плечи, грудь, живот и отошел. Она сжалась. Подошли остальные — опираясь на посохи, и вдруг, отбросив их, упали на нее все вместе, разом, корчась и извиваясь. И тут кончился сумрак и ослепило всех светом ярко и бешено. И перестали быть тела полусмутны, и вспыхнула сначала ее розовая кожа, а потом и их тела желтые, иссохшие, испещренные синими жилами, и смешалось это чудовище, завертелось, застонало.

Муза посмотрела на шкалу: десять баллов отворачивания к иной жизни. Довольно, — это почти предел, какой может вынести человек.

Чудовище стонало, корчилось — так черви, облепив свежую кость, спешат, копошатся, извиваются.

Но стрелка задрожала и поползла за красную черту к одиннадцати... Муза остановила запись. Закрыла лицо руками. Она плакала: «Не хочу бессмертия, не хочу, не хочу. Господи, какое счастье, что есть день Ухода, какое счастье, что все это кончается, какое счастье, что мое тело молодо, что я могу видеть себя и любить себя...»

Но надо было продолжать работу. Ей стало жалко тех, кто будет смотреть сегодняшнюю серию. Она вырезала часть записи. Успокоилась. В конце концов, это работа. Со своей задачей Муза справилась. Насилия не было, она это сделала искренне, добровольно. Каждый должен быть уверен — то, что он делает, либо прекрасно, либо справедливо. Сделанное ею было, бесспорно, справедливо — по крайней мере так думала Муза, которая сама лепила каждую сцену, каждый

жест и знала секрет воздействия и приемы убеждения, и все же она была сейчас убеждена в справедливости своей работы и для нее было истиной, что бессмертие — кощунство.

Правда лишь то, во что мы верим, даже если мы всего лишь придумали эту правду.

Она приложила ладони к щекам, насухо вытерла слезы и опять включила запись. Пожалуй, эта серия лучшая, предыдущие давали не более трех-четырёх баллов омерзения... А это предел. Она уже почти не смотрела душой на неподвижное растерзанное тело девочки, на валяющиеся вокруг скрюченные беспомощные скелеты, обтянутые желтой кожей, она смотрела профессионально. Они останутся живы, эти старики. Результат этой свалки — мерзость, потому что они давно перестали быть способны исторгнуть семя и омолодить жизнь. Муза посмотрела на индикатор: все те же одиннадцать баллов. Вырезала скорченного старика, валяющегося с запрокинутой, задранной вверх головой, с бельмом на левом глазу, сжимающего клок рыжих волос синей рукой. Чуть убавила свет, проверила по индикатору. Точно десять баллов. Достаточно. Хорошая работа, даже удачная. Если б она не была Музой, можно было бы и ждать поощрения. А так она выше всех возможных форм поощрения — у нее имя.

Проверила контрольных зрителей. Девять — одиннадцать баллов. Норма. Город сегодня еще раз убедится в гуманности своего закона. Уход — высшая форма справедливости. Как разумна эта мера. Я думаю, если б каждый так же был убежден в совершенстве и разумности мира, который его окружает, сколько бы истинного счастья испытал за свою жизнь.

XVII

А вот Великий Гример может вполне обойтись и без иллюзий. Это только микробу, живущему в кратере действующего вулкана, нужно воображать, что он в раю, дабы выжить, а Великий Гример, наоборот, чтобы не было скучно, иногда должен придумывать себе развлечение, ковыряя в носу, лежа на постели, чтобы чувствовать себя как все. Но не сегодня — сегодня ему не до скуки, он закончил свою пару, вполне доволен работой и в своем благодушии совсем забыл о ссоре с Таможенником, которая в действительности была пустячной, да и чего между друзьями не бывает. Надо сказать, оба обязаны друг другу: один в свое время сделал другого Таможенником, а тот, другой, в свою очередь, сделал сделавшего его Великим Гримером. Почитай, как лет десять они вот так и ведут этот Город, помогая один другому. Но, справедливо считают в Городе, самая крепкая любовь — короткая; самая прочная дружба, которая вовремя кончается. Так-то оно так, но дружба Сотой и Музы — это ее частное дело, а вот Великого и Таможенника — тут другой коленкор: от того, *как* у них, покой Города зависит. Но все люди, все прыгают. А жаль. Хорошо, если б Таможенник и Великий не прыгали, а как-нибудь помертвее, что ли, были. Помертвее? Ну не помертвее, так бесчеловечнее, что ли?

Увы, на любой линии, с любым именем, внутри не перестает существовать человек, даже если он и невидим. И в этом вся причина? Может, и другая, но это пока не моего письма дело.

Сейчас бы, наверное, Таможенников человек человечку Великого горло перегрыз, если б числились

они в пределах даже первой сотни. А так — накануне завтрашнего выбора Главной пары, празднуя с Великим окончание его самой удачной операции (ведь это только подумать: степень подобия — минус ноль и три сотых — такого, пожалуй, у него за все время работы не было. Даже у Таможенника эта степень только чуть выше). Так вот, раз так удачно сложились последние дни у Великого и — хороший результат, а для Мастера результат не последняя вещь, это тебе и цель, и перспектива, и движение, ты думаешь, Таможенник зол и неприветлив или, что одно и то же для умного глаза, притворно мягок и мил — то ошибаешься, на сегодняшний вечер Таможенник убедил себя (это не каждому доступно), что ближе Великого и друзей нет, что истинная правда. И что тот сделал Таможенника Таможенником (что справедливо тоже). И что этот человек ему мил и приятен в своей удаче и в широте. Ну Бог с ними, с пустяками расхождений, которые сегодня приятны Таможеннику, как привычные комната и кресла, сад, в котором можно в любом выборе давить птиц, единственные в Городе — даже у Таможенника этого нет — картины, на которых множество разных лиц и которые, конечно, интересны и опасны своей непохожестью. И даже Таможенник, боящийся сомнения как огня, никогда бы не повесил их у себя. У каждого в доме много картин и портретов, и на всех варианты Образца — сидя, стоя, лежа, на бегу, в фас, профиль, сверху и сбоку, и каких только нет, и в окружении лиц, аналогичных Образцу, но с соответствующими степенями подобия. Опытному глазу не стоит и труда определить, кто — кто. А каждый глаз в Городе в этом смысле профессионален... В общем, что там говорить — приятно, привычно, уютно, удобно, свободно Таможеннику с Великим! Удобно, приятно, сво-

бодно, повторяет он сам про себя сначала, а потом настолько начинает ощущать это, что даже перестает думать так, а начинает так жить. Все ему нравится в Великом, его руки, руки мастера, неторопливая речь, его смешной рассказ о том, как его пара, сегодня увидев друг друга после последнего сеанса, расплакалась и они бросились от счастья друг другу на шею, а уже последние пять лет они ни разу не обнимали друг друга. И вдруг — опять любовь вернулась, и это не притворство, а рукотворная любовь. И не вечер для обоих, а что-то вроде карнавала, тихого, замедленного, с фейерверками, масками — незатейливыми, милыми, смешными. И когда Таможенник напоминает Великому их ссору, тот смеется и даже плачет, — как же они глупы в этой короткой жизни, что могут ссориться, хотя, может, и это нужно. Все нужно, и все можно, в конце концов, человеческие эмоции и двигают и творят историю. Хотя какая там история. Ведь они знают, чего стоят эти куклы, которые только воображают себя людьми. Они прыгают, вертятся, зависят от перемены номеров и места в Городе. А и места и перемена номеров — во власти Таможенника и Великого, а больше ведь и нет ничего у этих кукол. Да, говорит Таможенник, эмоции — это хорошо, и, может, даже то, что мы можем говорить об этом, тоже на дороге не валяется. Доверие — вот смысл жизни, а в этом Городе только мы можем говорить всё друг другу. И сам Таможенник верит в то, что говорит, и сам поражен своим открытием. И оба довольны вот этим приятным вечером, каких у них впереди еще о-о-о... А что ссора помогает и катализирует отношения, это надо учесть. Это и разобщение, и одновременно повод испытать друг друга в доверии. Только давай, решают оба, случись что, не таить столько времени в себе, говорить

об этом сразу. И тут две нежные души не выдерживают и обнимаются. О завтрашнем вечере почти не говорят, да и чего говорить — сценарий написан, роли распределены, иллюстраторы покажут то, что надо, даже если это будет не так. Уж сколько лет без осечки.

— А ко мне скоро баба придет, — сообщает Великий.

И это можно, до чего у них все просто.

— А я как всегда, — отвечает Таможенник.

И это можно, потому что каждый каждому готов последнюю мыслишку на свет Божий вытащить.

И когда Великий рассказывает, как его новая баба дрожит и как она закусывает зубами покрывало, чтобы не разорваться, все-таки при Великом неприлично, — Таможенник спрашивает разрешения, чтобы остаться и посмотреть. И Великий доволен: конечно, это даже острее. Они знают, а она нет... Точно: оба такого вечера за всю жизнь не имели, счастливее вдвоем, пожалуй, и не были, все-таки мужская дружба ни с чем не сравнима. Таможенник идет в соседнюю комнату, плача и не стыдясь своих слез, а бедная Сто с чем-то на дожде простояла час, пока наша пара убеждалась в общей прежней, неизбывной, вечной, верной привязанности. И вошла она, промерзшая, дрожащая, холодная. И свет не погасил Великий, а, раздев, стал разминать всю, как массажист, и разогрел ее тело, а вот душу не отогрел... Чуть дрожала и стонала она... Но, конечно, так, чтобы Великому угодить, все-таки он человек единственный и необыкновенный, но только так, умом стонала она... Даже Таможенник это понял и ушел, не дожидаясь конца, другим ходом. Да и договорились они, что он уйдет... Шел и, забыв о девке, плакал, и дождь сливался с его слезами, и падал на черный гранит, и стекал по незаметному глазу наклону в канал.

XVIII

Но пора уже было выкручиваться из состояния нежности к Великому. Не так-то просто в мгновение сделать это. Это тебе не скорость переключить. Пожалуй, еще и в дом Таможенник вошел, любя Великого. И на кровать, не раздеваясь, прилег, любя, и под одеяло залез, любя. А вот уже потом вроде как бы и отошло. И потихонечку отношение, как телега без лошади с горы, поползло вниз сначала медленно, а потом все быстрее. И опять мысль, которой, когда он сидел у Великого, и в помине не было, откуда-то из двойной стенки вползла и весь мозг заполнила, холодный, точный, быстрый. Пара готова. Гример сделал лучше, чем он предполагал. Муза, кажется, тоже поверила в удачу, увидев Сотых. Иллюстраторы заменены. Зал готов. У кандидатов Великого у бабы под правым ухом едва заметный шрам, который в увеличении будет огромен. Выполнившему шрам произведен Уход. Великий любит Таможенника. У них самые добрые отношения за весь их период службы. Это позитив. Но Великий — все-таки Великий. И его мгновенная реакция может быть неожиданной. Предположим, случайно, проверяя иллюстраторов, он узнает об их замене? Такое невозможно. После сегодняшнего вечера он вряд ли завтра будет раньше, чем за пять минут до начала, как это делал все последние пять лет. Надо же, пригодилась и девка, которую недавно нашел Таможенник Великому.

— Как забавно, — ухмыльнулся Таможенник, — я мог бы поклясться, что вижу ее в первый раз. Надо же, как управляем человеческий мозг. И что самое инте-

ресное, Великий тоже нравится ей. И может, даже больше, но она человек чести и раз верность обещала первому Таможеннику, то...

Не очень-то заблуждается Таможенник насчет их верности. Вполне она может с такой же убежденностью рассказать Великому, что она его любит сильнее, следовательно... А что следовательно? То, что он ее знает, естественно — бабу Великого Таможенник по должности обязан знать. А что она следит за Великим, тут Таможенник ни при чем. Просто они делились впечатлениями, восхищаясь уменьем и в этом Великого. И все-таки завтра утром ее надо будет взять. И прежде Ухода сделать так, чтобы она, помимо долга, сказала все еще и от боли. Это поубедительнее. Девка чувственная, значит, скажет все, что надо. Но вот весь ли это негатив? Нет. Все возможно. Все. Великий не зря номер второй, то есть на самом деле тоже первый, как и Таможенник, а это не только профессия и дар — это еще и дипломатия. И мгновенность, и неожиданность реакций. Только они сейчас там, где-то внутри, спрятаны за двойными стенами за ненадобностью, но придет час и... Нужно быть готовым ко всему, но сделать все возможное, чтобы не произошло ни одной накладки. Но радоваться, рассуждать по поводу хорошего исхода можно только после Ухода Великого, а для этого тоже нужен повод. Впрочем, это дело Комиссии. Председатель — тот угадывает мысли на расстоянии. И если только весы качнутся в сторону Таможенника, его чаша поползет дальше автоматически. Хороший Председатель сделает все, что надо. А этот Председатель отличный. Только вот бы чаша Таможенника не пошла вниз. А как она пойдет? Он же не Гример, не делал операции. В крайнем случае, он будет возмущен и

удивлен вместе с Великим. А после вчерашнего вечера в душу Великого и мысли маленькой не заползет, — извиваясь всем телом и дрожа раздвоенным языком, — что Таможенник принимал в этом участие. Гример попадетя на этот раз один. Ну ладно. Когда все варианты разобраны, можно и спать. Таможенник через голову снял рубаху, сходил вымылся, растянулся без покрывала и быстро заснул. Только во сне он скулил и вертелся, как побитая собака, как полураздавленная кошка, и плакал, и просил прощения, но это уже во сне, а во сне человек не владеет собой. Таможенник тоже человек. И руки его сжимали подушку, и тело синело, и казалось, кто-то душит Таможенника, но он вывертывался из этих рук, и борьба продолжалась, и победы не было ни на чьей стороне.

XIX

Но побочку сны Таможенников и им подобных — пора вспомнить о простом человеке, который живет в этом Городе, ибо для Таможенника и Великого — все люди простые, кроме них, разумеется, а для Таможенника, может, и Великий — простой человек.

Что они? Как они? Эти простые люди?

А у них сегодня бал — это раз.

А у них сегодня день встречи — это два.

Единственный день в году, ибо в этот день открыт зал Дома, где они могут быть вместе и где им не страшен дождь, который, идя не временно, а постоянно, гонит людей силой своей в жилища, а жилища узки и тесны, и негде простому человеку увидеть всех разом.

Итак...

А у них сегодня почти что равенство.

И имена.

И номера.

Ждут дня Выбора, дня встречи, дня свидания, дня, когда можно и себя показать, и людей посмотреть.

Как манны небесной.

И это радостное ожидание буйно (по понятиям Города, разумеется) проявляется в том, как медленно и чинно движутся они по направлению к Дому.

Дать бы им факелы в руки — надежные такие, чтобы на дожде не гасли. И посмотреть бы сверху с высоты Дома, как ползут маленькие мерцающие огни, словно муравьи к муравейнику, на холм — где Дом ждет их. Как веселы они — простые люди, как праздничны, как ликуют они. Выбор — а это значит, и у них есть надежда. Выбор — а это значит, выбранной парой будут счастливы и они. А зрелище, что ждет их после Выбора...

Идут они в полном ликующем молчании, и распахиваются все новые и новые двери, едва достигает их шествие. И какова справедливость — вышедшие последними движутся первыми, а вышедшие первыми — движутся последними, чтобы не было путаницы, давки.

Дай им факелы в руки и увидишь огромное дерево, ствол которого корнями своими уходит в двери Дома, а крона распласталась по всему Городу, и дерево все растет, и кажется, что ветви его не вмещаются в стены Города. Но это иллюзия — заставь их сейчас вернуться и спрятаться в своих норах, и на улицах не осталось бы ни одного человека.

Только фонари. Дождь. Каналы. Камень. Холодные, черные, молчаливые.

Но ничего подобного в день Выбора не произойдет — идут люди. Для чего же ветви, которые не убиваются в границах города? Чтобы напомнить, что это

иллюзия. Людей ровно столько, сколько места и номеров и жилищ в каменных кварталах. А огромность шествия тоже иллюзия, в которой столько же истины, как в утверждении, что земля неподвижна.

Но трудно не верить глазам своим. Все понимаю — и все-таки факелов столько, что они разорвут этот город и он лопнет и разлетится как воздушный шар.

«Увы мне, увы мне, брате...»² Не разлетится, и у иллюзий бывают пределы, да и потом они надежно ограничены реальностью. Распахнутая дверь Дома, как фокусник огонь, глотает бесшумно текущее в нее дерево, она ненасытна, не такое количество может проглотить, если выпадет нужда. Оставим извивающееся горящее огнями туловище дерева догорать на улице. А сами изнутри посмотрим, как толпа входит в святая святых Города. Здесь опять кончается равенство улицы, там все вместе — вверх к Дому на холм — строгим и мерным шагом, все в плащах, с факелами, под дождем. А здесь опять тот же Город.

Да, это не зал. Это именно Город в миниатюре, вывернутый наизнанку, только вместо домов, ячеек, квартир — кресла, и все они тоже под номерами. Полукольца рядов стрех сторон спускаются от входа к сцене. Как удобны ряды, проходы меж ними широки, легко каждый идущий, отыскав свой номер, может сесть, не мешая другому. В самом верху и вниз далее — места для имеющих номер, около самой сцены через широкую полосу отбива три полукольца — кресла для носящих имя. Сухо, тихо, над головой голубой купол, и яркий желтый свет посередине. Такой яркий, что лучше не смотреть туда. От этого света голубизна светлеет и кажется белой.

² Иер. 22:18.

Бесшумно, медленно заполняется зал, как будто вино наливают в чашу, сначала на дно, а потом уже до краев. Сначала имена — внизу, на дне, около сцены. Течет в широкие двери поток. Не медленно и не скоро, а заполняется чаша зала, которую, если увеличить да еще совместить обе полусферы в одну — Города сверху и зала снизу, — получилась бы земля, которая закрутилась бы вокруг своей оси-точки, где сейчас сидят Таможенник, Великий и Председатель Комиссии Выбора. Так вот, получив землю и разобравшись в ее устройстве, вы бы убедились, что номер — это и есть все, чем владеет человек в этом зале. Здесь все наружу — кто чего стоит, кто какое место занимает, на сколько номеров за год передвинулся, и даже такая тонкая вещь стала бы доступна, как то, что последнего из имеющих имя и первого из номеров разделяет бездна, и в этом зале эта истина выражена широким проходом, можно сказать, рвом, который и слепому виден. Перескочи эту пустяковину. Где уж там, может, всю жизнь до Ухода проживешь и не сможешь это пространство перейти, а всего-то метра два в зале, и, разумеется, слезы, труд, мастерство Гримера, судьба, наконец, на самом деле. Хочешь попристальнее посмотреть на них — посмотри, сейчас десять минут самой великой коллективной свободы. На сцене сидящие молчат, и каждый в зале предоставлен самому себе. Десять минут до Выбора, десять минут до бала. Веселье в разгаре, все молчат и друг на друга смотрят, кто — где, что за год произошло. Ведь все видно. Да и себя всем, кто тебя видит, показать не грех и единственный случай, вырос ведь? А? И главное, не дай Бог, перепутают их номер. Хорошо еще в выгодную сторону, а если наоборот? И поэтому вставшие стараются перейти на ряд-второй

ниже — и здесь хорошо встретить тех, кто еще недавно с тобой был, а теперь прилично опустился, весь зал — чаша, и, естественно, что самое высокое место — это самое низкое кресло, но «низкое» — слово, противоположное по смыслу истинному его значению. Здесь все иллюзия и условность, но они-то эту условность знают как таблицу умножения. И никто из них ничего не перепутает. Стоят группками, на переходах, между поясами и секторами рядов, и тихо, полуслышно, важно и солидно говорят, и вот уже смешались номера, и Пятисотый может вроде бы и среди Четырехсотых затесаться. А вон Сто тринадцатый, пузырится весь на главной границе — ишь куда забрался, пострел, энергией исходит, и корчит такие рожи, что временами действительно кажется, что лицо его — лицо имеющего имя и он здесь случайно, даже вроде непонятно, как он сюда на верхотуру забрался и зачем. Вроде вот подошел только к своим прежним забытым однокашникам и скоро уйдет. И никому наверняка даже в голову не приходит, кроме знающих его лично, что после десяти минут свободы вернется он в свое Сто тринадцатое к своей Сто тринадцатой, которая, как делает это половина примерно зала, сидит на своем месте и ждет начала. И все мысли ее, Сто тринадцатой, там, где сидят их боги и где перспектива зависит от их взгляда, и шевеля губами, в полузабытьи свою судьбу просчитывает...

И ей не до болтовни крохотного человечка, который доводится ей парой. И до того забылась, что рубашку выше нормы подняла, судорожно комкая подол в потных ладошках. И через два номера от нее сидящий сто пятнадцатый протянул руку к ее руке. Опомнилась Сто тринадцатая, и выпустила подол, и так резанула глазком сощуренным Сто пятнадцатого, что

тот убедился в неосновательности своих ощущений и догадок, встал и пошел к группе, где его ждали глаза, которые уже давно были его. Из Сто двадцать второй пары. Интересно вот так стоять. Здесь она — напротив он, он — ее, а она — его, до кусочка кожи наизусть выучили, а для всех чужие, а вокруг десятков номеров, обсуждающих последние новости перемещений, и перспектив, и ошибок, и того, как вот этому не повезло, но это временно, он-де передвинулся за год только на один номер, это, конечно, не рост, но вот другие и этого не имеют.

И вот ведь можно услышать, что другие это еще не мера... А сто тринадцатый кипит, он в этой группе вроде информатора о том, что происходит там, внизу, у тех... Он поднимает палец, что он в ближайшие дни, мол, будет там, и это вопрос действительно дней, и что за год он передвинулся на двадцать номеров, но для него это-де не предел, а у лица ну прямо-таки другая степень подобия. Так научился, собака, держать его, что спутаешь, даже профессионал спутает. Ах, если бы вот сейчас закончился перерыв и спустился он туда, где все его мысли... Жди, жди, милок, времени у тебя вагон. Будешь еще там, внизу. Зато у тебя сегодня лихая перспектива — спуститься вон туда и на равных заболтать в сановитой, степенной группке. Ты думаешь, если они имеют номера повыше, то есть поменьше, то речь у них идет об ином... И тут иллюзия. Такое ощущение, что ты никуда не уходил. Та же тема. Обсуждение перспектив. Те же заботы гнетут, вечные — имя бы им... Упаси тебя Бог оставаться и выдать себя — что-де имеешь ты право опуститься куда угодно, вплоть до первого ряда... Все эти сто пятые, сто тридцатые, двухсотые и прочие — высокие и низкие, толстые и тонкие, заговорят тебя, впившись зрачком

в очи твои, что они, вот именно они, и стоят того, чтобы сидеть там в первых рядах, и то, что они здесь, временно, во-первых, и кратковременно, во-вторых... Беги в первые ряды, беги, жаждущий покоя, у них, слава богу, нет перспективы, но есть этот покой, им некуда стремиться, послушай, о чем говорят они, а ни о чем не говорят они, все сытые, им не о чем говорить, разве что о балах, но и здесь они прошли такую школу, что о-о-о-о, а о работе — что о ней говорить, они делатели, и у них все уже позади, у них даже имена есть, то, о чем верхние даже в приступе белой горячки помышлять не могут, потому что можно сменить номер внутри своих рядов, а уж чтобы перебраться в первые ряды, как нашему Гримеру, такое раз в век и удается кому-то, если не считать баб, — а они не люди, не сами, во всяком случае, — но чтобы и это не мешало людям жить, скрывают и пишут перешедшего как исконно своего, но что-де который был временно в наказание лишен имени. И что, мол, сверху вниз естественного, то есть единственно правильного движения и нет, и не бывает, и быть не может. Как дождь не может прекратиться, а солнце, если бы оно было, идти с запада на восток. Тоже справедливо. Все в этом Городе справедливо. Пожалуй, справедливость здесь достигла предела. Есть цель, но она неисполнима, чтобы не исчезнуть у живущего и не обесмыслить его жизнь. Ты скажешь — у имен? Ну он и без цели уместны, и тут справедливость — и такие нужны (как факт) цели, которая не завтра, не послезавтра, а сегодня. Понятно, как лихо устроено? Но тише, десять минут на исходе... И Сто тринадцатый юркнул на место, скривившись, что мол, временно посидит здесь. Муза, которая говорила с Сотой, отправилась на свое место. И Гример, посмотрев в последний раз на свою работу, весь бе-

лый, отправился к Музе, боясь взглянуть на Великого. А тот и не знает вовсе, что вот в этом рядовом Гриммере, может, финал его карьеры... Но ладно, в мире порядка бывают тоже теоретические просчеты, которые потом быстро обрастают теорией справедливости.

XX

Тише, тише... Шу-у-у-у. Смолкает зал, как море, выдохнув воду на песок в сильный мороз — мгновенно превращается в лед. И вот вокруг только мертвая, холодная, каменная тишина. Гаснет, затухает, затуманивается свет в зале, он исчезает, и теперь это действительно одно лицо. Без рядов и номеров, лицо смотрящего и творящего, лицо выбирающего. А на освещенной сцене трое. И к ним идет первая пара, которой сегодня предстоит стать Главной. При своем участии именно в Выборе никто никогда не сомневается и в справедливости, и в том, что эта пара будет Главной. Здесь смотрящие в зале разделятся на тех, кто знает пару, и на тех, кто не знает ее лично. Каждый незнающий однолик, он зависит от легенды, а вот каждый знающий, увы, знает и относится к паре сам по себе. Да и подумай, может ли, например, Сороковой относиться к женщине из пары как все, если вчера целых два часа он шептал в это правильное розовое ушко их тайные слова, она же вот этими губами потихонечку, как девочка с корзиной, обошла весь лет и сорвала все ягоды, которые ей попались на пути. И — столько тайн, сколько нитей протянулось к сидящим в зале от этой пары. А если бы продолжить эти нити, то оказалось бы, что сидящие в зале, знающие главных кандидатов, связаны такими же нитями со всеми сидящими в зале. И возьми пару, да приподними ее, да

вознеси к куполу — и весь зал закачается на этих нитях, и ты увидишь, что весь Город, собравшийся здесь, оплетен двойными, десятерными линиями и нет такого человека, кто бы не побывал с кем-то, а та, в свою очередь, побыв с кем-то, не связала того крепкой и прочной связью. Это хорошо, что мы не можем поднять главных кандидатов, показать, как Город связан внутри себя. Это хорошо, потому что у сидящих в зале остается иллюзия. Что только знакомые связаны с главной парой, а они в этом случае ни при чем. Да и откуда им знать, что через знакомых они тоже связаны, все связаны друг с другом. Бррр. Ну ладно, посмотрели, и хватит, думаешь, ты не связан в этом со всем миром?.. Ладно. Пора. Они здесь. Глаз — на сцену, там уже начинается то, для чего они здесь.

Внимание. И пара поднимается на желто-черный очередной помост на сцене.

И нет уже никого вокруг — свет погашен. Только лица еще выхватывает луч из темноты, но вот и он исчез. И уже на экране вверху, рядом их лица — огромны и подобны. Не голова, только лицо на экране видимо; как будто маску вырезали, и цвет волос не важен, и есть ли они вообще, и линия черепа не имеет значения. И так просторны лица и так широки, словно огромная карта двух полушарий легла на экран, только то, что справа, подобно тому, что слева. И на каждом вверху — на севере — холодное белое снежное поле лба. На юге — внизу, круглый край подбородка, плавный, как залив моря. На западе, словно изрезанное петляющей рекой поле, нежное голубоватое ухо, а справа — на востоке — второе, розовое и прозрачное, словно туман при свете встающего солнца.

Огромная эта территория пространств, на котором кажутся морщины — горами, пот меж ними — голубы-

ми озерами, застывшими среди гор. И только глаза делают живыми это пространство. И все же, когда они замирают, кажется, что земля и эти лица похожи друг на друга, как две птицы на одном выстреле. Взиууууу, — как пуля через зал, и над лицами Главной пары вспыхнул Образец. Лицо Образца было хорошо видно до начала вечера, огромное висящее над всем залом, но вот когда потушили свет и высветили только лицо будущей Главной пары, погасло и лицо Образца. Чтобы глаза на мгновение забыли о его совершенстве и снова наново увидели, как прекрасна эта великая территория, необъятна и исполнена гармонии и соразмерности.

Теперь это уже ансамбль, трио — два лица Пары и третье — Образца. Как танцоры на сцене, одновременно, разом, синхронно, перевернулись они направо. Пауза. Зал только зрочки перекинул направо, за ними, как фокусник один черный шар — из левой руки в правую. Пауза. И на глаза видна, что это за работа, один к одному. О таком только грезить во сне мог бы каждый сидящий в зале. Если бы и над ним работал Великий...

Сколько мыслей пробуксовало, как мотоцикл, в головах, сорвалось с места и улетело в голубую даль.

— Ах... — Общий выдох вышел наружу. В нем и зависть, и ненависть, и сострадание, и соучастие, и наполнение мечты... Разве все расшифруешь?..

Загорелись цифры степени подобия. Иллюстраторы работают как часы. Первый — минус ноль три сотых, второй — минус ноль две. Наш Гример о таком и мечтать не мог, даже по новым данным. Сердце куда-то, как мышь, юрк вниз — и вроде, как яйцо, сейчас разобьется. Нет, еще задержалось, опять зрочки в левую руку фокусник перекинул, и все три лица налево перекинулись. Что это?.. Мышь вернулась на место, яйцо — в скорлупу, хотя там, возможно, был уже цыпленок...

Муза поперхнулась. Знакомые похолодели, незнакомые глазом моргнули, как будто на них замахнулись. Вспыхнул свет на сцене, и погасли проекции пары. Остался только один неподражаемый Образец.

Великий не поверил глазам своим — во-первых, степень подобия была минус ноль одна десятая, а во-вторых, под правым ухом он увидел увеличенный огромный, грубый шов. Не может быть — он помнил, как его тщательно привели в порядок, и еще именно тогда, заканчивая шею, подумал, что мог бы и больше сделать с лицом, если бы у него было время. Великий посмотрел на Таможенника и увидел на лице его испуг и недоумение. То же самое, наверное, выражало и его лицо, так что Таможенник — зеркало. Великий вспомнил вчерашний вечер и перевел глаза на Председателя. Тот был бесстрастен и спокоен. Но, может быть, это недоразумение. Может быть, ничего страшного. Там сидят проверенные иллюстраторы. И сейчас, когда на помосте появится пара номер два, все встанет на свои места. Нет, не все в порядке. Зал волнуется. У многих такие степени Подобия. Почему не они? Такого не было на их глазах ни разу. Что-то случилось. Еще не понимает никто что, но случилось. Муза вцепилась в руку Гримера. Гример подался вперед и как будто оцепенел. Сейчас его пара. Шрам явно положен уже после операции. Это не Великий. Зачем, разве недостаточно было того, что у пары Гримера выше коэффициент подобия, чем у первой пары? Запас прочности... А если это не так? А если он не дотянет, тогда его победа будет только для них победой, а для него — нет. Он не смог сделать, что был должен, или вообще не нужно было стараться, и можно было с его параметрами готовить пару. Не может быть! Голова пошла кругом. Неужели он ничего не значит, и его ремесло, и его

уровень, и его жертва — своим покоем, и именем, и жизнью, и Музой... И его сроки, в которые он сделал невозможное. Стоп, перестань мучиться заранее. Сотые уже на помосте. Уже идет работа с их лицами, как флюгеры, вертятся они на экране. Опять фокусник зрочками жонглирует. Опять трио под эту музыку исполняет ладный и синхронный танец. Одно па, второе.. Ах, как прекрасен Образец. Еще одно...

Цифры.

Цифры.

Цифры, много говорящие залу, а уж Гримеру! Каждое подобие в пределах сотых, но он так точно даже не работал, его параметры были грубее. И то, что для всех стало ясно только через несколько минут, Великий и Гример вычислили прежде. Великий посмотрел со сцены на Гримера, которого учил, не очень веря в его незаурядные, но в достаточной степени приличные способности, но учил как человека одаренного, необыкновенного. А вдруг? Чтобы перед собой не возникло вины непонимания, Великий сощурился. Так удобней смотреть ученику в глаза. Не может быть! Гример отвел глаза... Щенок! Брезгливость исковеркала губы Великого. Ну ладно, еще не все кончено. Он перевел прищур на Таможенника. Лицо его было растеряннo-удивленным. Растерянности и удивлению его верил Великий, но вот неучастию в происходящем поверить не мог. Не мог! И эта мысль теперь медленно поднялась в мозгу Великого, как тяжелая птица, которая была, но принималась им за куст в сумерках, потому что свет был там, где была нежность от мужской дружбы. И все-таки мозг верил, а ощущение нет. Ну да не в этом дело, вспыхнула кровь, и птица, обнаруженная светом, стала двигаться, маша крыльями, и вот уже тесно ей внутри и грудь выдохнула ее... Великий любил драку, поэтому он и стал Великим.

Чему удивляется он? Сам же еще даже влез на это место. Тогда он умел драться. А что, разве умеющий может разучиться своему уменью? Сытый лев не перешибет хребта козлу, потому что перед ним всегда сырое и свежее мясо. Зачем? Но дайте льву проголодаться... Но никакого прыжка. Надо еще более прикрыть глаза и спрятаться за этот занавес, чтобы другие не разглядели твоих движений. Очень удобная вещь — веки. Ага, Таможенник заволновался, но незаметно. Сейчас уже идет степень — минус ноль, две сотых. Ого, выше его контрольных данных. Не может быть. Но теперь дело не в том, что может быть и чего нет. Работа — это те пустяки, которые уже остались позади, дело не в ремесле. В политике. А в политике нет законов, а есть проигрыш или победа. А уже дальше шел праздник. Начинался главный и самый ответственный момент. Момент наложения. Все маски были повернуты в профиль. Каждая вспыхнула своим цветом. Желтым — она, Зеленым — он, Красным — образец. И — внимание. Сердца остановились и перестали выполнять свою ответственную функцию звукоисторжения. Остановилась музыка. Ну... дальше уже дышать было нечем, но никто и не дышал. Ну...

Может ли дышать опущенный с головой в воду?

Может ли дышать всунутый в петлю, качаясь в воздухе, который никуда не исчез...

Топящийся в том случае советует — попав на дно реки, притворяйся рыбой, пока не захлебнешься.

Ну...

Чем еще заполнить эту паузу? Что они, и в самом деле рыбы, что ли? Может, жабры у них под кожей запасные вшиты? Ах, черт, я больше не могу. Я даже не понимаю, почему они могут. Ага... пискнуло, скрипнуло первое сердце. И... Что тут началось! — все выдох-

нули... Ш-у-у-у... Совпали цифры на контрольном табло Совпадения. Мгновенье. Было темно. Потом вспыхнул свет, обнаружив на сцене Таможенника, Великого, Председателя и нашу — теперь Главную пару. Боже мой, я никогда не видел такого буйного, пьяного, страшно веселья; они победоносно, гордо, с чувством исполненности долга молчали. Во-первых, они решили свою судьбу. Потому что каждый раз в жизни мог стать кандидатом, но, конечно, не Главной парой. Дело дошло до того, только не пугайся, пожалуйста, что чье-то сердце поторопилось — немыслимо! — и ударило вместо одного два раза. Так бывает, когда, например, человек куда-нибудь торопится и спотыкается вот так — рраз, и все. Никаких аплодисментов, никакого шороха, случилось немыслимое — вторая пара стала Главной. Главной парой Выбора. Вот оно, мелькнуло в голове Сотого. Вот оно, — все правильно. Ноздри его чуть вздрогнули и округлились, как ноздри собаки, учуявшей дичь и нашедшей ее... Сотая была ошеломлена, она еще не знала, чем это кончится, а зал молчал, тоже не зная, как ему отнестись к происшедшему. На их глазах произошло невозможное, то есть вроде как могло еще произойти. И тут Таможенник взглянул на Председателя. Председатель легко и спокойно встал, подошел к первой и второй паре и разрешил им сесть в зале. Те встали и пошли. Что это была за походка. Так ходят дети после тяжелой травмы. Мало того, что они сами плохо ходят, они еще и повредили эти неумелые ноги. Зал тоже был похож на игрушечный поезд, у которого отказала заводная пружина, он стоял на месте и тихо поскрипывал вагончиками...

XXI

И Таможенник осторожно разрешил себе предположить, что дело в какой-то степени движется в нужном направлении и осторожность его была весьма уместна. Ибо встал Великий.

Махнул рукой.

И иллюстраторы послушно выполнили его приказ. Погасли цифры.

Все было так, как должно было быть: ему подчинялись. Великий вышел на помост. Великий был спокоен. И не такие сюжеты прокручивал он в своей голове.

Великий нагнул голову.

Так безоружный, окруженный врагами, нагибается, чтобы завязать шнурок, а поднимается с гранатой в руке. Беда, когда человек любит драку, все в нем, и ум и воля, переходит в силу, и простенький вопрос «зачем» уже не втиснется в желание быть и побеждать. Так даже кошка не может жить в камне, хотя она маленькая, а он со скалу, — ибо внутри не пустота, а...

Остановись, Великий.

Зачем тебе это первенство, ты же знаешь ему цену. Ну, Уход. Ну, ученик займет твое место, ведь это твой ученик, и твоя техника операций останется в Городе, тобой сотворенные имена будут так же занимать первые ряды, ведь ничего не изменится, это ты сделал этот Город, это твои люди правят им, это твой Таможенник дергает кукольные ручки, головки и судьбы, во всяком случае, так думаешь ты, и в этом есть доля истины. Уйди сам, но оставь себя — ими. Так ты достигнешь бессмертия. Посмотри в глаза твоему ученику, которые полны растерянности и стыда, ведь, чувствуя вину свою, он останется верен тебе и памяти твоей,

остановись, сядь на место, ведь ты больше чем на самого себя — на свое дело руку поднял.

Торкнулась кошка в камень головой, и не в том дело, что больно — а хода нет. Отошла, повесила голову.

Поднял голову Великий.

И каждый сидящий в зале на свой манер, в разной степени сложности, услышал мысли Великого.

Выросло ухо зала, стало, как купол, огромным и всеслышащим, всем своим честолюбием, славолюбием, завистью, неумеренностью, страхом потерь и желанием сохранить слушал зал Великого.

Ум отказывался верить слышимому — ибо оказывалось, что его пара подобна была не Образцу — Оригинулу, который скрыт от простых смертных, и никому не доступно лицо его. А Великому было явлено, когда допущен он был к Оригинулу. И шрам, что Великий сам провел Паре, от правого уха вниз — подобен шраму Оригинала. Ибо только Образец незыблем и неподвижен — а Оригинал живет, и у него, как у всего живого, может быть боль, может появиться шрам, может измениться линия лица.

Ум отказывался верить слышимому.

Куда ты, Великий, на незыблемость, на землю под ногами, на опору дома своего поднял руку. Закон Города — это и есть Образец. Разрушь его, допусти перемены, и камень обратится в песок, а песок смоем дождь — и ничего, кроме пустыни, не будет на этом месте, и вода зальет пустыню, и станет здесь море.

Хорошо бы это услышать Великому. Но обида заложила уши.

И маленький паровозик уже заводит его потная рука, и тот уже иногда пробуксовывает в руке своими крохотными колесиками.

Господи, что за мысль об Оригине? Что в ней правда и что защита?.. А ведь окажись он прав, и нету наших Гримера и Музы. И нету Сотых, и нету Председателя, и нету этих сменных иллюстраторов. И все, уже, кажется, переиграл Великий Таможенника, хотя, видит Бог, Таможенник тот в этом не принимал никакого участия. И тонкий расчет, что иллюстраторы, зная теперь свою обреченность, готовы, наверное, выслужиться перед Великим, — махнул Великий рукой, чтоб, мол, иллюстраторы показали подлинную степень подобия. Но уж слишком запуганы были бедолаги, и вреден лишний страх в таком деле. И никто им не подсказал, как было поступить в этом случае. И зажгли они прежние цифры, в таком страхе ум — глуп. И еще более почувствовали себя обреченными. И пошел маленький паровозик, пыхтя своими крошечными колесиками, словно тень того — Таможенником пущенного. Дави... у-у-у... зачестили сердечки сидящих в зале, вот они, цифры. Они-то все знают. Встал зал и заплодировал. В такие минуты только цифрам и веришь, не тому, кто мгновенье назад был Великим, а Таможеннику, Председателю, которые, лицом к залу стоя, ответили на овалцию. И ничего не было слышно в этом единодушии еще долго. Но если вы думаете, что все были так уж единодушны, то ошибаетесь — были и другие. Но дело не в том, что эти другие верили Великому больше, чем цифрам, им вообще этот Великий был до лампочки, а слишком много у них накопилось ненависти к тому, что десятилетиями они почти не меняют мест и торчат вот здесь вверху и пользуются последними девками, носят плащи худшего цвета, хотя чем черные лучше белых? Убей Бог, никто этого не знает. Наверное, только тем, что их носят имеющие имена. И вот они, у кого перекопилось ожидание, вдруг не выдержали, так бывает, когда слишком

сжимаешь воздушный шар, он деформируется молча, и вдруг — хлоп. Забуксовал поездик. — Слава Великому!.. — взорвались как будто ракеты в последних рядах, погорели, помедлили огни, и вот замелькали вспышки — все ниже и ниже — «слава!».

И поднялись кричащие... Кажется, весь зал сейчас встанет, но ракеты — они и есть ракеты! Помедлил Таможенник, пока догорели, руку поднял — и остались стоящие с разинутыми ртами, губы шевелятся, а звука нет. А сверху свет вспыхнул, и тут уж сразу видно, кто — кто, стоящие на свету, как вор, освещенный хозяином, застыли и не шевелятся. И тут совсем пропал весь энтузиазм... А уж по рядам заскользили как тени хором люди, выводя кого силой, кого уговором — из стоящих, застывших, обнаруженных светом.

Очнулся Великий, когда увидел это, прошла обида. Все, о чем ему ум кричал, услышал наконец... Обмяк...

Сам себя дал увести. Чтобы камень песком не растаял, пока не поздно...

А Таможенник спешит — место, где зараза вытекала, надо жечь каленым железом. Его ум тоже в работе, у него не обида — у него расчет. У Таможенника задача, тут не до эмоций. А уж когда Великий такой фокус выкинул, мало расчета, вдохновенье нужно, и пришло вдохновенье; не на операционном столе, не после поправок Гримеров, сейчас желающие свободные номера займут...

Хорошая плоть, и рубец на коже и радость на роже — и уже лепятся слова из его рта, становятся каждому в зале понятны и очевидны. Места свободны и их можно занимать в зависимости от силы, а лицо потом доведут. И сразу — хлоп свет. И только на сцену луч широкий, в аккурат как сцена.

А что происходит в зале?

Вроде никто не видит и никто не знает. Да и действительно, разве что и кто разберет. А там — представь себе собак с полтыщи! — голодных, лютых, сильных, которых засунули в клетку, а клетка прочная и узкая, а вместо пола — змеи. От удавов до гадюк. И что там происходит? Ясно? Только одна особенность — молча. А в первых рядах тишина. Они вроде как ничего и не слышат. Только вот неудачную горемычную пару, метившую в Главные, из первого ряда (она-то чем виновата) вывели бесшумные люди, и на их место уже кого-то другие бесшумные люди перевели. И все так тихо и культурно. Так бывает в кинотеатре, когда фильм идет и ночные совы разводят опоздавших по свободным местам. В полной темноте.

XXII

А на сцене уже наши Сотые. У него улыбка такая, что рожа возле ушей рвется, и у Сотой руки дрожат так, будто она — согрешившая весталка, стоящая на краю ямы, и вот-вот ее на дно опустят. А над головой у них цифры подобия такие, что и поверить нельзя. А в зале в это время места свободные «занимают» и забыли, что Оригинал существует. А ведь кто знает больше, чем Великий? Но, с другой стороны, может, кто и не забыл, но сейчас не до этого, не упустить шанс — номер сменить. Хороший ход придумал Таможенник, молодец, голова все-таки. Еще есть в пальцах беглость, если мозг с пальцами сравнить, а зал с инструментом, хорошо сыграл... До сих пор в тишине сопенье и стоны, как в подушку, как зарницы на краю горизонта, как всполохи поблескивают. А у Музы сердце от этой победы все внутрь самого себя вжалось,

как будто розу ей там прислонили. У Гримера тоска вместо радости. Ну да ладно, никто ведь никогда не верит первым ощущениям, завтра проснутся и все будет иначе.

И главное заключительное действие. Объявляет Таможенник. И после со сцены уходят в зал на свое место. А на сцене только помост и высвечен, похудел свет. Наша пара стоит. Начинается показательная Любовь. Главной пары этого года, получивших имена Мужа и Жены.

У Жены колени подгибаются, а у Мужа выпрямляются от такой удачи, о которой даже он, предчувствуя все, и мечтать не мог. И вот под аккомпанемент небесной музыки в сочетании с собачезмеиным противостоянием начинается *это*, и постепенно все стихает. Даже музыка и даже сопенье и стоны.

Тихо движется поездок, затормозивший о груды рук, ног, голов. И изо всех окон — рожи, глаза, груди, руки.

Да, Великая минута! Город ждет ее год. И каждый раз получает свое удовольствие. Важная деталь. Выбор закончен, а все равно — уж в этом пара должна быть не менее совершенна, чем совершенны ее лица.

XXIII

Прости, я здесь передохну. Поезд только затормозил, но не остановился. Все в порядке. За это время бесшумные люди остатки рук, ног, голов, тщательно собрав, как птицы крохи со стола, кажется, уже вынесли из зала. Имею я право отвлечься? Имею я право передохнуть, выйти из этого тайного механического погубительства на воздух? На дождь? Да, на дождь.

Какая непогода на дворе, как на душе саднит, силуэты домов отсюда, с любого места, далеки и туманны. За спиной — зал. Впереди, внизу, — его увеличенная половина. Куда идти, где передохнуть, передышать, нечем дышать, дышать нечем. Дождем, что ли? Но ты же не рыба... на дне реки, задыхайся, нет, наоборот, притворяйся... Тупо как, на душе. Какое мне дело до них. У меня ведь у самого каждый день — туда. Кошку бы сейчас погладить — мур-р-р. Слышишь, как она под рукой мохнато изгибается? Губами — в шерсть. И все? И ничего ведь и нету кроме? Ах, мокрая шерсть-то. И кошку жалко, всю жизнь жалко кошку, и за что ты ее тогда? Приказали. Да, это серьезно. Когда завишишь, не то сделаешь, так и не мучайся. А вспоминается. А если бы и не вспомнилось — убил-таки. Подумаешь, кошка. Вон и не кошек в зале навалом. Так что — не я, не ты — это утешает. В кратере действующего мрут микробы, им тоже ничем не поможешь. Но ведь живут. Иди-ка ты обратно. Они и языка твоего, микробы, не поймут, у них, микробов-то, и до слов еще дело не дошло, чего мокнешь? Без тебя ведь начнут, и удовольствия не получишь. И никому не поможешь, каждый день ведь — туда, и каждый час ведь туда же. А может, помогу? Но не этим. Эти уже едут. Все, что ты можешь (не едут, а катятся вниз, лихо полязгивая железом), — это описать их путь, чтобы другим неповадно было *так* катиться и садиться на такой поезд. И все? Мало? Вряд ли от тебя будет польза, когда в вагоне, летящем с откоса, ты будешь мудро мыслить и здраво рассуждать. Смешно. И шерсть мокрая, и губы мокрые. Больше никогда не целоваться, что ли? А зачем тогда жить? Пора? Пора.

XXIV

Цвет стал чуть лучше. Зазвучала музыка. На помосте Муж и Жена. Со всех четырех сторон опустились огромные прозрачные иссиня-белого цвета стекла. И сразу же пара выросла, вдесятеро. Увеличилась. И стала видима всем сидящим в зале, даже и из самой высшей точки последнего ряда. Отчетливо, одинаково были видимы двое стоящих на помосте.

— Приготовились...

Голос сказал это не равнодушно, что-то запершило у Таможенника в горле. Вздрогнула Муза. Положила руку на колено Гримеру. Он положил свою ей на грудь, они обнялись еще крепче и застыли.

Легкие, как птицы, порхающие в зимних садах, Муж и Жена разошлись в разные стороны. Она сделала реверанс. Он поклонился сдержанно и торжественно. И вдруг подошел к ней и одним рывком сильных тонких пальцев руки сорвал с нее рубаху. И увеличенная, ясная, белая нагота вспыхнула и ударила каждого по глазам, по сердцу, по телу, словно ток прошел сквозь сидящих в зале.

Шу-у-у-у — выдохнули в зале. И застыли. Они опять поклонились один раз, другой, четвертый и отдельно — пятый, туда, где должен был, наверное, находиться Таможенник. Таков ритуал. Жена подошла к Мужу, встала на колени и руками медленно стащила с него рубаху. Она сползла, легко шелестя и блестя. И вспыхнул красный свет. Тела стали еще более огромны. Была заметна каждая морщинка, тень, каждая складка и даже волосок, который рос у нее чуть выше правой ключицы. Не вставая с колен, Жена повалилась навзничь, неподвижная, застывшая, ждущая... Огром-

ная, как весь этот зал. Муж стоял, опустив руки. Опять голос Таможенника, уже вопросительный.

— Приготовились?

Жена кивнула головой.

— Начали. — Таможенник выдохнул это, и пальцы его ощутили кожу Жены, в них еще не прошло ощущение ее грубоватого, но напряженного и медленного звука, воспоминание выступило капельками пота на кончиках пальцев. Таможенник вытер руки о платок. Что-то происходило в нем помимо его воли и ума. Его Муж и Жена были хороши...

«Слушай, а они хороши», — сказал себе Гример.

«Надо же, — подумала Муза, — сколько раз видела их и никогда не представляла, что они красивая пара. И чего они бегают друг от друга?»

Осветители вытерли пот с лица. Все было как надо. Можно, по крайней мере, перевести дыхание.

«Я никогда не видел ее такой, ее подменили», — удивился Сто шестой. За десять лет он наизусть выучил это тело. Оно же на самом деле было старше. Но Сто шестой промолчал. Только напрягся весь, вспомнив ощущения свои от этой кожи.

«Боже мой! — что-то, казалось, вот-вот лопнет в Сто четырнадцатой. Она больше десяти лет каждый вечер гладила лицо Сотого, эти волосы, эти плечи, даже любила их, но она никогда не видела его таким. — О-о-о», — застонала и тут же закрыла рот руками.

А в это время, в это время все уже начиналось. Началось. Распаренная красная огромная туша приблизилась к себе подобной. Наверное, весь зал вместился бы в эти тела. Зубы впились в кожу плеча так, что брызнула кровь. У-у-ф... — выдохнул зал.

А они, уже не отрываясь, перевернулись, покатились, руки судорожно стали рвать кожу и волосы, они

рычали, хрипели, перекатывались, огромные, словно саранчой кишашее, переливающееся поле. Зеленый цвет сменил розовый, потом вспыхнул фиолетовый — цвет гармонии. С горы в гору помост начал раскачиваться, как лодка во время шторма, и они держались друг за друга. И еще крепче были объятия и боль их. Этот комок мяса швыряло о борт, они бились головой, откатывались, переворачивались, но никакая сила не могла разъединить их сейчас, даже смерть, они достигли вершины своей жизни — Главная пара Города, Муж и Жена, все в крови, с вырванными кусками мяса, рыча, плача, ненавидя друг друга, проклиная друг друга, были счастливы, и каждый еще ухитрялся думать в этом месиве, движениях, крови и боли о тех, с кем они были вчера, о тех, кого они видели и кого бы хотели за свои долгие годы на работе, в коридорах, в зале...

— Не могу... не могу, сейчас! — сильнее их рычания и крика повисло в воздухе. Сто шестой не выдержал, и тут же Сто четырнадцатая вскочила, взвизгнула и вцепилась в волосы впереди сидящих и еще несколько человек присоединилось к ним.

Они были возбуждены, достаточно было одного толчка, крика, чтобы поднять зал.

Так маленький огонек бикфордов взрывает тол.

Но Таможенник хорошо знал свое дело.

— Свет.

Зажегся свет.

— Стоп.

Пара остановилась.

И застыла неподвижно в крови и поту, он только чуть приподнял голову — бедный гладиатор.

Второй раз за вечер — это уже слишком. И первый раз — такого за всю помнимую историю Города не было, а тут...

И пришлось снова швырнуть под колеса крикунов. Правда, меньше, чем прежде, но что-то все же разладилось в управлении вагонами. Неужто весь зал надо переехать колесом? Нет, на этот раз отрезвление пришло мгновенно. Опять все скрылись в себя, и только бедные жертвы собственной несдержанности, оглядываясь на остающихся в зале и лежащих на сцене, были уводимы из зала. А в это время уже стекла уходили вверх, и на сцене вместо огромных лежащих красных, распаренных груд осталась лежать пара полузадушенных червячков, которых и рассмотреть-то было трудно. И из-за них?.. Оглядываясь, уходили уводимые, жалея о столь ничтожном поводе взрыва. А этих уменьшенных людишек бесшумные люди вытаскивали со сцены.

Бал окончен.

Пора за плащи — и по домам, но у некоторых нет уже плащей и домов тоже.

Такими же монотонными рядами, на этот раз уже без факелов, в темноте и дожде, дерево стало вытаскивать из зала корни и, пятясь корнями вниз, поползло из Дома. Но нету той стройности. Нету. И не так уж счастливы и те, кто в темноте таки захватил попривличнее номер. И хоть ждет их другой дом, а у кого рука замотана красной набухшей тряпицей, у кого вместо глаз кровавая каша... до радости ли уж тут. Хромает дерево вниз за струями дождя. Лишь первые ряды получили удовольствие, если не считать беспокойства во время перерыва, да и до конца все же не досидели, но было неплохо. Профессионалы в этих делах. Было-таки действительно неплохо.

Интервалы между идущими по улице нарушены, на ком-то не накинуты капюшоны, кто-то падает, и его поднимают. Свет на улицах померк, фонари белы, стены исходят теплом. Дождь парит. А по каналу течет

вода, и зеленоватые струи окрашивают ее в свой неповторимый, мутно-тяжелый цвет.

Но скоро это пройдет.

И это проходит. На то и дождь, чтобы смыть все, что попадает в водостоки. И кровь, которая иногда падает на камень из поврежденных рук, разодранных щек, а то и просто слезы, конечно женские, ведь женщины более чувствительны к происходящему с людьми. Они в чем-то даже люди будущего перед мужской половиной, поэтому-то нет совпадений или почти нет. Но дождь идет, идут люди монотонно, размеренно, тихо. Исчезают в проемах светлых, открывающихся почти настежь дверей. И постепенно все успокаивается. Наверное, это тоже справедливо. Приближается ночь. А ночью на короткое время к нам приходит покой и в самые беспокойные времена, более беспокойные, чем эти, хотя кому дано право судить, какие более беспокойны. Бывает еще бессонница? Но ею болеют и самые счастливые, и самые несчастливые, случается, спокойно спят — вот это и есть справедливость, что мир в конечном счете необъясним и неожидан. Ведь какие, казалось, неожиданности возможны в этом Городе — и на тебе!..

XXV

Наш Гример теперь — Великий Гример, в новом доме. Муза в новом халате. Они уже обошли все комнаты, посидели в саду, он подержал ее руку, как желтую птицу, в своей руке, тихо и бережно, а она ласково посмотрела в его, еще как вода после камня, неупокоенные глаза. Какое счастье не ломать себе голову в стремлении занять очередной номер. Выше Великого места в этом городе нет.

А Таможенник? Таможенник — другая профессия. Другая, Муза понимает это. Она пододвигается к Гримеру. И тут ее начинает тошнить. Она корчится, держась за живот, и едва успевает добежать до раковины... Гример понимает ее состояние — вспомнила Сотых. Муза плачет, текут слезы, ее тошнит, желтый поток хлещет на белую поверхность раковины. С радости оба выпили по стакану вина. Но дело не в выпитом. Дело в том, что в зале был перерыв и яркий свет — в мозгу осталась вспышка, в мозгу осталось отвращение, и для того, чтобы это исчезло, Муза вывернута мозгом наружу.

Гример проще, после всех содранных кож, скальпелей, крови, страха, пациентов за долгие годы вряд ли его чем можно тронуть, но понимать он понимает. Гладит Музу по волосам, и утешает ее, и объясняет ей, что это случайность и что, если бы не оборвали показательную любовь, она бы пришла счастливая. И даже у них сегодня было бы все лучше и приятнее, чем обычно.

И Муза успокоилась. Постепенно. Гример ведет ее к постели, раздевает, Муза дышит еще тяжело, но уже спокойнее, потому что в мозгу чище, и она уже думает о Главной паре, жалеет их и жалеет Сто шестого, который вел себя так отважно. А мог ли Гример вести себя так отважно? А можно ли вообще вести себя отважно в Городе, где отвага равносильна Уходу... А отважно — это, наверное, когда дождь собирается внизу. А потом поднимается настолько высоко, что может и Дом, стоящий на лобном месте, оказаться под водой, и тогда Гример плыви внутрь воды, чтобы найти вход в свой дом, проплыви коридором... — глаза Музы слипаются, мысли Музы скользят по этому коридору, пытаются отыскать вход, но входа нет, и душа Музы колотится, задыхаясь, о закрытую дверь, через которую она толь-

ко что всплыла в коридор, а над дверью горит красное: «Выхода нет». И не надо, поворачивается Муза и притворяться рыбой...

А Гример слишком сегодня возбужден, чтобы спать, ибо в нем еще крутятся, как карусель, цифры, удивленное лицо Великого, туша Сотой, развороченная во весь зал — потным, белым, желтым наружу.

Свой страх.

Спокойные рыжие глаза Таможенника и дождь, такой же рыжий сегодня в каналах, как эти глаза.

И пока все это не потеряет контуры и свой первый смысл, Гримеру бесполезно ложиться, нужно, чтобы это все расплылось, улеглось и забылось в памяти, нужно, чтобы это перестало существовать сегодня и перешло в было (а может, и вовсе не было), чтобы случившееся и сон переплелись, поменялись местами, и тогда возникнет смута, с которой нужно будет договориться, чтобы она оставила его до завтра или до еще не прожитых дней — и пусть однажды всплывет она, как рыба среди омута, ударит хвостом, и скажет свое «пора», и обернется рыба Мальстремом, в котором столько-то метров и столько-то сантиметров до черной всасывающей дыры, и закрутит его Мальстрем и провертит по кругу положенное число раз... Сосет дыра... Стоп, стоп, это ведь не та смута, это ведь удача, победа. Только начало? Но все равно победа, а победа требует защиты, так что придется еще поработать, пока спит Муза, — не на коже и мускулах продолжит свои линии скальпель, на толстом, тяжелом, как дерево, картоне, перед тем как лечь красками, проведет он свои дороги, троянский конь ухмыльнется своим деревянным оком, и море отступит, чтобы выпустить гадов, без которых и удаче и победе не

бывать вовеки, и нету другой правды. Столько этих картонов набралось за жизнь, но не будь их, сколько мышц лопнуло, страхов и болей без нужды случилось, может, оттого и провел операцию Гример так быстро, что ни дня отдыха не знали пальцы его и все спешили, вырисовывая гадов, извивая их тела перед деревянным копытом, а то и без коня, сами по себе... И успокаивается смута, шипит и уползает во вчера, в сон. И уже туда же можно и самому, но не скоро, а к утру, когда дождь лупит по каменной крыше сильнее и чаще... Но это потом, часа через три, а пока...

XXVI

Сколько новоселий в Городе, сколько счастливых калек после сегодняшнего бала. А главные счастливицы, бывшие Сотые, уже пришли в себя. Сколько кошку ни бей, а она все как новая. Муж и Жена сидят уже в своем новом саду — распаренные, розовые, нежные, счастливые. Он торопливо тянет вино, красное как кровь, и оно, не успевая попасть в рот, течет по подбородку, капает на грудь (ибо Муж сидит откинувшись) и ниже по бедру, а потом в песок сада. Завидуют небось их тишине и счастью. А Жена? Еще розовой, еще нежней — женщины чувствуют все сильнее — потягивает свой напиток. Красное, густое, теплое, солоноватое вино, тоже огибая ее губы, тонкими струйками стекает на грудь, потом капает, как сосульки по весне, и, заполнив пупок, переливается вниз. И так проходит полчаса. И еще полчаса. Хорошо. И хорошо, а чего-то вроде и нет. Отдохнула. И время привычное — ее время. Да теперь и вообще все время ее. Муж и Жена — это и есть профессия. Никуда не торопиться, завтра рано не вставать. И тянет поэтому ее куда-то. Но вроде как по привычке. Мужу надо первому.

Она смотрит на дверь. Он перехватывает взгляд и закрывает глаза — не формалист Муж. Чего уж, пусть, мол, сходит, если хочет. И он отдохнет тоже. Теперь они сами себе закон, как они будут жить, так и нравственно.

Жена подымается, открывает дверь, накидывает халат, теперь все в одном доме. Кнопки нажала на шести дверях сразу, одна открылась. Высокий, ладный, что надо.

— Жена?

— Жена, — протягивает руку и улыбается. Конечно, каждый теперь знает ее, от родинки на плече до ямочки возле ключицы.

— Председатель.

— Очень приятно.

— Конечно, я вас знаю. — Глаза у Председателя шаловливые, профессиональные, еще от действия не остыл. Есть что-то все же в именах. Это тебе не номера... Здесь все приятно, уважительно, высокопородно. Люди другие небось... Так и есть, пусть, оказывается, удовольствия меньше, но зато с лихвой — тонкости этакой именной. А?

Через час Мужу тоже повезло, но не сразу. В одной двери открыл глаза пары. Пришлось извиниться. Во второй, что надо, — Сопредседатель комиссии. Опупеть можно. Есть в этих дамочках на мужских должностях такая прыть. Да железо. Да черт знает что есть, и не расскажешь всего. А главное, все происходит серьезно, вдумчиво, свирепо, уж чего только Муж не видел. А тут первый раз — Имя. Ничего не попишешь — уж действительно, одно слово — имя! Так и такого ему, в его великой фантазии, и не снилось, и не выдумалось, и не предположилось. Шатаясь, Муж встал. А что, после показательного выступления, да сейчас... Ну зараза, покачал головой Муж, отдавая должное ее мастерству, не слишком ли много для одного человека, даже если он

Муж. Трудно поверить, что в это время за стеной все так же идет дождь и ночью сейчас еще кто-то занят другими делами. Мужу кажется, что весь Город в эту ночь не спит, как и он, радуясь жизни.

XXVII

Вы. Второй час продолжала дежурная Комиссия работу с бабой прежнего Великого, когда в кабинете появился Таможенник, который, по утверждению бабы, послал ее к Великому с вполне определенной целью — извлечения информации. Чем она успешно и занималась и передавала ее Таможеннику. Таможенник посмотрел на вспухшее отбитое лицо бабы, поморщился: он не любил, когда лицо, которое носил и он, становилось таким безобразным. Уже одного этого хватило бы для назначения Ухода, но Таможенник был, конечно, насколько можно, гуманен и справедлив. И только после того, как баба, не выдержав его странных вопросов, спала ли она с Великим, ответила полубранью и просьбой поделиться с ней другими способами извлечения информации из Великих, — лишь в этом состоянии каждый человек пробалтывает все, как бы он ни был умен и изощрен, ибо мозг его бесконтролен. И что спят все, даже если это и не работа и не по заданию, и она не видит причин, по которым ей было бы запрещено делать это. Таможенник еще раз убедился в женском коварстве и ненадежности и тут же сорвался и сказал длинную речь, какую не говорил, наверное, ни разу в жизни. Из нее можно было понять каждому члену дежурной Комиссии, что, во-первых, его не интересует, что делают все, есть закон, запрещающий временное спаривание, возможно только постоянное. Спаривайся с кем-нибудь постоянно, а потом будь свободна, как

тебе заблагорассудится, только, конечно, не попадайся, и во-вторых, он давал ей задание узнать, а не задание спать. И в-третьих, и, пожалуй, самое главное, что можно было понять из его речи, что он поражен тоном, которым она говорит с ним. Еще, может, первое Комиссия и поняла бы в какой-то степени, ибо польза от ее поступка несомненна, но тон, которым она сейчас разговаривала с ним, — в этом месте Таможенник развел руками, и в этом жесте были и удивление, и огорчение, и растерянность, и даже своего рода печаль; как он не выносит в людях грубость, и особенно искреннюю, и уж конечно (Таможенник поник головой) вспоминает причины, по которым баба бывшего Великого так говорила с ним. И что он-де, конечно, после такого тона ничего не может сделать для нее. А шел именно с этой целью и уходит, чтобы осмыслить все это. Сделать для себя кое-какие выводы относительно всех людей, с которым он вступает в контакт, пусть даже и по работе. И он вышел. Баба Великого упала на пол, сжав тело и скорчившись, и, извиваясь, устроила такой ор, что разбирательство прекратили и тут же назначили единодушно и коллективно — о, они понимали благородную печаль Таможенника — Уход. И два члена Комиссии вынесли под руки ее из кабинета.

XXVIII

Л Великим оказалось и того проще — Великий лучше Таможенника понял, куда его занесло в петушином раже. Вряд ли Таможенник со всем своим проворным умом ожидал такой развязки Выбора, а что дальше будет, за своими рабочими заботами и не угадает, да и времени мало. Ум Таможенника в лучшем случае свою судьбу успеет прикинуть, да и то скорее всего не в угад.

Во время землетрясения некогда думать о порядке в доме, искать свежую рубашку, а хватай себя в чем мать родила и через окно — вниз, и хорошо еще на вскопанный газон грохнешься.

А Великий не только о себе думал, шире себя жил, после того как до себя дорос, и жить дальше выше некуда стало.

Единство важнее собственной головы.

Твое дело главнее тебя самого.

Жизнь всех — это та величина, при вычитании из которой твоей мясомолочной массы она остается постоянной, если, разумеется, ты не страдал чумой.

Понимал ли это Великий всегда? Не всегда, но с той поры, как стал жить шире себя.

— Ну?

— Занесло!..

С кем не бывает — боевой дух, все равно что родильная горячка, посильней твоего благоразумия.

А что потом?

А потом человек приходит в себя и отрекается от своих слов, просит зафиксировать отречение в протоколе, требует сам Ухода. Если это, разумеется, умный человек, дело свое выше себя несущий, если это Великий, например. Понимает ли Таможенник такие возвышенные штучки? Конечно, нет. Но раз Таможеннику этот Уход вполне подходит в качестве выхода, то, и не понимая, Таможенник соглашается: меньше мороки.

Таможенник не Великий, ему никогда не понять, что сейчас чувствует бывший Великий Гример. А тот похож в эту минуту на человека, случайно попавшего в высокий по чину дом, где поначалу, неловко сковырнув древнюю вазу и пытаясь на лету поймать ее, опрокидывает поставец с хрусталем, и вот, стоя среди всего этого рассыпанного по полу фарфорово-хрустального

безмолвия, не умирает только потому, что не хочет заставлять хозяев возиться еще и с его телом, — так отец, недооценив своей силы, толкает легко ребенка, и тот падает в пролет лестницы на его глазах. Так подозреваемый тобой, не выдержав подозрения, устраивает себя в ременной петле, а ты, снимая его, уже знаешь, что он не был виноват.

Великий не вазу разбил — единство и веру Города. И что его отречение, когда слова уже не зависят от сказавшего их. И что смешные усилия сбивающего пламя с кресел и стульев, стола и дивана, когда снаружи огонь, как наводнение, закрыл с головой весь дом и вот-вот рухнет крыша.

Совесть Великого корчится, как червяк на крючке, да и сам он повторяет ее движения. Но не из-за получивших Уход, поддержавших его, страдает Великий, не о тех, кто был разодран в захвате нового места, — вера разбита на тысячу кусков, и каждый кусок отличен друг от друга, как смерть отлична от жизни... Мало того, что Великий готов к отречению, к Уходу, — ему мешает жизнь, его крутит по ее жернову, и одно желание живет в нем: выбраться из жизни — так зверь мчится из горящего леса, — лучше навстречу охотнику.

Так рыба выскакивает из отравленной воды, пусть в воздухе смерть.

Таможенник утешает его, Таможенник любит его, Таможенник понимает его. Таможенник плачет над ним и гладит его по голове, как мать гладит сына, зашедшегося неутешно по поводу потери любимой игрушки. Вот здесь и неважно, как все это выглядит друг для друга и что они скажут друг другу, — не склеить, вот она суть, а склеить надо.

Великий предлагает публичную комиссию в том же зале, с его раскаяньем.

Таможенник уверен, что любое напоминание о происшедшем для Города — пагуба. Великий кивает — справедливо.

Бежит зверь из горящего леса.

Летит птица из горящего леса.

Охотник — вон он, ружье на руку, и в освобожденную шерсть, и паленые перья — хрясь из двух стволов...

А Таможенник добр, до двери Ухода проводил. Сам. Великий обнял его. Сочувствуя Таможеннику, как никто понимая, что тому расхлебывать придется. Ах, если бы полегче толкнуть, а лучше бы и совсем не толкать — и лес бы не горел, и Уход бы по-другому принял.

Великий бы принял Уход так, как принимает сон осенний лес, медленно, лениво и безразлично роняя свои листья, как умирает птица на лету, не сложив крыльев, как умирает вода, покрываясь чинно льдом, спрятав жизнь внутрь, как умирает зерно, становясь хлебом... как умирает глаза рода человеческого, дождавшись своего часа, оставляя после себя веками, монотонно, со скрипом, размеренно крутящееся колесо жизни, в котором не все совершенно, как не бывает совершенно не воображаемое, а рукотворное колесо, но которое надежно везет человека по накатанной дороге.

Он умирал бы, как умирает лед по весне, он умирал бы в мудрости и покое Великого Гримера, дождавшись в Городе почти единственным естественного Ухода.

Таможенник смотрел на Великого, который уже встал на ступень лестницы. Лестница вздрогнула, поплыла вниз, разошлись двери, мелькнул голубой купол, и опять сошлись двери, и только ступени лестницы спешили, проникая сквозь камень, и текли вниз.

Еще одна забота с плеч долой, можно и самим собой побыть. Уже позади то, из-за чего Таможенник сыр-бор зажигал, нету Великого. Кажись, и делу конец, порадоваться бы!

Порадуйся, найдя пропавший ботинок, когда ногу уже отпилили. Счастлив, Таможенник?

Счастлив, как стрелявший в зайца, зайца-то, правда, нет, да ружье в руках вдрызг разнесло. Только и результатов для себя что глаз вон да рука в кусты. Тут уж не о зайце, не о победе думать, самому бы выжить.

XXIX

Таможенник пришел, бедняга, домой, сел за стол, утопил в свои белые теплые тонкие ладони лицо, просидел так неподвижно час, а может, и более, и за это время немало мыслей, словно кони по лугу, пролетело в его голове. И решений, сколько всадников на этих конях, сгнуло и пропало в памяти. Пожалуй, в таком количестве единственный раз за долгие годы своей тяжелой и кажущейся лишней для некоторых людей службы, а на самом деле не только нужной (Таможенник усмехнулся, вспомнил наивные глаза Великого), а и спасительной и сохраненной для всех, и он один знал почему — ибо границы человеческого духа и плоти, коим не поставить предела, не только вызовут спор внутри человека, не только разрушат его, что еще можно пережить и, по крайней мере, принять, но и разрушат Город. Таможенник всегда спокойно принимал попытку человека вырваться из-под его влияния, сделать то, что было запрещено человеку законом и справедливостью, и даже, случалось, не сразу отправлял его на Комиссию, случалось, не всегда соглашался с приговором Комиссии — пример тому наш

Пример. Но если речь шла о Городе! Таможенник напрочь забывал и что такое великодушие, и что такое гуманность. Великодушие для него не имело множественного числа, оно могло быть применимо только к одному человеку. В этом смысле (черт бы побрал этого взбрыкнувшего бывшего Великого) все было благополучно: активно в бунте было замешано всего несколько сотен номеров. В какой-то степени они могли быть приняты за одного человека, и тут дело было сделано — этому множественному одному человеку уже был исполнен Уход. Пока Город сопел, и потел, и видел вещие сны, бедные души грешников, обгоняя друг друга, как воздушные шары, полные высоты, торопились сквозь дождь туда — отсюда. А тела? В городе, в котором постоянно идет дождь, это ли проблема? Все растворимо — и тело тоже.

Итак, с одной стороны — этот множественный человек исчез, а с другой — и это было очевидно — слова и действия этого человека лежали за пределами Ухода: они не растворились, не исчезли в каналах, торопясь вниз с холма, за город, и для того, чтобы действие этих слов было прекращено, и надежно нужно было назначить Уход всем, кто слышал крамольные слова. Заразу выжигают каленым железом, чтобы оставить здоровым тело, но вот беда, слышали те, кто сидел в зале, то есть почти весь Город. Следовательно, можно было вполне бесспорно и уничтожить причину, которая вела к уничтожению Города, но нельзя было уничтожить весь Город, потому что во имя его сохранения существовал Таможенник и закон, получалось, что во имя сохранения Города нужно было бы уничтожить Город. Правда, в зале не было никого из не имеющих номера, но они ничего и не смыслили в ремеслах Города и главных обязанностях горожан.

Итак, или остается то, что было, — следовательно, и он, Таможенник, минус множественный человек, но тогда нарушается закон и одновременно исполняется закон, — или уничтожается весь Город, то есть исполняется закон и одновременно нарушается закон.

XXX

Ла, это был замкнутый круг.

Таможенник стоял на границе власти, власти над людьми. Но сам был подчинен силе, стоящей над ним, высшей, чем его знания, умение владеть собой.

Силе, легко осиливающей его изощренный ум, — так пальцы сжимают бумагу, так нога слона давит попавшего под нее спящего питона, так дробь разносит в клочья тельце воробья...

Но в отличие от многих стоящих на этой границе он знал о существовании этой силы и вел себя крайне осторожно с нею и, когда случались на этой границе события, не торопился поступить и не поступал осознанно, а доверяясь чувству этой существующей силы. И в общем, за долгие годы ни разу не ошибся. Но сегодняшнее событие требовало не только догадки — оно требовало помощи. Так автомобилист может ехать, несмотря на то что кузов машины помят и пробит, а вся машина бренчит, как телега; он будет ехать, когда с шипением выпустят из себя камеры колес воздух, медленно, но можно ехать. Но когда одно из колес откатится в сторону и, покружившись на месте, ляжет на асфальте, хотя еще работает мотор, делать нечего — приходится остановиться.

Вот и Таможенник застыл над оторванным колесом — кругом.

Таможенник нуждается в помощи.

А помощь дорого стоит, она знак твоего бессилия.

Стоящие над нами не любят выполнять за нас нашу работу.

Лучше найти другого, кто в состоянии выполнять ее сам.

За помощь приходится платить.

Чем?

Именем.

Это еще переносимо.

Уходом.

К этому Таможенник не готов.

Он, ведавший жизнью каждого живущего в Городе, сам без ужаса не мог думать об Уходе. Таможенник готов был согласиться, что это ужасный недостаток для носящего Имя Таможенника, даже не недостаток, а слабость, даже не слабость, а жалость. Но кто из живущих, даже самых именитых, в чем-то или, по крайней мере, когда-то не был жалок?.. И в то же время это был единственный выход. Только одному Богу известно, что следовало делать на самом деле, но Таможенник был только Таможенником. И все же эти путаные и сумбурные мысли в голове Таможенника неожиданно, как запутанный ком бечевки (потянул за один конец, и вот она вся свободна — мотай в клубок), распутались и сложились в ясное и простое решение. В конце концов, он, столько лет служивший верховной силе, стоящей на границе между нею и Городом...

Между законом и человеком...

Свободой или, вернее, разнузданностью, в понимании Таможенника, и законом...

Имел право решиться на этот, не известный ни ему, ни предшественникам шаг.

Да-да, заторопились мысли, только Стоящий-над-всеми знает истину, в конце концов даже в самом страшном исходе для Таможенника возможен будет вариант: он и не имеющие номеров, а остальным Уход. Хотя это и будет нарушением закона, но не разрушением его, потому что он, Таможенник, и Закон в этом Городе одно и то же. И уже просто и легко стало жить ему, и уже мысли, похожие на ряды неуклюжих цифр, обозначились в голове его. Это были птицы, которые, словно осенью на юг, неслись и звали его за собой. И опять испугался Таможенник: ведь это сомнение в его вере, зачем слышать, если достаточно знать, что он существует. И опять передумал он, и опять стал проигрывать способ уничтожения Города... И все в нем убедительно подчинялось идее: сохранить себя, пожертвовать Городом, не нарушив Закона. И что-то случилось с ним, может, интуиция, может, озарение, но мысли были сами по себе, а он сбил меткими выстрелами каждую птицу, и добил прикладом каждую, и даже постоял и посмотрел: не шевелятся ли они, и они не шевелились. А тело совершало то, от чего только что так жестоко отказался разум...

XXXI

... **Л**ейчас это должно произойти. Сколько страха, сколько сомнений испытал Таможенник. Вряд ли обычный житель Города вынес бы все это, но ведь Таможенник — так он, по крайней мере, сформулировал окончательно для себя, и уверился в этом, и был искренним в этом — думал о горожанах, и это уберегло его разум от взрыва в пространство, как взрывается и падает комета.

Да и что нам до того, как человек обманывает сам себя, чтобы исполнить с легкостью то, что мерзко или лживо, но спасает в данную минуту, — нам ли не знать этой техники. Разгадка проста, мы это должны исполнить, и нам надо ощущать, что, во-первых, это добровольно, или это прекрасно, или это не для нас, или нас заставили сделать и мы не виноваты, а во-вторых, нет выхода, и в-третьих, мы все это делаем во имя какого-либо более великого блага, чем наше, принимаемое и используемое нами зло.

Таможенник лучше других мог делать это, да и выхода действительно у него не было.

XXXII

Кощунство — было имя намерению Таможенника. Слышать Стоящего-над-всеми, получить из первых рук истину?! Конечно, Таможенник был ближе всего к границе Стоящего-над-всеми, даже стоял на ней, но услышать — значило перейти ее, стать на мгновение ногой на чужую территорию, где другой закон, неведомый никому, где неизвестен каждый шаг и каждый вздох, где, может быть, мгновенно, как лоскут бумаги, сгорает, обращаясь в пепел, тело, где нечем дышать, откуда, может быть, нет возвращения, а если и есть, то прежним ли и в какой форме?

Чужая загадочная жизнь — имя твое смерть?

Имя твое — страх?

Имя твое — пустота?

Есть ли ты?

Таможенника охватил озноб, как будто тело стало тенью на волне, из воды налетел ветер и тень искорежила рябь, оно расплылось, перестало быть видимым прежнее отражение, и только некие линии, даже не

напоминающие человека, стлались по воде, гонимые ветром.

Да, тело стало рябью; так можно высыпать песок из стакана — только что была точная форма, внутри стакана спрессованная в жесткий совершенный цилиндр, — и вот только несколько желтых холмиков вперемежку с травой, которая согнулась под тяжестью попавших на нее песчинок, но выпрямляется, ибо ветер сдувает их с каждого листа...

Граница между телом и мыслью позади.

Страх гонит человека туда?

Любопытство?

Выгода?

Таможенник перешел границу, чтобы уцелеть.

Кость и мясо больше не мешали мысли.

Мысль была размыта, как огни сквозь дождь. Здесь, за линией своей власти, она не могла говорить и спрашивать, но она могла слышать то, что было слышимо ею, или, вернее, — воспринимать — ибо не слова это были. Кусты в темноте. Которые можно принять и за человека и за медведя. И за страх. И за спасение, и за то, что не мело имени, ибо не существовало в знании и опыте, но ветви можно было потрогать, и ощутить их шершавую кору, омытую дождем, и понять, что живое застыло под руками, что если оно и не поможет, то и не таит угрозы.

Но вот мысль стала еще легче. Таможенник попытался удержаться за этот куст, но было нечем, и появилось ощущение высоты, холода, одиночества, которое жило в нем всегда, что только сейчас узналось как одиночество.

Высота тоже разделена на территории, за границей одиночества было тепло, пар плыл, бел и желт: он пахнул.

В запахе границы не было, но там было таможня — без границы. Ощущение надежды на спасение осталось лежать на полках таможни, как отобранная валюта и оружие... И все-таки далее было тоже движение.

Сознание, как копоть, медленно встало на крыло и скользнуло за спину.

Казалось, что могло происходить, если нечем было воспринимать окружающее? Тело — размыто, ощущение — на таможне, сознание — только запах гари, а через шаг и это как след от ракеты на черном небе — нету!

Ни-че-го!

Ничего?

Да из того, что только мешает слышать, мешает понимать, мешает видеть.

Ясность была независимой — не стало ничего. И Таможенник существовал вообще, и он перестал быть Таможенником бы, если это было просто так! Просто потому, что нет предела возможности человека, просто чтобы голову сломить или испытать себя: на какой высоте (или в какой глубине) перестает быть человек человеком и кем он становится в этом пределе, а потом и за этим пределом. Но Таможенник был *зачем*, это было не испытание, и не забава, и не от жира, и не от силы, и не от гордости: нужда и страх могут то, что недоступно правде и силе.

Выстрели в небо стрелой или пальни прямо над собой тяжелой пулей, и где-то вверху кончится высота, мгновенье повисят стрела и пуля, как перезревший виноград, как убитая птица, упадут на землю, возле тебя.

Мгновенье — и Таможенник завис в высоте, за границей себя и перед границей Стоящего-над-всеми.

Вот оно. Помощь? Совет? Приказ?

Ради него каша варилась.

Ради него жизнь на кон поставил.

Ради него ум за разум завел.

Так сегодня шифровка за минуту передачи содержит сто двадцать страниц печатного текста.

Но нечем слышать, воспринимать, а тем более сознать.

Схватил будущей памятью, как яблоко с ветки во время прыжка. И вот уже пустота, схваченное, данное, а потом и мысль, как снежный ком липким снегом, обрастая ощущениями и памятью, покатила обратно.

Да не как стрела или пуля по воздуху камнем — вниз, а по наклонной лестнице, узкой и черной.

Ступени были выщерблены, усеяны битыми бутылками из-под виноградных вин и кислот, что поблескивали и испарялись со дна черепков темно-зелено-плесневелого цвета, и там, где быть должно плечу, возник удар, покатила кровь, боль ударила в мысль, и распоротое плечо перекатилось через ступень и своим краем напоролось на острие торчащей из стены косы — и вот уже боль возвращенного тела так же остро полоснула мозг; заржавленный нож вонзился в пустоту, где должно было быть око, нож повернулся, ибо высока была скорость паденья, да и не имел еще Таможенник Глаза, и ощутил он его на своей ладони, которая сжала око вместе с обломком стекла, и кислота, плеснув, обожгла глаз и рану; тяжелело тело, болело все сразу, набирало инерцию и пропарывало собой не останавливаясь ножи и косы, стекло и железные рваные клочья, било каменные выступы и, скатываясь, приобретало форму, и глаз перемещался на свое распоротое место, и спина начинала быть там, где бывает она у живых людей, и

даже начал привыкать Таможенник к этому падению; но вот кончилась лестница, и тело, перевернувшись, звякнуло, как мешок с деньгами, и легло на пол, и поднял большую голову Таможенник, и увидел своим оком Таможенник, что сидит он за столом, и тело прежней формы, и ничего не изменилось в нем, а то, что жизнь ушла из него, он не поймет никогда и даже будет бороться, и не раз, чтобы уцелеть, но это уже не имело никакого значения.

Таможенник стал только исполнителем такого качества, которого ранее не было в нем, и своей теперь не будущей, а прошлой памятью он вспомнил о том, что там, перед тем как начать падать, он принял, не расшифровывая. А настоящей памяти не было, да и нет ее ни у кого, настоящая память — это вниз, сквозь крючья, стекла и ножи, неуправляемо, беззащитно вниз.

XXXIII

Ла, Таможенник стал исполнителем.

Почему вдруг?

А не вдруг — изменивший себе, вышедший за пределы себя, даже из самых важных побуждений, не вернется в прежнее состояние.

Измена — это уже необратимо. Измена — это движение только в одну сторону, и даже когда назад, это все равно вперед, только с заблуждением, что назад. Ибо человек движется не только относительно земли, где он может идти в любом направлении с точностью до одного градуса и даже минуты, думая, что эта дорога единственна. Счастливцев, идущий в неведении, на самом деле главная дорога — во всем пространстве относительно вечности. Земля обманщица — она за-

кружила нам голову, мы идем, как нам кажется, вперед, а на самом деле никуда; сколько обмана и силы иллюзии в этом крошечном крутящемся шарике под ногой. Дорога вперед, вверх и вниз, а кровь внутри независимо от нашей дороги, а наша дорога независимо от стран света по кругу к смерти.

Растопи оловянного солдатика и попробуй отлить прежнего в старой, его же, солдатика, форме. Та же форма, то же слово. А перегрел — и цвет другой, и упругость, а уж весь... Если быть точным, даже воздух внутри в пузырях. А что человек, если даже оловянная мертвая кукла...

Таможенник, обретший себя в боли, стал исполнителем, — это, можно сказать, другая биография. И другая участь. Но исполнитель, по мне, все же больше участник того, что происходит со всеми людьми, чем правящий, повелевающий или бунтующий, что несут разрушение, в силу противоположных причин, всего, что вокруг них, но они все же тоже участники жизни всех, трагические участники, но даже самые лучшие из неудачников не есть предмет жизни, а следовательно, и внимания, они навоз, или плесень, или черви, видящие себя в зеркале своего воображения темноглазыми рыцарями.

И что был должен делать, исполнять Таможенник в своем новом качестве и прежней должности? Если припомнить, осознать воспринятое там, вверху, перед падением?

Провести испытание нашего Гримера на готовность к работе, о которой Таможенник ничего не знал, но что обязан был сделать.

А где же сто двадцать страниц шифровки, если всего-то «провести испытание»?

А инструкция! Для исполнителя инструкция — это более серьезная штука, чем приказ, идея.

Ибо идея без приказа — фантазия. Приказ без инструкции — безграничная самодеятельность, глупость, бессмысленная свобода, возможность поступать, как заблагорассудится, согласно своему разумению, но всегда законно. А когда по инструкции. И Таможенник своей прошлой памятью стал расшифровывать, запоминать и усваивать каждую строку этой инструкции, которую наш Гример, спасая Таможенника, испытает на своей шкуре.

XXXVI

Таким образом, Город, что мог уже перестать существовать, проснулся рано утром: новые постели были обжиты, облиты, разбросаны, смяты, и жизнь пошла своей обычной колеей, — так машина, выскочив на повороте на обочину газонов, опять вползает в две колеи, так пассажирский поезд, что должен был врезаться в цистерны с нефтью после щелкнувшей в последнюю минуту стрелки, устремляется по соседнему пути в ту сторону, а спокойно спящие пассажиры никогда и не узнают, как близки были они к гибели, и только машинист поседает в эту ночь.

И это еще не последняя станция.

И Муза, наутро спокойно встав, стала расталкивать Гримера, которому было уже пора на работу, но тот, заснув под утро, не хотел возвращаться в эти здешние заботы. Ему еще там хотелось договорить. Он стоял в зале перед жителями Города и говорил и не мог наговориться о том, с детства ощущаемом им чувстве верности избранному пути, которое-де жило в нем всегда, и что каждый так же в Городе может осознать счастье любого места, которое этот любой занимает. Ибо счастье внутри нас, и пусть сидящие

перед ним не думают, что он говорит то же, что и вечерние передачи, — похоже все на свете, снаружи: ум и хитрость, благородство и расчет, насилие и желание. Но это только снаружи — и что дело не в разных городах, в которых есть или нет предел бессмертию. Дело внутри нас. И Гримеру казалось, что он владеет тайной, разгадкой этого счастья внутри нас. И стоит только проснуться, и он сможет это передать всем и наяву. И он делал усилие над собой, чтобы проснуться, чтобы свести до лозунга эту тайну, все изменить в этом городе, обойтись без бунта, чтобы и Таможенник мог понять его и тоже стать иным — там, внутри. В это время Музе удалось все же вернуть его на этот свет, и он оставил свою разгадку на том, и мучительно пытался вспомнить ее, и морщил свой лоб, похожий на каждый лоб этого Города, и щурил глаза, такие же, как у Образца в Зале. И это казалось ему важнее своего Величья, важнее того, что Муза сегодня остается дома, ибо она, Муза, обязана теперь ничего не делать. Ее жизнь это и есть работа. Ибо она — служение Великому, и каждый взгляд, жест станут словом в восприятии окружающих. Даже важнее того, что сегодня опять будет скальпель в руках и чье-то красное, мышцами наружу лицо вспыхнут перед глазами.

XXXV

Другие заботы у Председателя, если встал он с утра полубольной. Жена домой только под утро пришла. Теперь у нее свобода — Жена! А вот у Сопредседателя — те же сроки, да на час больше, а ничего, кроме нежности, приятной и вполне бодрой усталости, и нет. Словно берегла она это в себе все годы суровой работы, а вот дошла очередь, и все разом выплеснула, да так,

что еще осталось с лихвой, да еще на жизнь хватит. Не смыкая глаз и рук, она готова и жизнь жить. Если бы не работа. Отпускала Мужа домой — плакала, всего обцеловала — есть смысл в жизни. Да и тому не больно-то хотелось уходить — совпали. Но не Мужу говорить, что такое обязанности. Смешно, еще вчера он на нее и посмотреть боялся. Сколько их она на Уход назначила, больше, чем он баб видел, а уж он... А сейчас целует, стоя на коленях, и плачет. Есть в этом какая-то загадка.

Но Мужа такие пустяки и раньше-то не волновали, а теперь и вовсе: это ее дело — относиться к нему, как она относится вместе со всеми причинами на свете, почему так, а не иначе. Почувствовал Муж, что устал, ему тоже домой пора, потому что домой теперь для Мужа это и есть — на работу.



ГЛАВА ВТОРАЯ

ИСПЫТАНИЕ

I

И Город уже весь выполз на улицы и на целый день перерасползается по своим рабочим местам, чтобы вечером перерасползтись обратно. Ведь это иллюзия, что он становится другим, одетым, занятым, работающим, на самом деле те же руки и бедра, щеки и волосы, губы и глаза, только внутрь, но те же. Попробуй сейчас раскидать их по своим спальням и убедишься, что ничего в них другого и не существует. Та же жизнь, что и вчера, на людях — внутрь, дома — наружу. Но, увы, это было бы слишком хорошо, если бы было неизменно — бывают периоды, когда все это перепутывается, когда люди теряют определенность внутри себя и снаружи. И тогда Гример, вместо того чтобы сидеть в своем кабинете, окруженном услужливыми, молчаливыми, спрятанными внутрь бедрами, руками, движется по коридору. Он ведь ничего не знает, почему это происходит, почему ведут его идущие справа и слева, и не мудрено: он ведь не присутствовал при контакте Стоящего-над-всеми и Таможенника и не ведает, что происходящее с ним — попытка сохранить в живых Город, или, говоря точнее, Таможенника, так, по крайней мере, полагает Таможенник.

За Гримером пришли, как однажды пришли после операции в прошлом году. Еще недавно он бы согнулся, съежился, вжался в свое тело. А теперь поднялся легко, как будто сам хотел прогуляться. Не торопясь вымыл руки. Посмотрел на свое лицо, провел по нему ладонями. Промыл глаза. Вернулся к столу, налил из графина воды, сделал несколько глотков. И поднялся. Комиссия Комиссией, а он — Великий Гример.

Ах, как легки, неторопливы и точны его шаги, да и действительно, кто в городе лучше владеет своим телом, чем наш Гример? Да и невозможно ему идти иначе. О Гримерах говорят, что они ошибаются один раз. Поэтому и точны его шаги — как кошка, идет он по мягким коврам, будто каждый раз готовится к прыжку и не совершает его только потому, что нет жертвы. Забыл ли он коридоры Комиссий? Нет, не забыл, но так ли он шел тогда? Теперь иначе, а все-таки сердце нет-нет да и сожмется внутри. Остановится на миг и опять молотит по воздуху крылышками. Вот здесь, Гример помнит, была дверь, а теперь начало нового коридора направо. Теперь налево. Идущие справа и слева движутся почтительно и тоже как кошки, но, конечно, кошки худшей породы и, видимо, не первой молодости, отяжелели. Наконец вот оно — дверь. Вверху имя — Председатель. Гример вошел один. Хозяин вскочил навстречу. Значит, действительно все в порядке. В прошлом году не подымался, даже глаз не поднял, а когда поднял, сузил так, что и души сквозь щель не видно, и лицо уж на что было на Образец похожее, а в мгновение стало незнакомым и даже нездешним. А этот вышел навстречу, усадил. Сам сел напротив, ноги сдвинул. Глаза красноватые, устал, значит, правда, причина усталости Гримеру не важна, но если в усталости и такая любезность — это вот важ-

но. Уверился в себе еще больше, и голос стал опять мягким, бархатистым, а то уже внутри какой-то фи-стульного цвета приготовился выползть наружу. Приготовившийся убрал и наружу выпустил иной — свой, даже повеличественней.

— Слушаю вас.

Но тот ответить не успел. Открылась дверь. Председатель вскочил — Таможенник. Гример поднялся. Таможенник кивнул головой Председателю, руки не протянул, к Гримеру бросился с разгону, улыбнулся, обнял его. Вроде как у Таможенника ближе Гримера и друзей не было. Гример ответил сначала неловко и неуклюже, а потом засмеялся и тоже стиснул Таможенника. Пожалуй, посильней, чем тот его.

— Ого, ручки! Садись. — И сразу Председателю: — Дай-ка нам выпить.

— Вода. — Председатель налил и подал два стакана.

— Спасибо. А теперь иди, — Таможенник кивнул головой. — Ну, ручки, — Таможенник поводит плечами. — Даже слишком. Тебя бы к моим людям переместить, цены бы тебе не было, и как только ты этими клещами скальпелем работаешь?..

Вроде об одном говорит, о другом думает. Глазами луп — и взглядом внутрь залезает бесстыдно, как вор, которому воровать позволено.

— Готов? — вот это уже со смыслом. Постукал Таможенник по низкому столику, поставил стакан. Ладонью провел по лицу сверху вниз.

— К чему? — Гример тоже постучал по столу пальцами, ах, какие у него были пальцы, в два раза тоньше, а красоты...

Таможенник вылупился на него до такой степени натурально, что Гример поверил его удивлению... Со-

брал улыбку Таможенник, как скатерть со стола, свернул, закрыл и, через свернутую, сузив жесткие глаза:

— Работенка тут одна предстоит, вот не знаю, справишься ли ты...

— По какой части?

Гример приготовился слушать интонации, ни одному слову Таможенника он не верил, а вот интонации, пожалуй, мог поверить. Но тот тоже не одну собаку на разговорах съел, пожалуй, почище Председателя мог кого угодно в любой угол загнать. Но только не Гримера. Может, он и не лучший Гример на самом деле в Городе, но не только для работы готовил себя Гример всю жизнь, да и после Комиссии опыт осел так, что во сне настороже.

— По твоей. Больше не спрашивай, но интонации мои не щупай, они без пульса, — ухмыльнулся, как волк зевнул. — По твоей.

— Обманываешь?

— Наполовину.

— На какую?

— На любую.

И дальше разговор перешел на Музу, что, мол, повезло Гримеру и прочая, что вчера Муза была первой дамой на вечере выбора, и что Таможенник любовался ею, и что, наверное, все будет хорошо, и что он сам, хмыкнул Таможенник, «будет служить у него на посылках». Из всей этой болтовни Гример ничего внутри не зафиксировал. И цену хорошим отношениям он знал, веселым вот таким, открытым, этот приемчик на Комиссии на нем не раз отработывали. Таможенник, конечно, виртуоз, но модель та же.

А это вот уже ближе к делу.

— Ты знаешь, почему тебе тогда на Комиссии подфартило?

Молчит Гример, слушает, интонацию прячет.

— Ведь это я. Ты моего партнера в дотаможенный период нечаянно на два номера назад отодвинул, а мне хватило. Так что я с тебя начал. Должник я твой, — опять волк зевнул.

Врет, что ли. Да какая разница. Для Таможенника — ему, Гримеру или Музе, если не нужны, Уход назначить что пальцем шевельнуть. Значит, нужен, коль лирика пошла. Встал Таможенник, обнял.

— Ну ладно, за словами и дело пролетит. — Позвал Председателя, тот вошел. Руки с плеча Гримера не снял. — Если с него хоть волосок слетит, — и уже без улыбки, даже волчьей, а может, и тут притворяется. Председатель смотрит: не проглядеть бы. — А то как в анекдоте, не то что Уход организуем, а хуже будет.

— А что хуже?

— Опять вернем и опять организуем, и так всю жизнь.

Нет, с Председателем столько лет вместе прожили, проработали, прошутили, — конечно, с осторожностью со стороны Председателя. Так Таможенник ни разу не говорил. Это не прием. Улыбнулся.

— Да что ты, как будто сам не понимаю. — А если не понимает, да и о каком волоске слово сказано, если тут всего и слон не выдержит.

— А вот так, — говорит Таможенник, перед тем как уйти, — тебе решать, не все валять дурака, за свое Имя и поработать надо.

Председатель с толку сбит; Гримеру, собственно говоря, радоваться тоже нечего. Что еще за работка? Да до нее Гримера еще подготовить надо. И волосок — знак убедительный для слышащего.

Напрягся весь, холодок на спине растопил, как снег огнем — волей. Готов все вынести, а выносить-то пока

и нечего. Сначала беседа. Общие данные, которые всем, и Председателю, разумеется, известны. Даже что ученик Великого лихо проехал, как санки с горы. Комиссия — тут и вопроса нет, это Председателю лучше Гримера известно. Вопросы о Музе пролетели так, словно пули мимо уха, — вжжик, и нету.

Как ни напрягался Гример, как ни контролировал себя, а явно что-то помимо слов, что и не хотел, а выпустил из себя. А как узнать — что, если не понимает он, даже когда это произошло. Дело мастера боится, а уж Председатель — мастер, этого не отнимешь.

А жаль. Встал Председатель — конец началу, у него — все. Мастер только вроде работать начал, во вкус вошел. Вот бы сейчас Гримера как бабочку булавкой к стенке присобачил и через глаз Гримера, внутрь Гримера, до блохи сжавшись, вошел туда, где на дне — душа в скорлупе. И все бы вызнал, что и Гример сам не знает, все бы увидел, все бы записал: но мало того, уже сам для себя, для развлечения, что ли, душу ножичком на две половиночки — раз, и оттуда этот самый желток из души на ладонь да под увеличение.

А тут разъедешься, и проколоть нельзя. Инструкция — она как светофор для машины. Хочешь не хочешь — тормози.

— В другой кабинет, прошу. Посмотрим, как у вас с состраданием дело обстоит.

О сострадании вспомнил, улыбнулся полуртом. Действительно, как у него, Гримера, с этой штукой?.. Никак. Как человек с именем, он вроде должен быть лишен этого недостатка, мало ли их на его глазах выводят прямо из кресел, мало ли под его ножами они корчатся, орут, плачут, да разве только это. Работа и сострадание, жизнь и сострадание — несовместимы. Иначе кто имел бы право жить?.. А сострадание в по-

лумеру, на уровне сочувствия — пусть в это играют другие. Пожалуй, что это сострадание существует, Гример знает только по закону, отрицающему сострадание. Еще, может, в детстве, или в первые годы работы, или там, на Комиссии, он и чувствовал какое-то волнение, когда снимал кожу с лица и пациент плакал от боли, не в состоянии век закрыть, красных и сочных век, или слышал крик вошедшего перед ним в кабинет Комиссии и, когда входил, видел его сидящим в кресле с открытым ртом и струйкой крови, стекающей по подбородку... Но чтобы сейчас — да посади в это кресло весь Город! И ни один глаз не вспотел бы слезой, и не моргнуло бы око, и за это в себе он спокоен, убеждал себя Гример, направляясь в следующий кабинет... Да вот взять вчера. После того как зажгли свет и выносили руки, головы, ноги, а сотни остались в креслах, что он чувствовал? Нежность к Музе и радость по поводу того, что операция вызвала восторг зала. Он как все. Гример шел спокойно и даже весело.

II

Дверь распахнулась. Это была широкая, в полстены, дверь. Она отъехала так, будто котенок прошел по ковру, гибко и бесшумно, и так же бесшумно затворилась. Пожалуйста, в кресло. На человеке, который встретил его, были темные очки. И руки его были точными и гибкими, как у Гримера. У Гримера особый пристрастный взгляд на руки. Эти были, пожалуй, не менее виртуозны, чем у него. Гример как-то почувствовал себя уверенней. А что, хорошие руки, в испытании на то, в чем уверен, — не так уж и мало для человека, чтобы стало спокойнее ему, когда он хочет быть спокойнее. В кресле, куда усадили Гримера, мяг-

ко и удобно. Стало еще спокойнее. Он почувствовал на коже рук, на шее, на лбу легкие теплые зажимы, и ему захотелось даже задремать. Пояса вокруг тела он почти не ощутил.

А руки поднесли ему бумагу. Вверху были исходные данные. Сто пятая — лицо и вес в норме, соответствуют номеру. Все соответствует номеру. Приговорена к Уходу. Сто пятая, подумал Гример, знакомый номер, и вдруг вспомнил: ну, конечно, это же знакомая Сотых. Это к ней уходил по вечерам в безымянный период Муж. Муза столько говорила о ней и о том, что Сто пятая любила Сотого, и что ждала его как-то так, что даже Муза не всегда ждала так Гримера, и что Муза в чем-то хотела бы походить на нее. И что когда-то она знала ее сама, но потом она вышла за норму номеров, возможных для общения. И вообще это был самый близкий ей в прошлом человек. Она воспитывалась с ней вместе... — А-а-а-а-а...

«Какой мерзкий крик, хотя и глухой», — поморщился Гример, это, пожалуй, за этой стеной. Он повернул голову, поползла дверь тихо и бережно, как будто мелкий снег падал на ладонь. Двое ведших его на Комиссию час назад сейчас волокли за ноги Сто пятую. Какое отвратительное тело, избитое, в синяках и крови, лицо почти лишено кожи. Голова лежала на боку, но женщина еще кричала. В Гримере что-то чуть шевельнулось. «Спокойно, — сказал он, — значит, так: линия тела обычна, только чуть полноваты бедра. Они уже успели испортить лицо, и сейчас ее вряд ли можно принять даже за Сто пятую. Как быстро может меняться судьба, — думал с усилием Гример. — Хотя какая судьба — она приговорена к Уходу. Интересно, показать ему именно Сто пятую — затея Комиссии или только Таможенника?»

Сто пятую бросили на стол. Ей приподняли голову, и женщина зашевелилась. Застонала. Стоящий справа взял со стола скальпель и снизу вверх вспорол одну из ног женщины. Та дернулась и закричала. «Спокойно, — сжался Гример, — я сам вскрываю шею, щеки. Спокойно, это всего лишь испытание на сострадание. Ты же выдержишь это — подумаешь, каждый день работает Комиссия. А вчерашний день? Зал. Можно сойти с ума... Но ты же думал о другом». Его рука чуть шевельнулась.

Ведущий испытания наклонился к Гримеру:

— Хотите что-то сказать?

Гример покачал головой, сильнее к ручке кресла прижал руку и тут же испугался — не чересчур ли резко он это сделал, если не заметит Ведущий, то — машина, датчики.

В это время стоящий слева взял скальпель...

«Хорошая работа, — заставил себя подумать Гример, — профессионалы. Вполне. — И тут же отметил сам про себя, что заставляет думать себя с трудом. — Неужели я не могу быть спокойным? Ведь от моего свидетельства ничего не меняется в ее судьбе. И без меня происходило бы то же. А если я не выдержу — не будет новой работы, Музы, может, меня».

Пожалуй, это и подвело его. Когда он подумал о Музе, мысль, что она знала Сто пятую, где-то запуталась в нити размышления о бессмысленности вмешательства, и обе сплелись, и уже выходило, что это может быть она, Муза, его Муза, а не Сто пятая. Но опять Гример взял себя в руки, и даже руки не дрогнули. «Молодец», — подумал он, и мысль, что он может все-таки все вынести, видимо, расслабила его, он слишком рано почувствовал победу.

Женщина не закричала, а сжала зубы, стоящий слева поднес скальпель к ее правому глазу и, поддерживая ее

под затылок ладонью, приподнял голову... Если бы Гример не ощутил чувства облегчения и победы, он, наверное, и это принял бы так же, как и все остальное, ведь она приговорена к Уходу. Совершенно непроизвольно Гример дернулся, оборвал все датчики, опрокинул кресло, замычал, как от тупой боли, и вцепился в пояс, чтобы разорвать его. И почувствовал на своем плече руку.

— Перестань. — Он выстрелил глазами вверх, весь ощеренный от бешенства волк, и увидел, что над ним Таможенник. А перед ним ничего и никого нет, ни стола, ни женщины, ни людей...

И Гример опустился и заплакал, и голос был воем, и ему было плевать на испытание, и на Таможенника, и на Город. И на все на свете. Только одна мысль крутилась в нем и буксовала, как машина, провалившаяся в болото. «Это могла быть Муза. Это могла быть Муза». Таможенник опять положил руку на плечо. Сел на корточки перед Гримером.

— Кончишь выть, приду, — отстегнул пояс у Гримера и вышел.

Гример еще полежал, встал, поставил кресло. Сел в него и закрыл глаза. Болела голова, но было пусто и не было ни одной мысли, кроме «это могла быть Муза». Потом эта мысль потеснилась, и в нее смиренно, виноватой собакой, проникла другая: «Вот ты и не выдержал испытания, и это там, где от тебя ничего не зависело. — Гример открыл дверь в эту пустоту и отпустил птицу. — А черт с ними, с испытаниями. Будьте вы все прокляты, — он начал смеяться. Встал. Лег на пол. Он смеялся, и у его текли слезы, как бывает после анестезии, когда отходит лицо. Вставал, стучал кулаками в стенку и постепенно успокаивался, и, пожалуй, в голове осталась только одна мысль: — Не выдержал, и наплевать, зато могу чувствовать себя собой».

— Прошло, — Таможенник заглянул в дверь, — нет еще? Пройдет. — Вышел. И скоро Гример действительно почувствовал, что прошло. Опять появился Таможенник. Счастливый, веселый. — Я поздравляю — выдержал.

— Все врешь, ты думаешь, теперь для меня это имеет какое-то значение?

— Посмотри на табло.

Гример поднял голову, над входной дверью зажегся текст: — оценка — положительно. Норма.

Таможенник обнял за плечи Гримера.

— Вот видишь, значит, все в порядке. По этому поводу вот тебе, — Таможенник протянул стакан. — Запей свою победу.

Гример, не ощущая даже вкуса, выпил, и вдруг к нему пришла легкость, видимо, испытание происходило по неведомым ему законам и естественные реакции, вопреки принятым в городе нормам, оценивались положительно, и нужно только, не юля, не показывая наружу того, чего нет внутри, быть самим собой и верить себе, и он сказал Таможеннику:

— А я думал, испытание кончилось на этом, и у меня, знаешь, нет больше желания испытываться дальше.

Таможенник кивнул головой, он был доволен его словами. Разминка действительно позади.

— И ты скот, — сказал он Таможеннику, — и мразь.

— Правильно, — сказал Таможенник, ему ужасно нравилось говоримое Гримером. — Ну, — сказал он, — еще.

— А еще, — сказал Гример, — если вдруг случится тебе попасть на мой стол, я с тобой сделаю то же, что эти коновалы со Сто пятой.

Таможенник был просто счастлив.

— Господи, — говорил он плача, — если бы ты знал, как это дорого мне, как ты близок мне. Как прекрасен искренний человек, даже в грубости, ничего нет выше искренности.

Тут Гример несколько опешил. У него много было приготовлено слов и о Таможеннике, и о Городе, и всей мерзости этой ленивой машины законов и несправедливости Ухода. Но когда он увидел такое счастье на лице Таможенника, слова застряли в горле Гримера и он успокоился. Замолчал и ушел в свои мысли. Вспомнил первую комиссию и Музу, которая могла быть на месте Сто пятой. И ничего больше не сказал Таможеннику.

III

А Муза в это время ждала Гримера. Заканчивался обычный рабочий день. Она ходила из угла в угол. Она ждала, вспоминала первое прикосновение локтя Гримера к своей коже, вспоминала, как любила снимать с него плащ. Перебирала работы, клала их обратно. Садилась, поджимала под себя ноги, смотрела, считая каждую минуту, и если бы минута была кошкой или собакой, она бы обязательно заставила бежать их быстрее. Муза твердо решила завтра вернуться на работу. И это ей было можно. Сегодня она поняла, что невозможно вот так ждать целый день и еще неизвестно сколько. Когда открылась дверь и она, бросившись к ней, увидела Таможенника, Муза запахнула халат, приложила ладонь к губам, почувствовала, что что-то бежит по ладони, отняла руку, увидела кровь, опустила руку. «Почему кровь?» — подумала она.

— Жив, и все в порядке, — сказал Таможенник.

И Муза была благодарна ему за то, что тот сказал это сразу. Опять приложила руку к губам. Опять отняла ее. Прикусила губы. И как это она и почему вдруг ни с того ни с сего начала волноваться, ведь никогда этого с ней не было, даже когда она ждала после Комиссии, она волновалась меньше. Вытерла руку, показала на кресло рукой Таможеннику.

— Почему он не дома, не пришел сам?

Таможенник махнул рукой, устало опускаясь в кресло, и наговорил ей с три короба о сложности новых обязанностей, наконец, важности первых дней выхода на работу, тем более после вчерашних событий. Да-да, которые произошли на ее глазах. И последствия, которые будут продолжаться несколько дней. Нужны общие усилия, чтобы все вернуть в норму, операций прибавилось втрое — много перемен, и несколько дней ему, Гримеру, придется не выходить из кабинета. И, конечно, Таможенник тут же согласился, что Музе надо работать и что она в порядке исключения может вернуться даже на старое место, только, ради Бога, должна себя вести осторожно, потому что любое раздражение, несогласие будут восприняты — он, мол, даже не представляет как, и ведь не каждому можно объяснить убедительно, почему после такого передвижения женщина остается на работе. И Муза согласилась. И ей стало весело и приятно. Завтра она вернется в свое кресло и опять поставит на контроль «Бессмертных», которых перенесли на следующую неделю в связи с последними событиями, и ей уже было интересно, какой балл покажут контрольные зрители из уцелевших, да и новые тоже.

Все хорошо, уговаривает она сама себя. Но как Муза мысли ни разгоняет, те, как голуби, высоко покружив, опять в голубятню возвращаются и шумно хлопают

крыльями, усаживаются и воркуют. Почему все-таки его нет? И почему пришел Таможенник, и правда ли то, что он сказал, и можно ли ему верить, хотя она твердо знает, что в Городе верить никому нельзя, но так уж устроена женщина, ей хочется верить.

Но Муза Музой, а у Таможенника кроме нее забот по горло.

IV

— Готовы?
Гример спросил только, будет ли это связано с экспериментами на других людях, успокоился, когда приятная женщина покачала головой и сказала: конечно, нет. Просто разминка не могла быть проведена без дополнительного объекта, ибо... Гример поморщился: довольно.

— Где это будет, тоже здесь?

Женщина улыбнулась, объяснила, что нет, и повела Гримера в комнату, в которой, ему помнится, в первый раз еще на той Комиссии он был. На стене те же светильники; он еще тогда обратил внимание — человеческая рука, выходящая из стены, держала факел. И так были тонки и трепетны пальцы, что он принял тогда их за настоящие, и ему сказали, что рука действительно настоящая, но, поскольку он тогда не верил ни одному ответу, он не поверил и этому. И он спросил женщину, вспомнив свой вопрос: настоящая? Нет, сказала женщина, это уже неживая ткань. Странно, что ответ Гримеру был безразличен, видимо, он уже жил, понимая, что знание и незнание правды ничего не меняет в жизни. «Довольно, — обрывал он себя, — теперь пора сосредоточиться. Пора. Каково содержание первого испытания и как в нем —

опять быть естественным или наоборот?» В этом сейчас было главное.

— Пожалуйста, сюда, — женщина открыла почти невидимую стеклянную дверь — настолько она была прозрачна.

Перед ним был куб, который только теперь стал для Гримера видимым. И он подумал: почему он не заметил раньше, ведь факел и сама рука в месте соединения были чуть как бы надомлены, и грань куба тонкой нитью перерезала их.

— Я объясняю вам главное. В случае, если вы почувствуете себя плохо, вы должны — видите, вот там, справа от кресла, — оказывается, даже кресло и пульт были в этом кубе, — нажать на красный клавиш. — Гример сел, прикрепил датчики. Показала, как работает клавиш прекращения испытания. — Но дело заключается в том... — женщина по-детски назидательно подняла палец.

— Какой у вас номер? — перебил ее Гример.

— Сорок первый, — улыбнулась она и опять еще раз улыбнулась, уже без слов, выдерживая паузу: нет ли у Гримера других вопросов, и продолжала свою мысль: — Дело заключается в том, что вы максимально должны выдержать интервал прежде, чем нажать на клавиш, и нажать его надо только тогда, когда вы почувствуете, что теряете сознание. И от того, как точна будет ваша реакция, сколько вы сможете пробыть в кресле, и будет зависеть результат нашего испытания.

— Только и всего?

— Только и всего. Вы будете иметь дело только с собой.

Женщина вышла. Закрыла дверь. И села с противоположной стороны куба за пульт. Потом исчезла из

глаз Гримера. Стены были более непрозрачны. На одной из них возник мчащийся на него с невероятной скоростью предмет, он летел необратимо и тяжело. Все ближе и ближе, и уже ясно: поезд с торчащим фонарем на лбу — и пол уже дрожал под Гримером, и у него возникло смешное желание сейчас прекратить испытание. Он даже протянул руку и улыбнулся. Все пронеслось мимо, почти касаясь его тела, ветер больно хлестнул по рукам, по шее, тронул лицо, Гример даже не шевельнулся. Он хорошо понимал приказ Таможенника, чтобы волосок не слетел с его головы. Если и это ложь? Если они с Председателем разыграли сцену, если... но стены стали сходить, они были черными, и почти ничего не изменилось, только воздух стал давить на Гримерово тело, как иногда бывает во время дождя, все ближе сжимались стены, сейчас они сойдутся. Нет, сошлись, видимо, огибая его. Он остался в каком-то воздушном пузыре, — пульт и клавиш включения сплющились и стали тонкими, как дым от потухшей спички. Гример был спокоен, но поднял палец и тут же опустил его. А может, это входит в испытание — невозможность прекращения его. У него ведь бывало так: на столе человек терял сознание от боли, и Гример никогда не прекращал своей работы, на то есть восстановители — через несколько часов человек будет на ногах и здоров, правда не в такой степени, как раньше, но это детали. А он не имеет права полностью не использовать время операций и тратить его на передышку пациенту. Всегда на очереди были тысячи, и они ждали его, и каждая минута Гримера была уже распределена между горожанами. Нет, здесь не так, здесь работают с ним одним, он один только может выполнять работу после этого испытания. А может, и не один. Тогда опять обман. Сплющенный пульт упал

на пол, звякнул и лег плашмя. Гример решил не спрашивать, почему убрали пульт, в конце концов, это не трагедия, жаль, что он сейчас не видит лица женщины, а может, можно попросить, но опять передумал. Стены пузыря загорелись, он явно ощутил запах дыма, и пузырь стал сжиматься. Огонь был уже рядом, и его охватил жар. Тело вспотело. «Будущие причины» — так это, кажется, называется. Он засмеялся. Сжигаемый на костре потеет для того, чтобы восстановить нормальную температуру тела, и на несколько секунд ему это удастся. Пульты под рукой не было, пальцы вцепились в кресло. Сжал. Пальцы разжались. Он сидел спокойно и расслабленно. Еще ближе языки извивались по полу, лезли вверх, гасли и загорались новые... И вдруг мозг почувствовал сигналы тревоги. Дело не в огне, не в запахе гари, не в этих языках. Где-то, в чем-то он почувствовал главную опасность. Он зря так легко отнесся ко всему, ведь это была маскировка. Это вообще не надо было замечать. Надо было подготовиться к главному. В горло влез какой-то зверь, он щекотал горло, царапал его, мешал дышать. Гримера стало тошнить, он гладил себя по горлу, пытаясь вытолкнуть этого зверя, выгнать его наружу, струя желто-зеленой мутной жидкости при свете пламени выхлестнула наружу. Стало немного легче и опять душно... Подожди. Удушье наступает при отсутствии кислорода в воздухе, при прекращении доступа воздуха в легкие. В мозгу завертелись, закружились цветные круги: в чем разгадка? Если он найдет причину, он сможет бороться с этим. И черт с ним, с огнем, — дышать нечем. Горло свободно. Но что-то хрипит уже внутри. И вдруг вспыхнуло подозрение и круги разбежались на тысячу осколков и погасли: из-под куба выкачивают воздух. Успокойся. Перестань дышать. Ни

одного движения. В пузыре есть еще воздух. Он вверху. Нужно встать. Можешь осторожно дохнуть. Он ощутил, как в горло пошел слабый ток воздуха. Внутри перестало хрипеть. Ага, ты прав. Дальше. Дальше можно влезть на кресло. Но они заметят, что ты раскусил их. Ничего, встать, в конце концов, ты мог неосознанно, а влезть на кресло — это уже поступок мысли. Еще тяжелей дышать. Но это уже без истерики. Главное, почему-то мелькнула мысль о следующем испытании — там тоже без истерики. У него возникла почти уверенность, что это испытание не так уж и трудно. И дело действительно в том (а время он протянет сколько надо), что в любую минуту он может остановить испытание. И когда почувствует, что не может больше дышать... Но пульта нет, клавиш смят. Значит, мысль уже не контролируется им. Дышать стало больно. Нет, еще минуту он все же простоит здесь. И Гример начал считать варианты. Движение вправо — стена. Влево — стена. Назад — стена. Вверх? Он протянул руку — ожегся. Отдернул и попытался опустить руку. Не опускается. Зажата. Вторую — та же история. Ничего, с вытянутыми руками тоже можно стоять. В момент катастрофы мыслить и поступать только мгновенно. Попытался сесть — сел. Дышать стало нечем. Попытался встать. Нет. Вытянутые руки и невозможность встать — опять закружились красные круги, кругом черно и ни одного клочка света. Только сейчас он понял, что огня уже нет, и, видимо, давно. Надо запомнить: страх выключает сознание, и оно идет на контакт со страхом, это как якорь или гавань кораблю в бурю, это как... — подожди, и мозг не участвует в решении других проблем, локальная сосредоточенность, которая может привести к гибели, конечно, страх... Сейчас конец. Сейчас надо все-таки встать. Пора. Прекратите испытание! Несущее-

ствующий клавиш утоплен. Никакой реакции. Та же темнота стены. Как будто его запаяли в камеру, как в водолазный костюм, опустили и не подают воздуха. Сердце остановилось. Легкие повисли, как паруса на ветру, и только мозг еще работал какое-то мгновение. В это мгновение он слышал, как он засипел, ударил в этот сип головой, и плавно провалился на дно, и почти не почувствовал, только вроде как тень ощущения промелькнула, что какая-то сила разрывает легкие, мозг, сердце и все это летит в разные стороны, а навстречу с такой же скоростью свет...

Ха-а-а-а-а-а — закрипело тело.

V

Муза открыла дверь Главной пары. Она по-прежнему выше их по положению, хотя уже, конечно, не с таким разрывом, как прежде. И это она очень скоро почувствовала. Жены не было дома. Муж ужасно обрадовался приходу Музы. Он сразу залепетал, что рад ее видеть, что ужасно соскучился, что он вообще скучал, когда она долго не показывалась в их доме, что все, что у него было, это отношение к ней, но что он-де никогда не мог отважиться коснуться ее, это потому, что была такая дистанция, а теперь она рухнула, и пусть ее от него отделяет положение, но он теперь тоже не какой-то Сотый, а Муж, и в это время он становится на колени, вскакивает, пытаясь обнять ее, плачет. Муза стояла вся ошалевшая, как человек, который шел по равнине, а оказался в пропасти. Она часто видела Мужа спокойным, давящим птиц, рассказывающим ей мило, трогательно о Сто пятой и своей нежности к той под великим секретом от Жены, тогда еще Сотой, и Муза не могла так

быстро отойти от прежнего отношения и зафиксировать себя в этой перемене. Она никогда не могла сказать, что Муж был ей противен или, скажем, неприятен, нет, он как-то по-человечески нравился ей, может, это тоже была маленькая ложь, которую она позволяла себе, чтобы не испытывать чувство стыда за эти посещения. А Муж, ободренный молчанием Музы, уже обнимал ее. Уже повис на ней, и ноги ее подогнулись. И наверняка, это вывело ее из состояния ошалеения, — так машина, которой дали газ, сначала буксует на одном месте, а потом мгновенно набирает скорость. Она опустилась сама на колени и засмеялась, а потом захохотала, она хохотала так, что тот вскочил. В испуге сам оправил ее рубаху. Муза повалилась на пол и залилась от хохота. Муж опешил. Муза хохотала. Она представила его лежащим...

«Какой идиот, какой идиот. И чего я с тобой говорила, неужели ты ничего не понял, о чем я с тобой говорила». В таком виде застала их вернувшаяся Жена. Прижавшегося к стенке с дикими глазами и пятнами на лице Мужа и валяющуюся, перекатывающуюся хохочущую Музу. Жена поняла и постучала согнутым пальцем по своему лбу.

— Как говорят у нас в Городе, не бери в рот того, чем подавишься.

Муж бросился к ней.

Муза так же внезапно остановилась, встала. На глазах ее были еще слезы от смеха и омерзения. Даже не посмотрев ни на того, ни на другого, пошла к двери.

— Только вы не думайте, пожалуйста, что это меня как-то обидело или что я об этом скажу Гримеру, — и не стала слушать, что ей скажут в ответ.

Мы часто не нуждаемся в поводе, чтобы сделать то, что давно хотели, но без повода неловко. А в ответ

сзади раздался хлыст пощечины. Кому? Судя по двоянному звуку, — каждому, а затем крик кошки, на которую наступили кованым сапогом.

VI

Гример лежал в воде. Он открыл глаза и не сразу понял, где он. Это было похоже на аквариум, в котором они держат рыб. Гример посмотрел на свои руки. В полном порядке. Пальцы? Попробовал — работают прекрасно. Напротив, за прозрачным бортом, доходившим Гримеру до глаз, сидел улыбающийся Таможенник.

— Первый класс, — поднял палец и сказал он, — Выше нормы, в полтора раза. С таким запасом мы тебе удвоили все показатели.

— Я больше не хочу, — сказал Гример.

— Конечно, — Таможенник никогда и не думал иначе.

Он, Гример, прав. Нечего доводить себя до этого состояния. Ведь все добровольно — это Гримеру нужна работа, которую он ждал всю жизнь, которая невозможна без испытания. Хватит так хватит. А потом, когда захочет сам, если надумает, решит или придет к выводу, то можно будет продолжить испытание. Таможенник помог Гримеру вылезти из воды. Раздел Гримера. Вытер его насухо полотенцем, и все сам, один, принес свежую сухую одежду, опять бережно, очень бережно всунул Гримера в широкие рукава и широкий ворот. Посадил в кресло. Налил воды, зачерпнув прямо из аквариума. Выпил сам половину, остальное протянул Гримеру. И правда надо — в горле все сохлось, нужна была вода, он поблагодарил Таможенника. Усмехнулся себе — единственная отчет-

ливая мысль, которая сейчас существовала в нем, это то, что он превысил контрольные показатели в полтора раза. Все-таки человек остается человеком. И имя — Великий Гример, и Муза, и перспектива новой работы, и — чуть не подох (если вообще он еще жив), его радуют, несмотря на всю чудовищность этого определения, именно радуют и эти его личные показатели выше нормы в полтора раза.

Так в истерике иногда радуется человек, потеряв жену и сына в авиационной катастрофе, тому, что в последнюю минуту не отправил с ними еще и свою кошку.

Так радуется человек, потеряв все свои деньги, находя в кармане старого пиджака мелочь, на которую можно купить еды.

Так радуется человек, хороня свою любимую, что гроб ал, торжествен и наряден.

Так радуется человек, потеряв руку, сохранившимся запонкам.

Так радуется человек, засыпанный в пещере, где неоткуда ждать помощи и о нем никто не знает, тому, что еще жив, не думая пока о том, что умирать от голода страшнее, чем быть раздавленным.

А может, пронесет, а может, откопают, а может, вспомнят, а пока не откопали, главное — чтобы близкие не знали о том, как тебе, иначе они будут мучиться, не зная, как и чем помочь тебе, и это будет лишняя мука, и надо объяснять, что тебе еще не так плохо, что только начало твоей жизни без еды и воды и ты готов прожить, сколько выдержит в тебе жизнь, ты не боишься голода, но время все же сильнее тебя, это ты тоже знаешь, и единственное, что дано тебе внушить любящей тебя, что все хорошо, все хорошо и ничего не случилось, жизнь идет как надо.

Гример лежит на постели и, улыбаясь, говорит Музе о том, как хорошо на работе — и новая лаборатория, и кабинет, и новые обязанности, и удивительные люди. И что он сегодня не мог прийти раньше, да, конечно, это он послал Таможенника, служит Гримеру тот на посылках. А дышать тяжело? Потому что к ней спешил. А руки такие слабые? Тоже от усталости — Гример очень бережет свою Музу. Благородный человек. И Муза тоже благородная женщина, бережет Гримера. Ни слова о невеселой части посещения Главной пары, но что была — это пожалуйста. Все у них мило. Они такие же приятные люди, но что-то в них изменилось, особенно в Муже, и вряд ли она пойдет в ближайшее время к ним. Потом не будет времени. Муза собирается работать, потому что ждать очень трудно, и ходить в гости ей надоело, и она очень беспокоится, что Гример устает. Журчат слова, собираются в стаи, выравниваются, как, взлетев, птичий клин в небе. И Гримера охватывает дремота. Он и впрямь устал.

...И вот уже они стирают грязное белье вдвоем в полынье на реке. И течет грязная вода, а белье каленое режет руки, а Гримеру нужны руки, и он жалеет Музу и выжимает холодную тяжесть, пальцы краснеют на ветру, вода течет обратно в полынью, а кругом ослепительный снег и сияет солнце. А кругом мраморные, черного мрамора надгробные плиты, то есть дома, а внизу по водостоку течет желтая струя, вытянутая и длинная, и мелкие лохмотья ее иногда на мгновение задерживаются на стенках канала — Стопятая уходит на окраины города, смешавшись с дождем, а оттуда и того дальше и, может, в эту речку, где полощет белье Муза. Наконец засыпают оба. Слова... Слова... Что в них, а помогло. И ведь, черт возьми, будьте прокляты, все боли и беды мира, весь ужас это-

го черного камня, этого дождя, этого полосканья белья. Холод. Глаз Сто пятой. Муж с выпученными от похоти буркалами, их бережение и обманы во имя помощи. По-мог-ло. И спят и видят сны, и, может, даже не такие страшные, как эта жизнь, и, может быть, даже лучше ее, потому что ей надо, чтобы его голова лежала у нее на плече, а ему — чтобы ее голова лежала у него на плече. Так хочется, чтобы они доспали до утра, и не нужно никаких испытаний вообще, ничего больше не надо. Но выбор уже позади. У Гримера нет выхода.

Летит поезд, выйти — и размажет по стенке тоннеля.

Здрав голову, как нож масло, режет самолет небо, — выйди, вот она, дверь. Только плечи передернет от такой мысли.

Выбор позади, и даже ночь лишь по милости на час-другой твоя, но в любую минуту...

За Гримером пришли, едва ночь за вторую половину перевалила, — такая уж работа. Муза согласна, что такая уж работа, только вот больше заснуть не может, и уже начинает ждать Гримера, и с радостью вспоминает, что и ей сегодня утром к своим «Бессмертным».

Когда Музе есть что делать, ждать все-таки легче.

А у Гримера и следа вчерашних мыслей нет. Все выдержит, потому что если только и жить для того, чтобы удержаться в Великих, то зачем, если ты уже — он, а без цели живут только мертвые.

VII

Приготовились. Таможенник рядом. Гример вошел, а он уже здесь. Когда и спал, непонятно. Гример в воде. Пожалуй, даже приятно: вода теплая — около двадцати пяти градусов. Для Гримера определить температуру воды и воздуха несложно. Не зря

все-таки он сходил домой. И мысли другие, и ощущения другие, утренние, хотя еще продолжает быть ночь. И вчерашнее уже где-то на окраине мозга, как в тумане, сквозь зарю силуэтом, полутенью скользит, и ужас даже кажется красивым. И опять ощущение: все-таки не зря хотел больше, чем все, можно сказать, целый этап позади, вряд ли дальше будет тяжелее, ведь он не машина и его беречь надо. Ведь для работы готовят — не в калеки. И вода приятна. Вот это — «приятна» и мысль — «испытание» опять дают уже некий знакомый импульс.

Плещется Гример в воде, фыркает, плавает, головой трясет, а сам уже настороже, так кот — вроде лежит, глаза закрыл, дремлет, а птица к нему на прыжок — подойти только. И когда датчики крепят к телу, успевает на мгновение пережить раньше это прикосновение, и индикатор реакции остается на нуле.

А Таможенник продолжает говорить о Гримере, что-де чуден факт — показатели перекрыты, и он, право, не знает, как даже к этому отнестись. Попутно Таможенник объясняет, что он здесь все время, и что для него это тоже испытание, и еще неизвестно, кому сейчас тяжелее, и чем это может кончиться для Таможенника, потому что он и Гример как сообщающиеся сосуды — одна судьба, и, упаси Бог, Гример не выдержит, предел не угадаешь... А чтобы угадать, параллельно с ним проходят испытания десять контрольных групп, и пришлось заменить уже два раза всех контрольных, и у него, мол, все равно не хватает данных, и, чтобы сохранить Гримера, они-де опережают Гримера на одно испытание, но что часто контрольные не помогают объяснить ни поведения Гримера, ни его возможностей. А та маленькая ложь, которую позволил себе Таможенник с красной клавишей, придумана не им, это импровиза-

ция испытателя, и что он-де скоро убедится, что это так, потому что испытатель — материал для проведения эксперимента, и что Председатель сейчас сам поступит с тем так же, как тот поступил со Сто пятой. И Гример, понимая все, начинает чувствовать неизвестно почему расположение и доверие к Таможеннику, ибо ни одного слова нет, которые бы вызвали у Гримера сомнение или отвращение. Мы ведь просто устроены: лучше наживки, чем благородство, участие, великодушные, для нас и не существует, если на крючок лезем после первого доброго слова. И опять Гример настраивается на слова Таможенника. И в это время понимает, что стена аквариума темна. И голова его утоплена сверху крышкой такой же темной, и он понимает, что он находится в воде.

И первое, что надо сделать, — это перестать дышать. Пока еще работает голова. Надо думать о том, что себя ждет Муза. И что ты должен сегодня вечером в свое время прийти и сказать ей что-либо веселое, например: а у меня, мол, был сегодня удачный день. И он даже начинает представлять себе, как Муза прижмется к его плещу, как она заплачет, потому что все же что-то понимает, и понятно, что она не хочет его беспокоить, а может, у нее самой не все в порядке на работе, хотя при чем тут «в порядке», когда она может уйти в любое время, она независима от них, хотя уйти для Музы обязательно получить Уход.

Дышать больше нечем. Один только маленький глоток воды. Да-да, возможно, еще реакция бессознательная, реакция доверия более разума — интуиции; просто надо перевести тело в бессознательное состояние, почти умереть. Перестать дышать, выдержать это

непросто, но он выдержит. Ведь он и не человек вовсе, просто мертвая ткань, которая положена в воду, он халат, брошенный в воду, он птица, которую уже раздавил своими сильными пальцами Таможенник. И вот уже показалась розовая пена, и вот уже на глазах пленка. Нет, надо ждать Музу. Муза, тебя надо ждать, ты же теперь живешь в страхе, ты же видела, как вчера скальпель вошел... О Боже мой, Боже, как надувается тело и его тянет вверх, да нет, это же лед, полынья с тонкой коркой, просто нужно сильнее ударить головой, так и есть — лед, темный, весенний, рыхлый, талый, ну же, со всего размаха — головой. Еще, еще, как разбивают головой стенку. Проломлен, жив, глоток воздуха, вот и все. Слой, еще слой, уже голубой, уже видно небо, уже видно вон дерево, как в детстве, еще тонкий слой, и кажется, на самом деле уже можно дышать. Голова болит, по лицу что-то течет — это мозг, но нужен еще один удар — там же небо, ну же, урод! Так. Здесь не вышло. Теперь здесь. Ага, черное тело, здесь нельзя, то баржа, ведь так уже было. Тебя ждет Сто пятая. Стоп. Сейчас очень тяжело. Ей тяжелее, но ты ведь виртуозно можешь зашить глаз, чтобы он видел твои пальцы и твое тело, баржа уже прошла. Удар.

Кто-то просто пошутил. Это не днище — теплая мягкая каша перевернутого дома. Но тогда почему ощущение удара? Чтобы привести себя в себя, ведь ты еще жив? Как хорошо, что ты ночь провел сегодня со Сто пятой, она так любит тебя. Но зачем рядом лежит женщина с задраннным подолом и смеется? Это же Муза. Почему Муза лежит и смеется? Конечно, где тебе до нее — она же пара Великого Гримера, а на что тебе Великие бабы?.. Они же все старые, потому что, пока партнер лезет вверх, они все стареют вместе с ним и у них отвислые груди, висящие складками животы;

Сто пятая, маленькая, гладенькая моя, я не променяю тебя ни на кого, ты слышишь, мне никто больше не нужен.

Тело медленно спускается на пол аквариума, переворачивается и остается лежать с жестко стиснутым ртом, закрытыми глазами, неподвижное и ленивое, с раскинутыми ногами и раздавленными, разброшенными в разные стороны руками.

«Готов или не готов? Подождать или можно переждать?» — Таможенник прилип к стеклу так, что лицо, кажется, вошло в стекло и, если бы Гример увидел эту искореженную, словно гусеницей танка, образину, он наверняка проникся бы к Таможеннику состраданием, которого тот добивается от всех, даже от тех, кого сам обрабатывает перед Уходом. Он искренне хочет, чтобы люди понимали его боль и то, как трудно ему быть орудием Божьим. Но, к сожалению, в данном случае, как это ни несправедливо, не может Гример осуществить его постоянное желание, ибо нету Гримера, а есть халат, покачивающийся на дне, шевелящийся, как рыба плавниками, длинными голубыми рукавами в белую полоску и никакого в данную минуту отношения не имеющий к Гримеру.

VIII

А ночь продолжается. Муза не спит. Встала, мысли странные, каких раньше не было. Когда можно было ждать перемен, кажется, и жить веселее было. Вечером с Гримером минувший день на шахматную доску расставляли, пересчитывали, переигрывали его, не на скорую руку, а каждый ход отдельно. И можно было убедиться в разнице: думать вдвоем и медленно или одному и мгновенно.

Но иногда (а у Гримера, пожалуй, не так уж и редко) мгновенные решения были точны и единственны. И Музе не надо было объяснять, что так бывает, потому что и она была похожа в этом на Гримера. Но потом, после — в этом тоже было свое удовольствие и свое неторопливое вдохновение — возникало иное решение, и иногда три хода были равны между собой, как будто единственность троилась и была так же убедительна и возможна.

Наверное, это был праздник — каждый день как надежда. И еще немного вверх. И сколько раз переигранный дома день, который повторяется через неделю, помогал и Гримеру, и Музе поступать добрее, щедрее и великодушнее и в то же время умнее. В самом конкретном поступке было тоже место вдохновению, и он становился тогда уже только единственным, потому что на какую-то деталь был необыкновеннее самого умного заранее придуманного решения.

Но теперь Гример замкнулся, наверное потому, что Гримера больше не было, а существовал Великий Гример, дальше которого и выше для нее, непосвященной, был только День Ухода. А это не лучшая из перспектив, подальше от нее, подальше... Теперь не надо решать каждый день наново и иначе, все уже случилось, что могло случиться. Теперь остались только будни, в которых холодно и пусто, и только одно беспокойство — не утратить то, что уже есть.

Все-таки Муза баба, глупа, стало быть. Ей и в голову не придет, что все только начинается. А она жалеет о минувшем празднике, качает головой, думая о буднях, и вскрикивает и стонет время от времени, а почему — убей бог, и понять не может. Вот подошла к воде, и ее чуть не стошнило. Что происходит? Она всегда так любила окатить свое тело горячим дождем.

Это как на улице, только на тебе ничего нет, и дождь такой же сильный, и мнет тело, а от кожи пар идет, словно она оттаивающая земля весной, и все тело становится легким и плавным, и можно поднимать руки, лицо запрокинуть и, закрыв глаза, гладить кожей падающие струи... А сегодня подошла, и чуть не стошнило.

Ну, нет так нет. Муза опять села на кровать, накинула халат, руки разлеглись на коленях, усталые, вялые. Попыталась встать. Почувствовала, что теряет сознание. Встала. Все как будто прошло. Нет, на работу. Пора. От безделья и ожидания перестанешь и Музой быть. Пора.

Хотя бы сполоснуть водой лицо. К горлу опять подступила тошнота. Ладно, черт с ней, с водой. Оделась. Вышла раньше времени, чтобы испуг, нараставший в ней, остался здесь, в доме.

Наверное, когда передаешь — комнат, покоя, ожидания, — нужно открыть дверь и выйти вон. И опять на работе думать о доме, и стремиться туда, и не мочь уйти. И опять вернется желание покоя, и опять можно любить его. И все пройдет, решила она, само по себе.

Муза вышла на улицу, и дождь привычно обнял ее, напряг тело и погнал, пригибая Музу к земле.

IX

Боже, как бесконечно пространство твое между «передержать» и «недодержать». Это как мясо: мало огня — и сыро оно, много — и жестко мясо, а то и уголь вместо красноватой мякоти... Или кофе — закипел, пена поднялась выше тайной единственной точки — не то, не дошла пена до этой точки — и тоже дру-

гой вкус. Но как ни бесконечно (или мало) это пространство, а в него можно втиснуться, как в кресло, вытянуть ноги и передохнуть.

Таможенник так и сделал. Глаза внутрь повернуты, веки сведены, руки на животе, ноги — длиннее — вперед, носки врозь. И время от времени, как стрелки весов, они совершают циркульные движения, как будто кладет Таможенник внутри себя что-то на чаши весов, а ноги показывают: вес пределен или ничтожен. Грубый механизм — человеческие весы, без делений и точности. Ну да что там, во время передышки и так можно. А халат голубой в полоску и через полузакрытые веки наблюдаем зорко. В общем-то обычная жизнь, будни. Какой приготовленный к Уходу не прошел и жесточе испытаний, чтобы где-то кончиться, оборваться на одном из них. Не все и Гримеровы операции выдерживают. Но, с другой стороны, и Гримера, надо сказать, щадят, не просто испытание. Оно и подготовка.

Сегодня, если быть точным, «праздник-испытание». Ведь оно со смыслом «зачем», а не просто согнуть человека так, чтобы он сломался. Когда неважно, выдержит — не выдержит, потому что есть точка в каждом человеке, после которой он лопнет, как резиновый мяч под паровым молотком, как птица в ладони Мужа, медная труба в тисках, резина между двух проводов, — жми, дави, растягивай, и самый гибкий...

Ага, кажется, халат зашевелился. Приподнял голову. Нет, опять затих. Еще рано.

За годы работы Таможенник столько насмотрелся на этих приговоренных, что заранее мог почти точно до испытания и даже до любого момента испытания сказать, где человек кончится.

Таможенник встал, подошел к стеклу. Ему даже жалко лежащего. Слово-то какое унижительное: жалко.

А может, и не унижительное, если предположить, что там на дне он сам лежит и тихо синими в полоску рукавами покачивает?

А Гример лежит себе, не существуя, и не знает, что с сегодняшнего дня сроки Испытания вдвое сокращены. В Городе неспокойно. Торопиться пора. Это приказ.

Х

Гример не чувствовал, как подняли его, как положили на стол, как надели маску, как выкачали из него воду, приятную, теплую, примерно двадцати пяти градусов, теплоту которой он мог определить пальцами, наложили на грудь прибор, который заставил двигаться сердце, прикрыли Гримера простыней, чтобы, когда он придет в себя, не испугался и не принял ложе стола за дно аквариума.

И через каких-то четыре часа, как раз ко времени, когда Муза пошла на работу, Гример начал приходить в себя.

«Жабры болят», — пожаловался Гример для начала.

А затем еще менее понятно: когда над ним наклонились знакомые глаза Таможенника, он шевельнул плавниками и хотел встать. Но ему не дали. Нет здесь Таможенника. Это была женщина, которую он ни разу не встречал.

— Я ваш врач, — сказала она. — А вообще я Сопредседатель Комиссии.

«Сопредседатель, — неожиданно осмысленно понял Гример. — Значит, меня ведут свои. Значит, пока ничего не изменилось».

И опять пожаловался на жабры, потребовал переставить в его кабинете шкаф с инструментами справа

налево. Потому что огонь должен быть справа. А шкаф, хотя он и прозрачный, мешает огню как следует поджаривать лицо пациента. А этот пациент (операция в разгаре) не кто-нибудь, а Таможенник.

Попросил пить. Сделал глоток, тут же вырвало. Организм не принимал воду. Нельзя собаке дважды давать кусок отравленного мяса.

Пример не помнил, что с ним случилось сегодня ночью. Последнее в памяти то, как выходил он из своего прежнего кабинета. Тогда почему же Таможенник?

И память начала возвращаться к явной нелепице — сопоставлению должности Гримера и операции Таможенника. Веселое лицо Таможенника выплыло из тумана.

— Ты женщина, — сказал Гример Сопредседателю, — я тебя уже знаю.

— Конечно, — сказал Таможенник, — непременно женщина, непременно. Отличная мысль, — сказал Таможенник, — женщина. Баба, попросту говоря. — И Таможенник подмигнул ему, испуганно оглянулся. — И каждая баба, — было ясно, что Таможенник сообщает Гримеру страшную тайну, — и есть Таможенник.

И тут Гример понял окончательно, что перед ним действительно Таможенник, и с этой минуты память встала на место, как становится на место вывихнутая коленка в умелых руках врача.

— Я готов, — тут же сказал Гример и попытался встать. Он потянул, чтобы помочь себе, за край накрывавшей его простыни, простыня подалась, а Гример остался лежать. Нижний край покрывала оставился как раз на коленях.

— Конечно, готов. — Таможенник-баба ни на минуту не сомневалась в его необыкновенных способностях. Она подняла сама Гримера, поставила его на пол. И сказала: — Иди!

Гример начал падать. И вдруг телом вспомнилось ощущение, когда Гример стоял перед своим столом после Комиссии, и вдруг колени подломились, и тогда Гример засмеялся и сказал самому себе: «Не валяй дурака, ты же здоров!» Он повторил эту фразу — как и тогда, она помогла. Потому что Гример сделал шаг, придерживая покрывало, и направился к креслу. Чтобы каждый понял: он просто хочет посидеть. Так бывает в боксе после сильного удара: чтобы противник не понял, что ты не в себе, ты совершаешь с виду вполне грамотные и рассчитанные удары и даже передвигаешься, хотя голова твоя, как ядро, отлетела куда-то и там крутится вместе со всем миром. А потом, так же крутясь, как бильярдный шар, возвращается в лузу, то есть на плечи. И противник удивляется, когда ты lupишь по воздуху там, где его уже нет. И надо сказать, удивление или сочувствие к тебе часто не проходят для него без последствий. Ты уже пришел в себя, голова твоя надежно висит в сетке лузы. И ты...

Сопредседатель гуманна. Таможенник еще больше.
— Ему надо отдохнуть. Ему нужен сон.

Укол. И Гример засыпает прямо в кресле. И совершенно не слышит, как Сопредседатель рассказывает Таможеннику о своей ночи с Мужем и они оба весело ржут, ничуть этим не мешая Гримеру.

XI

А что, скажите, может помешать Гримеру, если несется он, лучшая гончая города, по кругу, длинному кругу — дорогой, лучше которой придумывай не придумаешь, то вверх она, то через канаву; то вниз, то почти как в гонках по вертикали — несясь по отвесной стене, и легок бег, и тело вытягивается, и

каждая лапа в воздухе находит опору и как весла в воде лодке помогает телу. Один прыжок. Скок. Бег. Прыжок. И неважно, что справа или слева выстрел и чья-то тень повернулась в воздухе. Там, впереди, сбоку, за поворотом — хлопок, визг, короткая схватка, дождь, дождь. А тело пластается по воздуху, кажется, больше себя Гример раза в два, кажется, вот сейчас еще увеличится, и лапы вперед, как выпущенные стрелы, летя, брюхо о воздух трется и нагревается — скорость. Скорость, и в мозгу только скорость, потому что ведомо ему условие — скорость, скорость быстрее себя, с помощью дороги, опередить свои возможности, и — ах, как просквозил воздух, и — ах, как перелетел через канаву и не заметил. Вперед, по кругу, почти все дни завертелись и слились в один прыжок, в один полет, а в голове мысль — еще быстрее, и ты выиграешь гон, еще круг. И только дна мысль — так где-то, вроде и не ее, вроде и забыл, может появиться (а может и не появиться) препятствие, сразу вот так наотмашь, поперек дороги, и тогда — стоп скорость, тогда встать, как врасти в землю, пока не снимут, ибо... но что это «ибо», что это знание, предосторожность, когда чувствует Гример, как еще усилие — и вот оно! И действительно — еще, еще, еще, рот ощерен, слюни сквозь дождь, цель — поперек, вой! вой! — труби — и уже все, уже больше, быстрее, чем задумал, плавно, еще выше и еще пронзительнее и неотвратимее — к победе! И сквозь что-то белое, легкое, возникшее нежно в лицо разом из-за поворота пролетел так, что и прыжка не почувствовал, ничего: и уж не это ли препятствие? — обрадованно засветилось все внутри, так легко и не ждал, и нет уже ничего вокруг, и все — свет, и все — полет, только свет там, позади, там где-то, а впереди остановилось все; с растопыренными лапами

и похожей на треугольник мордой — по винту оскаленной горлом наружу псиной сломанной тело, словно шкура сырая и вывернутая, шлепнулось под дождь на траву... И заскользило по инерции, не останавливаясь.

— Пора, — Таможенник Гримера за плечо трясет.

— Перестань, — Гример в ответ трет лицо руками.

И сразу — вон из памяти сон. Неужели за это время что-то произошло, произошло или нет? Отчего тело разбито? Руки? Пальцы? Легко и привычно подвижны. Значит, все в порядке. Значит, действительно ни одного волоска. Значит, позади уже часть испытания, и, может, большая... большая ли? И сразу в цепь разговора железным кольцом — щелк — узнать у Таможенника: дальше что?

— Сейчас домой или продолжим? — Какая свобода, Таможенник даже нагнулся к Гримеру, мол, как тебе угодно.

— Нет, это ты как хочешь. — Гример ощерился.

— Вообще-то это испытание легкое, может, самое легкое, — так Гример услышал Таможенника.

Ну, конечно, на легкое у него сил хватит. Он протер лицо рукой, намочив ее в воде, глаза стали видеть яснее. Руки, прикоснувшись к коже, затанцевали так, что скальпель в них и...

— Что? — Таможенник подмигнул. — Сейчас бы за работу? Будет скоро работа...

«Будет, — подумал Гример. — Что твои сомнения по сравнению с ней...» Да, Гример не в состоянии, конечно, еще воспринимать каждую интонацию Таможенника, воспринимать, сопоставлять, изучать ее, как подробную схему кровообращения тела, которую он знал наизусть и даже, пожалуй, во время испытания на сострадание даже в самый страшный момент мог себе ясно представить; он даже вспомнил, что, когда

скальпель вошел в ногу, он мысленно увидел, какие мышцы были задеты, а какие разрушены. Вот так и каждое слово и фразу он воспринимал не только как некие знаки, имеющие внешнее значение, но и как материал для ответа на множество вопросов, как знаки невидимого глаза. Сейчас он был глух, сейчас ему был доступен только этот внешний ряд знака, его первое значение. Сейчас он слышал только, что будет работа, и все тут. А в каком состоянии Таможенник, степень лжи или неточности информации, отношение Таможенника к нему в эту минуту и вообще отношения к нему, что извлек бы мгновенно Гример еще вчера из услышанного слова, были Гримеру сейчас недоступны. Хотя какое может быть отношение у Таможенника, одно дело — его отношение личное, а другое дело — рабочее. «Ого, — подумал Гример, — до анализа и знания далеко, а размышляю, кажется, вполне по-прежнему».

— Легкое, значит? Хорошо, — говорит Гример, — еще одно легкое на сегодня, я думаю, можно будет, а потом и передохнуть.

XII

Лопредседатель сажает Гримера в огромное медное кресло, крепит датчики. Это мы уже видели — обычное начало, хотя, конечно, не совсем обычное. Высокая белая комната — это обычно, но вот медное кресло с высокой спинкой — это в первый раз, и, смотри, сходится, как в театре, занавес почти перед самым носом Гримера. Опять он оказывается один. Яркий свет. «А ведь испугался, признайся, когда зашуршало, а вдруг опять стекло, к стеклу уже внутри ненависть. Но не о пустяках надо думать. Ведь повто-

ры, наверное, возможны, но на другом уровне. Ну ничего, сядем поудобнее».

Ага, значит, Таможенника и Сопредседателя нет. Значит, мы одни. Хотя почему нет? Если я не вижу, это же не значит, что нет. Мысли! Мысли! Рассуждай. Ага, модель такая. Если меня не будет, во мне не будет всего того, что меня окружает, а если не будет во мне, следовательно... Судя по технике мысли, шок явно еще не прошел, но, с другой стороны, уже могу думать о невозможности полного восприятия и анализа информации Таможенника. А как сейчас мозг? Лучше... Кажется, уже начинает двигаться, как машина с нуля, как камень в пропасть, как собака из-под колеса. Руки? Пошевели пальцами, приклеенными каждый своим широким медным кольцом к подлокотнику, широким настолько, что пошевелить можно. Не так-то просто. Почувствовал Гример, как с некоторым трудом пальцы от меди отошли. Не от усталости или судороги. Внутри он ощущал свои пальцы даже как в лучшие свои операции. Неужели вот это все, что он прошел, может помочь и даже подготовить в какой-то степени к большим нагрузкам? Может, действительно мудра очередность испытания, может, действительно Таможенник сам зависит от этого испытания? Стоп. Собака всеми лапами уперлась в песок. Затормозил. Между пальцами медь, забегали голубые маленькие искры. Пальцы оторвались и от поверхности подлокотников, и тут же их отбросило от внутренней поверхности колеса. Какая-то пружина перекатилась из пальцев и в плечо ударила. Плечо вздулось. Больно. Гример поморщился, — пожалуй, первый раз больно снаружи. Никакой реакции, все-таки больно — это легче, чем сострадание. Надо сказать, испытывать боль самому удобно, потому что потом, чиня ее пациентам, ты за-

щищен от сострадания своей болью. А в данном случае ее можно воспринимать как расплату за причиненную боль. И это тоже справедливо, он вспомнил почему-то, что операции, даже имеющим Имя, проводились почти без обезболивателей, чтобы ценимеей были результаты, половину второй, заключительной части операции лицо уже воспринимало боль. Наверное, это действительно больно; интересно, какую степень боли выдержит он сам, всю свою жизнь только и занимавшийся причинением боли во имя возвышения пациента. В общем-то, почти каждый из них, получивших имя или высокий номер, или особенно те, у кого лицо по природе своей то есть главному признаку, было мало похоже на Образец, кое-что имели в голове, например волю, но им нужно было иметь тело, которое бы выдержало не одну операцию Подобия, и ведь были же люди, которые делали их почти постоянно во имя перемещения вверх... Бррр... Рядом с ними что его, Гримера, боль! — шершавый острый камень перекатился из плеча в живот. «А-а-а-а-а, — но это где-то закричало внутри Гримера. А снаружи ничего — он даже скудно улыбнулся. — Не могу, — выло внутри, потому что этот камень, а может, просто ком битых стекол завертелся еще сильнее, — выше боль, горло, глаза, мозг... — Не могу больше, глаза — я хочу, чтобы были глаза... — А внешне — еще слой мыслей, связанных с воем и болью, кровью, даже кровь течет с каждого слова, а все-таки боль самое простое, что придумали люди и что происходит в этом испытании, но уже верхний слой пропитался кровью, в нижний перетек, и там все воет, а другие мысли над ними, это еще не все, еще возможно, возможно. Мы все уже имели Имя, возможно, мы будем иметь, возможно, на ладонях выступает пот, когда хочется слушать музыку, но больше

не обманешь ее, не заговоришь бредом, она настигла, и стекло взорвалось и каждый осколок внутри, но, слава Богу, мгновенье — и он вылетел наружу. Вон он стены качает, стены то больше, то меньше, как маятник, листок бумаги на столе — то ростом в дворец, то в пылинку, и сердце качается рядом с ним, и туда осколки, и туда. — Муза-а-а... Я не качаюсь, это качается только стекло, глаза не качаются. Кричит, нет? А, уже закричал, ты напрасно думаешь, что я не закричал, я же могу кричать внутри. Ну вот здесь, возле горла, ну хорошо, на языке, мокрый, бесперый птенчик, но это же птица, сожми ее, Муза, попроси, Муза, попроси скорей, если не можешь сама. Пусть сожмет, пусть удержит, пусть раздавит мой крик, пусть все будет мокрым от крови, только останови эти стены, я не могу, чтоб нога стала такой огромной, чтобы она наступила на самого себя, я не хочу быть раздавленным собственной ногой, о, я хрущу уже костями, да останови птицу, этот осколок, это просто кровь и... А я думал, что я не выдержал, я думал, что не выдержал, зашлись, захлебнулись стены, и маленькие и большие, и листок, и нога повернулась на нем, и голова щелкнула под ногой как орех, когда у меня были такие тяжелые ноги, надо же, шел сюда я так легко.

Надо же, шел, а теперь сижу, сам сижу, где-то вот здесь около горла последний осколок застрял, его надо выплюнуть, и все, и уже можно открыть глаза. Что еще? Что-то боли нет. А пальцы не болят. Их просто трясет. Жалко, что нет головы. И все же раздавленная голова менее важна, чем пальцы. Какое счастье, что пальцы не попали под ноги и не щелкнули, они бы, наверное, не так щелкнули, они бы тише. Приди потом к Музе, а она и не поймет, что у тебя были красивые тонкие пальцы, пришлось бы не ходить. А интересно,

раздавленная голова говорит «о», как «і». И «ф» тоже как «й», и все звуки, как машина под прессом, с боку — «і». И глаза все видят иначе — дом как бумагу, а бумагу как... и не видят вовсе. Голубые искры без боли — это даже красиво, это даже в какой-то степени полезно. Хотя «полезно» — и это испытание, это испытание, — стоп, а ты говорил: мысли в крови. Это испытание в крови, и оно уже кончилось. Тебе же обещали, что оно легкое, вот оно и действительно легкое. Ах, дурачок, а ты к нему так отнесся напряженно, как будто не будет вещей более тяжелых, как будто вот сейчас все кончится и больше ничего не будет. Будет. И никогда не кончится. Испытание это вечно, так как же работа. Постой, испытание для работы? Да! Вечно?» Рассуждение попало в слой, который содержал знание, что это еще не боль, и мысль о крови; как будто тряпку, выжал сам себя и стал розовым, — конечно, дурак, сначала испытание, потом работа. Потом работа. Испытание для работы.

XIII

— Ты хорошо выглядишь.
 Пример не заметил, как разошелся занавес. Не заметил? А листок бумаги вздрагивает, вон он еще неподвижен, но уже полуспокоен.

— Прошли твои четыре часа, и ты выглядишь просто молодцом. Правда, — Таможенник покачал головой, поджав губы, — надо сказать, ты опустился до нижнего предела нормы. Единственное, что тебя в какой-то степени уравнивает, это то, что ты сам вышел из испытания, этого даже у тебя ни разу не получалось. Так ты говорил, что готов к следующему, осталось всего...

— Я хочу домой.

— Домой? Послушай, никакой речи не может быть о доме, все мы торопимся, и всем хочется закончить это. Потом я скажу тебе по дружбе.

— По дружбе, — Гример тяжело, как будто мертвый улыбнулся, — по дружбе, может, ты по дружбе сядешь на мое место?

И объяснил ему Таможенник, как ребенку, что, садись он не садись, от этого ничего не изменится, потому что работать должен Гример, а не Таможенник. С его способностями и профессией Таможенника ему следует заниматься своими делами, и что если уж Гримера так волнует, получил ли он дозу этих веселых приятностей, то, разумеется, получил! И неизвестно, чьи показатели выше, хотя, конечно, это было несколько иное испытание и оно имело, конечно, психологический характер, но неизвестно, какая боль еще больнее — нравственная или физическая, и он, Таможенник, не понимает, да-да, не понимает ни тона, ни предложения Гримера; а если завтра случится так, что он сможет помочь Гримеру и заменить его собой в одном из таких испытаний, он, Таможенник (Таможенник выпрямился и стал на глазах каким-то неузнаваемым), сядет в это кресло — и тут же засмеялся: шучу, шучу. Не сяду, разве что во имя дружбы... Ну видишь, какую сцену разыграть, ну дурачусь, а ты обрати внимание при всем этом, что Таможенник торчит около Гримера уже который день и не собирается уходить, а у него, у Таможенника, в обычное-то время, между прочим, ой сколько забот. А он не собирается уходить и все испытание пробудет с ним, Гримером, а между прочим, среди тех, кого испытывали на предел и благодаря которым еще и сейчас может Гример беседовать с ним, Таможенником, и проситься домой, не ду-

мая, сколько в его сегодняшнюю удачу и спасение чужих жизней всобачено, — так вот, среди тех, уже не существующих, был настоящий друг — да-да, друг его, Таможенника, которому он обязан и этим лицом (палец Таможенника осторожно ткнулся чуть пониже правого глаза в щеку), и Именем. И он, Таможенник, уже гораздо больше обязан своему ругу в жизни, чем Гример, и ему было бы нужно быть там: где последние секунды еще жил его друг, и пусть не прекратит испытание, но хотя бы в последнее мгновенье подержать его взглядом, но!.. Он остался именно с Гримером, и не потому, что ему Гример дороже друга, а потому что ему дороже истина, а истина сегодня и Гример — одно и то же. И он, может, переживает в душе не меньше, чем любой человек, он в душе тоже, может, еще человек.

Таможенник опять опустил вниз глаза и уголки губ и как поросенок хрюкнул, и у него сползла одна слеза по щеке и упала на пол. «Странно, — подумал Гример. — Упала на пол и ничего не прожгла». Голубые искры опять тронули его руку. Он даже не дернулся.

— Опять мозги заговариваешь.

— Просто надо спешить. — Таможенник высушил глаза, ибо в эту минуту снизу глаза вздувались, очередная капля пропала, как будто вода в унитазе.

— Я хочу домой...

Сопредседатель как-то очень уж прижалась к Гримеру, отстегнула датчик. Гример встал сам, и почувствовал себя бесконечно легким, и, наверное, мог бы сейчас взлететь — тела не было. Он опустил правую ногу, которой раздавил сам себя, покривился своей мысли, нога дрожала, вторая дрожала тоже, но была легка, как нога после перелома по снятии гипса, легка по сравнению со второй.

— Отведи меня домой...

Таможенник махнул рукой. Сопредседатель принесла плащи себе и Гримеру.

И тут выключилось сознание. А когда Гример пришел в себя, то увидел, что лежит в незнакомой комнате, напротив в кресле сидит Сопредседатель и смотрит на него. На ней только халат. Он смотрит на нее, потом на себя...

— Между нами это было? — полуспрашивает-полуутверждает Гример.

Она качает головой:

— В таком состоянии, как ты, умирают, а не спят.

Тогда Гример пробует натянуть на себя покрывало, с ее помощью это получается.

— Конечно, если бы было, то ты сейчас не натягивал одеяло.

— Не натягивал одеяло, — говорит Гример, — а ты застегнись и закрой свои ноги.

— Можно подумать, что я тебя возбуждаю. На Комиссии мне каждая твоя пациентка рассказывала, что когда ты своей грудью наваливаешься на столе на нее, то она начинает сходить с ума и, мол, не надо никакого наркотика, а ты всегда ведешь себя как бревно.

— Ты думаешь, я это знаю хуже тебя? Но когда баба возбуждена, она забывает о боли и не мешает работать.

— Я бы тебе тоже не мешала, — она сбрасывает халат на пол. Тот ложится около ног, и кажется, что она не стоит на полу, а приподнялась над ним, и держится в воздухе, и может улететь совсем, и ее надо держать.

— Чтобы любить, я должен любить.

— Ты хорошо устроился, жирно живешь, я, к сожалению, максимум, на что могу рассчитывать, — это спать, чтобы спать. Прости, — она опускается на пол,

накидывает халат, застегивает его. — Я просто не знала, что душа твоя так чиста и целомудренна; она похожа на козий помет, пролежавший на солнце неделю, на нож, с которого вытерли кровь зарезанного, на плевок, размазанный по лицу. Жирная мразь, у которой все благополучно и которая, видите ли, только любя, и при этом необыкновенно позволит себе склонять свой лик над запрокинутой рожей. Что ты знаешь о нас, которые вертятся ночью, после дневного кошмара, когда перед тобой дергаются души, тела, выступает пена на губах, ломаются руки, слезы и кровь вытекают вместе с глазами и падают в темноте на твои глаза, затекают в твой рот, ползут по животу, по рукам, и ты дергаешься вместе с ними, и так не день, не час, не ночь, а жизнь, а в это время ты регулярно колышешь своим отрегулированным позвоночником, — живи и дальше в своей убудочной святости. Жалко, что тебя надо беречь, я бы сама первая не в Сто пятую, а в тебя своей рукой медленно, как нож в резиновый шар, всунула какой-нибудь ржавый кусок железа и повернула там двумя руками, и чтобы захлюпала из тебя хоть раз кровь и жизнь и умирал ты медленно — какдохнут недобитые и брошенные, не могущие ничего изменить. — И в это время ее глаза стали больше, потом они завертелись, как будто кто-то закрутил факелом перед носом, и запахло жженой шерстью и паленым мясом...

Гримера бьет дрожь, возвращается боль, стекла вылетают из кожи, и они царапают руку, схватившую за сердце, пол перевернулся, за ним земля — и вот Гример падает вверх, хватается за дверную ручку, и страх, что он сорвется, охватывает его. И Гример что есть силы рвет ручку на себя, руки отрываются...

Покрывало скинуто. Она лежит рядом.

— Если бы ты знал, какое ты чудо... Если бы ты знал, какое ты чудо, — и плачет Сопредседатель, и плачет, и гладит Гримера своими сильными чуткими пальцами.

И опять куда-то летит Гример, чтобы прийти в себя уже на своей кровати и не понимать, было что или не было. Наверное, все же не было. Потому что он же одет и лежит здесь, в своей кровати. Еще нет Музы. Она на работе. А откуда он узнал, что на работе. А откуда он узнал, что Она на работе... Это спрашивают у него по очереди стоящие над ним и Муж, и Жена, и Таможенник и Сопредседатель, и Председатель укоризненно спрашивает:

— А откуда ты узнал, что она еще на работе...

— Не знаю, — совершенно искренне признается Гример, — понятия не имею. Знаю, что... — Стоп, стоп, стоп. А испытание? Ведь ему ничего не сказали о результате? Он возвращается сам в кабинет. С трудом ориентируясь, находит дверь, в которую он входит первый раз. Там тишина и никого. Нет, из-за занавеса, белого занавеса, появляется женщина. Она знает, конечно, зачем он пришел. Она просит его успокоиться. Она сейчас все скажет. Ее предупредили, что он обязательно вернется. Испытание прошло в пределах нормы, но закончилось самостоятельным возвращением в сознание, но что это он уже знает, потому что ему это уже сказали. И Гример удивляется, откуда она это знает так хорошо. Может, ему действительно все уже сказали, сказали, например, и то, что Муза еще на работе.

— А вас не предупредили, где я был после лаборатории, дома, у себя или не у себя... — И смотрит Гример на лицо, как будто камень в воду бросил — будут круги или нет. А бросил в болото — не будут. Ни одного круга. Ни одного лишнего звука.

- Дома.
- Слава Богу.

Он ей верит, но это, может быть, потому, что ему хочется ей верить. Ладно. Выдержал — это важнее. Не затем он на свет Божий явился, чтобы думать — было с этой или не было. Выдержал, вот — истина. А почему выдержал? — это сейчас не по уму, а и по уму бы было — душа иначе болит. Иначе? Подожди, какие у тебя данные, что было? Воспоминание. А почему это не сон? Ну снимала датчики, ну прислонилась сильнее, чем обычно, а может, и это выдумал и все-таки остальное тоже сон. А возможен и другой вариант? Возможен. Качается стена. Качается. Упаси Бог чего-либо не знать. А зачем? Только затем, чтобы знать, что есть и было на самом деле.

XIV

А Сопредседатель и Мужа к себе сегодня не пустила. А Муза пришла чуть позже, чем обычно. Одно событие к другому никакого отношения не имеет. Гример тоже пришел домой в сопровождении лаборантки. С трудом. И сразу лег, и опять полубред. Полу-сон. Муза ходит тихо, смотрит на него как-то иначе.

Может, бросить все, думает Гример. Вернуться из Великих в свое прежнее имя. Нет уж, раз покатился. Посреди горы обруч не остановишь. Ну, может, и остановишь, а гору другую можно выбрать. Вот и выбери. А для меня это не просто гора. А единственная гора. Затем и жить начал. И сразу никакого бреда.

— Не хочу я ничего другого, — лицо злобное, жесткое, сухое... Никогда не кричал Гример.

— Тише, тише. — Муза останавливает его. — Я не спорю с тобой. Ты же сам говорил, кому плохо, тот и

прав. Тебе — плохо. Это главное. И все мерить надо этим главным. Еще тем, что позади семнадцать прожитых вместе лет. И то, что сейчас плохо, — это на одной чаше весов, а на другой — семнадцать лет. Или наоборот — на одной хорошо, а на другой семнадцать лет, и то, что тяжелее, главнее, вечнее — то истина. И любое слово ничего не значит, если оно меньше жизни и случайнее ее.

И Гример успокаивается, затихает и забывает, что вот секунду назад лицо было не Гримерово, и кричал не он, и мысли его были не Гримеровы, но уже раскучерчен мозг и нуждается в движении, и начинает он думать про себя и про их семнадцать лет, раз уж они попали в мысль и торчат там посредине, как стена перед глазами, как ров широченный перед лошадью, как огонь перед бабочкой, и, остановившись перед этой стеной, на одном месте крутятся мысли Гримера, как колеса попавшего в грязь грузовика, и подводи итоги — перерыв — подводи итоги — опять перерыв и снова газ — и комья грязи летят из-под колес, и все глубже садится машина, и почти не видно внутри вращающихся рубчатых дисков, и почти не летят комья грязи, и кажется, что неподвижна машина, а у нее внутри все гудит и крутится, и больше уходит сил, чем во время самой большой скорости. Однако ни с места — и такая трата сил, и крутятся на одном месте мысли...

XV

... **М**уза, ты была верна мне, когда у меня не было ничего. Ни мастерства, ни опыта, умения работать, когда я был учеником и пытался научиться тому, чему научиться нельзя. Тогда ты го-

ворила мне, что была права и не надо было учиться. И я научился тому, чему было научиться нельзя, и ты сказала, что раньше была не права. Ты была мне верна, когда я забывал тебя, когда я перестал думать, что живу, служа тебе, что все делаемое мною — только для тебя, не для людей, не во имя придуманной мной идеи, не во имя спасения этих человеков. Я убил в себе себя, чтобы служить тебе, но это стало не сразу. Ты была мне верна, когда я заблуждался, что люди воистину нуждаются в помощи, люди воистину ждут явления того, кто спасет их, и они верят, что есть на земле то, что может однажды изменить жизнь каждого. Пока я не понял, что они своим вчерашним опытом заблуждения уже не в состоянии снова верить даже истине! Они правы, убить можно многих и многое, а в воскресенье можно поверить только один раз, и оно было, и они уже не верят в него. Что же делать, спросил я себя. Раз люди не нуждаются в тебе, раз ты сам не веришь в то, что можешь помочь им, или веришь, что это поможет только на некий срок — два тысячелетия или столетие, и потом опять окажется все заблуждением. И ты придумал маленькую смешную идейку, упрятав главное в себе и уже не надеясь открыть ее человекам, стал служить тебе, Муза. Может быть, видя тебя, люди что-то поймут, может быть, один счастливый человек — это больше, чем слова о счастье, может быть, один человек, обретший покой, — это больше, чем слова о покое; и стал я думать, что это и есть истина. Будь мне верна, моя Муза, иначе как помогу людям, не тобой ли спасу человеков!..

Пример говорил это Музе, потому что происходящее с ним сегодня делало его похожим на зверя, перед которым обнажены все ямы с воткнутыми вниз кольями, капканами с распахнутыми и разведенными железны-

ми челюстями, самострелы, нацеленные в морду, петли, как змеи, свернувшиеся в траве. Да, это все видимо, это все отдельно — и обходимо и преодолимо. Но беда, что это и есть дорога, и нету зверю возможности по воздуху перелететь ее, и все, что он может, — крикнуть идущим вслед: «Поверните назад, валите деревья, но не идите за мной», — и еще может встать на пути вслед идущих и драться с ними, чтобы свернули они с дороги, потому что им еще не открыты ни голодные ямы, ни радужные самострелы. Гример открывал это Музе, ибо завтра он мог уже не сказать то, что говорил самому себе, и то, отчего плакал, как плачут связанные люди над ребенком, которого терзает собака, ахватило б пинка, чтобы она уползла, ощерясь своей бешеной мордой. Любой день, а значит, и любое испытание властны были и над ним. Все эти бесконечные будни, что тянули его, как тянут живую птицу голодные волки, трещит позвоночник, летят перья и вот-вот оторванная голова закроет пеленой глаза за сомкнутой челюстью, а тело еще хлопнет пару раз крыльями и затихнет в зубах. Но ведь жив пока, жив, и позади уже столько! Да не столько позади, просто кусок жизни, обычной или почти обычной для жителя Города. А может, и не птица, а червь, которого насадили на крючок и который корчится не оттого, что внутри жало, а вроде бы как от заботы о человечестве, понимая его муки, что, мол, человечество само корчится на изогнутом стержне, да еще видит, как мучит себе подобного — тем, что корчится сам, и еще тем, что само человечество... И смешались мысли, как стадо мчащихся овец перед пропастью, задние напирают, а впереди пустота, и все же осилили те, что впереди, кому некуда идти, на краю пропасти, и повернули, и вдоль с той же скоростью, в риске каждый шаг сорваться туда, вниз.

Конечно, не птица, и не на зубах, которые сейчас сомкнутся, а червь, червь, гладкий, юркий, послушный урод, которого если разодрать, то испачкаешь в дерьме руки, это огромное белое, жирное, упругое тело разодрать от кончика головы до кончика хвоста, хотя как понять, где хвост или голова, не пригибаясь к этому огромному туловищу, чтобы оно или сдохло, или же само освободило себя. Дефективный лепет о Музе — каждый день электрический стул, каждый день нечем дышать, каждый день на твоих глазах скальпель в глаз, так что кровь бельмом наружу. Как гейзер, как нефть из-под земли, в твое лицо, в твои глаза. Ах, не видишь, и опять пойдешь на электрический стул, потому что, видите ли, ты осенен идеей создания нового лица, которое спасет мир. Ложь. Фарисейство, и ты знаешь это. За ноги Музу — трахни ее головой о стенку. И об эту же стенку свою голову, чтобы мозги по ней, красивее всех мраморов, ведь мозги прекрасны, это звездные миры, если смотреть на них в огромные линзы. Где же ты, Спаситель, защити червяка, сними его, бережно уложи в постель, скажи, что я заблуждаюсь и что я ничего не понимаю в боли, она благородна, и что всегда так было и ничего другого не будет. А будет только вот этот огонь, вот это с изогнутым великолепным жалом и вот эта рыба, которая проглотит это жало, думая проглотить червяка, потом человек вырвет жало и съест рыбу, а остатки раздаст и накормит человечество, а оно в благодарность распнет его, вознеся над собой, и будет спасаться своим грехом. Червь. Крючок. Рыба. Человек. Распятие и опять червь. Вот и вся история, и ничего другого не было, слышишь, ты, червь, похожий на Гримера, как дождь похож на воду, как море похоже на воду, как капающая с крыши сосулька похожа на воду... Как кипяток похож на воду. О Господи... К чему все эти страсти, если скоро утро и

опять испытание... И ничего не изменится ни в чьей душе, разве что станет чуть добрее жизнь к другому, думай, думай так... дурачок, тебе ведь тоже нужен крючок, можно подумать, что ты другой...

XVI

И опять успокоила его Муза, ибо говоримое им просто усталость и необходимость исповеди, необходимость выплакаться, выкричаться, необходимость освобождения и не только эта правда есть в человеке, а есть работа, есть ее верность, и есть завтра, когда можно будет сделать то, для чего торил и вел путь свой Гример, и пусть пока не делал он этого, и пусть время предложит форму существующего в нем, Гримере, а может, не случится и этого, но на сегодняшний день она, Муза, с ним, и на сегодняшний день она верит, что не зря появился он на свет божий и не зря судьба свела их вместе. Муза говорит так, что можно не отвечать ей и можно закрыть глаза и послушать ее, успокаивая свой раскрученный мозг, и он останавливается медленно, как волчок, в котором кончается движение, как овцы, в которых неожиданно кончился бег. И Гример, обняв Музу и повернув ее к себе спиной, начинает засыпать.

XVII

Пустынны улицы в этот час, как будто смыл дождь живые души, и гулок каждый шаг, как удар колокола, и цокают по граниту медные подковки, и звенит гранит, но это внутри, а снаружи — дождь, все звонче, не успеешь голову поднять — хрясь по камню и смывает в поток. Ах, дожди последних перемен глу-

ше, плотнее — душнее дышать. Никогда Таможенник не чувствовал, что просто идти и дышать тяжело, а теперь слышит это в себе. Сколько раз ночами, после того как Таможенником стал, бабу свою, пару свою, через Испытание и на Уход провел, чтобы не зависеть от людей и не быть ею слабым, чтобы не мешала ему по ночам метаться по кровати (а это пришло с Именем — кричать, задышаться во сне и просыпаться от собственного крика), — проснулся тихо, и никого, перед кем объяснять что-то, что ни объяснять, ни не объяснить нельзя; сколько раз ночами бродил вот так по этим улицам, но, кажется, тогда дожди на ней были тише. А может, внутри спокойней и проще, и слышнее звук шагов в ночи, и отдыхал Таможенник, один во всем городе имеющий право ходить по улицам, когда ему в голову это взбредет.

Жил человек, и первую половину жизни своей приходил, когда счастлив был, в комнату в доме, и оставался, пока покой и нежность в душе его не истаивали, не вытекали наружу, не оседали на стенах комнаты, и была она удобна, прекрасна и тиха. А потом во вторую половину жизни приходил он сюда же, когда тяжело и трудно было человеку, и лечила его комната и отдавала взятое на время, возвращала и спасала его. Так и Таможенник ночами этими утишал и утешал себя, — а тут нашла коса на камень. Нет покоя в ночном Городе, и дождь, и тишина, и шаги — все как раньше, а нет покоя. Все после Выбора иначе к нему повернулось, словно нарушил он какое-то равновесие, а где и чем — понять не может. Зайти к кому-нибудь к своим старым знакомым, разбудить, из тех, что еще уцелели, какую-нибудь Сто вторую, прижаться к ней и заснуть? И увидеть, как камень точильный начинает вращать колесо, искры летят из-под ножа, все больше их, сейчас кон-

чится сталь и бессмысленно завертится камень, но устала рука, камень — пополам, и нож в сторону. И дождь гасит сталь, и шипит она, и покрывается синевой, и камень ногой в воду, и поток унесет его обломки... И пусто на душе и мертво...

Не надо никуда идти, чтобы не испытывать даже минутной зависимости от своей тоски и своей человеческой прошлой тяги к живому. И вернулся дождя шум, по плащу забарабанил словно в дверь, еще сильнее и громче, и больше, и какая дождь разница, был ли плащ на Таможеннике и самый ли первый он в Городе, зависит ли от него каждый живущий в нем, — лупит по спине, по лицу, равнодушно огибая тело, так же равнодушно, как стены домов, дворца, стены каналов, льется в них и через город, туда, за его пределы; зелена вода и желта. Таможенник сунул руку свою в воду, и она ожгла руку. Конечно, столько работы. Полны каналы. Почти до края вода вровень с тротуаром бежит. А впереди работы еще больше.

Комиссия работает круглые сутки. Лаборантка руку в раствор опустила, боль утихла. Успокоился и Таможенник, в чем-то вот такая боль удобна, отвлекает, пожалуй, даже больше, чем баба. Таможенник встал, положил свою руку за спину Пятьдесят пятой, руку, которая ручку точила держала, вспомнил, хмыкнул; та стоит перед ним — его до кончиков пальцев и по службе, и по дружбе, — и не знает, что делать; иногда Таможенник ее погладит, а иногда посмотрит, ухмыльнется и ударит наотмашь — не сильно, чтобы не упала... Вот и стоит она, не зная, что сегодня. А ничего, не ударил, не погладил, только рот в ухмылке, как заржавленные двери, в разные стороны пополз — иди. И опять в кресло — додремать до утра, благо час до начала очередного Гримерова испытания и остался.

XVIII

За час до испытания спит Гример, и снится ему, что не может он проснуться, и мучается, и стучится в дверь, и бьется головой, потому что ему надо проснуться и что он только на мгновение забыл, как это делается, но сейчас вспомнит, и что это он от сопротивления жизни забыл все. А ему надо, обязательно надо, потому что он может опоздать на Комиссию, и не успеет пройти испытание, и никогда не узнает, что же будет дальше. А Муза уже проснулась и вскочила, смотрит на него, как бьется он, пытаясь проснуться, и будит, и его по щекам бьет, и воду льет, и уже пришли за ним, и еще больше навстречу Музе Гример рвется из сна. Уже вдвоем с пришедшим трясет Муза Гримера. Только бы не это, только бы не заболел Гример сном, и тогда все, все, все зря — и она, и удача, и жизнь, только бы не заболел. Стоит Муза на коленях перед ним и плачет, и уже хрипит Гример, уже сам крутится, как перерезанный пополам червь, как будто вот-вот срастется, все сильнее судорога, — вон из того проклятого сна! — и ничего не может сделать. Только извивается весь, там, внутри и снаружи... И остановилась Муза, и вытерла глаза, и выгнала пришедшего за Гримером. Легла к примеру, и обняла его крепко, и сначала вместе с ним стала извиваться на полу, а потом одолела, незаметно, незаметно утихли они. И стала целовать его, когда остановилось тело его, и стала гладить его, как часто Гример гладил ее, стала говорить ему, как Гример говорил ей свои непонятные речи.

«Если ты сам стоишь у себя на дороге — брось свое тело собакам — им будет кстати кусок добровольного мяса.

А сам — иди дальше...

Если дорога упрется в стену, не спорь со стеной, разбей равнодушно тело о камень.

А сам — иди дальше.

Если земля развалится под ногами и ветер рассеет твоё разбитое тело вместе с землею, смиришься перед этой силой.

А сам — иди дальше.

Если ты сам стоишь у себя на дороге...»

И услышал Гример знакомые речи, которые криво протиснулись в сон и, перепутав смысл, улеглись в голове, как собака, нашедшая дом, как кошка после мартовской долгой отлучки.

И очнулся Гример, и понял, что дверь перед ним не дверь, а стенка, что всего лишь похожа на дверь, но что и не надо толкать плечом, биться головой, а просто сделать шаг вправо или влево или повернуться назад, и ты свободен. И увидел Гример, что не один стоит перед куском стены, принимаемой за дверь, и крикнул он: отойдите, рядом выход. И никто не послушал его, потому что глухи были люди.

— Да посмотрите, это же стена! — крикнул он второй раз, и стал оттащить стоящих вблизи его, и увидел, как стоящие уцепились каждый за свою дверь, потому что боялись пустоты и свободы, и не смог Гример оторвать их, и когда отошел он, глухие удары плечом услышал Гример. Вот так же и он, ничего не видя, бился бы в стену всю жизнь, если бы не Муза. И он сделал шаг в сторону.

На пять минут опоздал Гример на работу. Но разве кто заметил ему этот пустык, который другому мог стоить Ухода. Только когда пришел, Таможенника бил дрожь. Таможенник спешил. Таможенник знал то, что не знали другие. Срок знал Таможенник, и он истекал завтра.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОПЕРАЦИЯ

I

Завтра — это еще роскошь. Завтра — это еще целый день и целая ночь, жизнь прожить можно до завтра, и умереть успеть можно до завтра. Но, с другой стороны, как ни много в один день навалится, а проходит же он, а позади столько сделано, что иному на его век бы хватило. Только не думай, что если времени мало, что-то скомкать, что-то пропустить можно, никому потом не объяснишь, строя дом, что времени на крышу не хватало. Люди жить должны, а ты спи не спи, выложись весь на этот дом и истрать себя, хоть всю свою жизнь, а дом подай и с крышей, и в срок, чтобы двери не скрипели, спящих не будили, чтобы крепко спали спящие. А дождь себе шел и шел, и сухо было бы над головой хотя бы в твоём доме.

Успели Гример и Таможенник, не скомкали, всё прошли, один — другим прошел, а другой сам. Все, что живого в Гримере еще было, как собака языком слизала, стоит он — глаза ясные, спокойные, руки точные, больше не дрожат, вверху свет, в руках скальпель не шелохнется, как будто не в пальцах, а в тисках зажат, а тиски с верстаком заодно, а верстак в землю врос и с ней крутится.

Лежит перед Гримером Стоящий-над-всеми. На столе. Тело по грудь белой тканью от глаз спрятано,

видна только голова. Какая она, на самом деле неизвестно, не с чем сравнивать — ни головы, ни лица такого Гример отродясь не видел. Только кажется ему, что огромней она любой человеческой, а вот лицо и сравнить не с чем, не лицо это вовсе, а только материал для лица, вздувшийся, вспухший, как будто не операцию ему делать надо, а заново сотворить. Случись это до испытания, — от одного своего воображения сошел бы с ума Гример, вцепился бы в подобие двери, и никакими силами от нее и Музе бы не оторвать Гримера, а теперь, положи перед ним Бога, поднимет скальпель и как машина необходимое и возможное от «а» до «я» прочертит. Но решимость решимостью, готовность готовностью, а нет знания, и поэтому осторожен Гример.

Надрез — сверху. Медленно. Неглубоко. Что за черт, одну линию провел, всего два квадрата кожи снял, а материал для лица уже иным ему видим, что-то неуловимое, но знакомое мелькнуло. Голову Гример наклонил пониже, и опять все пропало. Еще надрез, там бы, где глазу быть, квадрат вверх — и надо же, под скальпелем роговица провиделась и опять, когда лезвие вынул, сжалась. Осторожно. Еще осторожнее. Пинцет. Надрез. Угол приподнят; так и есть, роговица. Очень хорошо, теперь следующий квадрат, чуть выше, — довольно. Это уже веко. Теперь квадрат ниже. Нету Гримера — весь он на кончике лезвия. Надо же, с первого раза угадал око. Вот это удача. Спокойно. Щель на лице открылась, и Гримеру показалось, что наружу вышли слова — какие они? Он не узнал, но смысл их был понятен ему. Необходим перерыв. Гримеру казалось, что он только начал, и мог работать не останавливаясь, и мог сделать сейчас, в следующую минуту что-то важное, главное. Но здесь Лежащий перед ним остался Стоящим-над-ним, даже

в эту минуту. Гример отошел, положил бережно скальпель. Попытался вспомнить — что же за слова услышал он, и не вспомнил ни одного. И тут же почувствовал, что устал, что не прошел еще вчерашний день, что физически он перешел его границу, а душа, мысли, состояние, ощущение еще там, где сегодня наступит только завтра, и только завтра он возьмет скальпель в руки, и приблизится к Стоящему-над-ним, и сделает первый надрез. Живешь там, где тебе больнее, главнее жить, где важнее, а снаружи — там, где ты ходишь, где работаешь, где разговариваешь, где связан обязанностями, заботами с целым миром. Сидит Гример в кресле, ноги вытянул, носки врозь, как стрелки весов, — то сходятся, то расходятся. И лицо спокойно, и руки неподвижны, а ощущение там, во вчера, которое на самом деле и есть — сегодня.

II

Шел дождь, и было бесконечным поле, пустое, как мраморная стена, и не было видно линии горизонта, и не сразу понял Гример, что не знает, куда идти, и что ему нечем укрыть тело, и что ему нечего есть, а он голоден. Сначала было ощущение, что тело иначе чувствует дождь, что пальцы перестали ощущать воду и влагу, а ноги с трудом подпирают тело и оно тяжело для них, — так, бывает, человек, взявший непомерную ношу на плечи свои, идет на подгибающихся ногах и понимает: еще несколько метров, и все, придется опустить эту ношу, а вокруг никого нет, чтобы помочь потом поднять ее на плечи, а ноша эта — жизнь. Но большая часть дороги позади, здесь было чем дышать, здесь никто не мешал ему, и впереди была работа и Муза. И опять бесконечно тащился Гример,

без дороги, поперек поля, вперед. Но всему бывает конец, и силам, и желанию, и пределу. Даже те, кто заигрывается, повиснув над пропастью, сначала на двух руках, чтобы удивить своим бесстрашием сопутствующих им, потом — на одной, а потом, убирая один за другим четыре пальца, доходят до рубежа, после которого нету сил пальцы вернуть на шершавое тепло камня, и они летят вниз, в мгновение между ощущением лихой безопасности и падением осознавая свое величие и бессмертие. Но Гример не заигрывался, поэтому одна рука, державшая добровольно тело, продолжала служить ему, когда, лежа на раскисшей, пропитанной водой и грязью, недавно вспаханной земле, он приподнялся чтобы посмотреть теперь уже не вперед, а вокруг себя. И увидел, что не один он: женщины, дети, старики и мужчины, телами похожие на детей, и одинаково иссохши были лица их, и одинаково голодны и незащитны были глаза их, копошились возле, в этом черном месиве. И они узнали Гримера и сползли к нему. И ближе всех подползла старуха, посмотрела на него своими мертвыми, незрячими бельмами, обшарила его своими мертвыми, холодными пальцами, подняла бельма к небу и сказала равнодушно: «Это Он». И все обрадовались, как может обрадоваться человек с распоротым животом, когда ему показали его здорового розовотелого ребенка... И опять закопошилось поле, и вот около Гримера оказался старик, и он протянул ему завязанный в грязный лоскут хлеб и кусок нежно-розового мяса.

— На, ешь, — сказал старик, — мы ждали тебя, мы верили в тебя, и ты пришел к нам.

И посмотрел вокруг Гример, и увидел безумные детские глаза, которые смотрели на хлеб и на мясо, и слезы текли по их морщинистым старым лицам, и по-

мотал головой Гример, хотя он уже сидел на земле и в руках его были хлеб и мясо, а ртом, подняв голову к небу, он ловил струю дождя, чтобы утолить жажду. Всю жизнь проживший под вечным дождем, только здесь он понял, какое это благо, и ужаснулся, как мог забыть он, что дождь — это вода. И опять покачал головой Гример и сказал:

— Ваши дети голодны, и вам самим нечего есть. — Он не мог взять последнее у тех, кто сам умирает от голода... — И холода, — сказал ему старик, стащил клеенку с плеч своих и протянул Гримеру. — Мы знали, что ты должен появиться среди нас, и мы приготовили еду и одежду тебе. И ты не смотри на нас, на наши глаза, и тела, и на детей наших, ты должен отправиться дальше, куда мы знаем дорогу и никогда не сможем дойти, но, если ты возьмешь все, что есть у нас, ты дойдешь.

— Не обмани нас, ты обязательно должен дойти, — сказала старуха, и ее бельма опять уставились на него, и он увидел радость в лице ее.

— Но ведь вы умрете здесь, и я ничем не смогу помочь вам...

— Да-да, мы умрем здесь, и ты ничем не можешь помочь нам, но ты дойдешь, и мы дойдем тобой, и это очень важно для нас. Это важнее, может быть, чем даже дойти самим.

— Но я не могу, — сказал Гример.

— Если мы мешаем тебе, мы отползем в сторону, но нам так хотелось хотя бы тобой съесть то, что в руках у тебя, то, что мы сберегли, ожидая тебя.

Никак, и ничем, и никогда, и никому бы Гример не мог объяснить, почему он выполнил то, что просили они. Но он, сидя под дождем в окружении смотрящих на него, ел и плакал, и дождь и слезы, смешиваясь на щеках его, текли на землю. И видел Гример, как

умирали дети, которых матери держали в ослабших руках своих, и умирали матери на глазах его, и радостны были лица их, и начинали иначе смотреть глаза его, и он увидел, что старуха с бельмами, что была счастлива приходу его, — девочка, а старик, который обещал им приход Гримера и который единственный знал время прихода Гримера и неотвратимость прихода его, — юноша.

— Ты не спасешь нас, — сказал Гримеру юноша, — но ты иначе будешь видеть тех, кто будет окружать тебя там, куда придешь. Ты и они сами поймут это, и тебе не нужно будет говорить обо всем, они переменятся и станут за нас счастливее нас.

И когда уходил Гример, черное поле под струями дождя еще копошилось и несколько рук поднялись в воздухе, чтобы помахать ему вслед, и одна рука все неподвижно указывала туда, куда шел Гример. И увиденное, и хлеб, и мясо оживили Гримера ноги несли его крепко и быстро, впереди вместо простора он видел глаза детей, смотревших на его руки, в которых были мясо и хлеб, и на его рот, который двигался и разжевывал размокший хлеб и нежно-розовое мясо. И что-то менялось в душе человека, и зорче смотрели глаза в ответ, потому что их глазами он начинал видеть землю, а много глаз видят дальше и больше, чем самая прекрасная пара.

III

И он увидел впереди зеленый луг, где кончалась полоса дождя, и солнце светило там, и он увидел красивые платья мужчин и женщин, и увидел зверей, которые мирно играли с ними, и ускорил шаги Гример, потому что не так уж много прошел и можно

этих людей попросить помочь своим братьям, оставшимся там, под дождем, на вспаханном поле, и почти бежал Гример, насколько может бежать человек по острым камням вверх, по отвесной горе, все ближе они, и уже приготовил слова Гример, которые соберут людей, и они, набрав хлеба и теплой одежды, придут к пославшим его, и тогда окажутся не напрасными ожиданье их и вера в приход его. Еще ближе приблизился Гример и убедился, что глаза почти не подвели его: женщины были молоды и прекрасны, мужчины легконоги и стройны, а звери крупны, породисты и могучи. И только одного не разглядел Гример издали: звери не играли с людьми, они поедали их, и то, что было игрой издали, оказалось убийством. Один зверь, заметив пришедшего, бросился к нему, смешно подкидывая задние ноги и изгибая бархатную пятнистую спину, и наперерез ему метнулось белое платье.

— Муза! — крикнул Гример.

Женщина посмотрела не него, и Гример увидел, что это совсем не Муза, но она, увидел Гример, была той, которая была нужна ему и более прекрасна, чем Муза. И он понял: это была судьба его и к ней он шел сюда, из-за нее погибли люди в черном поле, — чтобы спасти его, Гримера. И он бросился к женщине и не успел добежать до нее, как зверь, лапой ударив ее, пербил позвоночник и двумя ударами клыков профессионально и ловко отстриг ей голову и покатил ее перед собой, смешно подкидывая зад — пятнистый, бархатный и круглый... А тело осталось извиваться на зеленой траве, и красные пятна легли на белое платье, и Гример подбежал к ней, бросился на нее, обнял ее, и оно, тело, стихло под его руками, успокоилось и замерло. Тогда Гример, подняв над головой тяжелый камень, бросился на зверей, и, когда звери, оставив

свои страшные игрушки, весело покусывая друг друга бросились в рощу, стоящую на краю поля, Гример понял, что это дети зверей, смешные, веселые, добродушные и безжалостные в своей наивности, как все дети. И еще понял Гример, что некого звать помогать оставшимся в черном поле. Долго трудился он руками, ногтями и острым камнем, тяжело копая глубокую яму, чтобы положить туда лежащих на поле и вместе с их головами закрыть землей. Последней Гример положил свою судьбу, так и не сумев приладить к телу голову. Звери были, наверное, травоядные, они не питались человечинной, для них убийство было забавой. Вырос холм, который Гример разровнял, чтобы получился ровный квадрат, похожий на Дом, закончил, приложился губами к земле, попрощался с ней, поднялся и пошел дальше... И в глазах его к глазам черного поля прибавились глаза зеленого луга и глаза его единственно любимой, которую он видел и любил одно мгновение. И еще плоть тела, которое теперь жило в его теле... Но это было только начало дороги, и оно было раем по сравнению с тем, что он видел потом.

IV

И было раем время, когда Гример добрался до своего Города и стал стучать в дома, в которых жили его пациенты, которые были обязаны ему своим будущим и настоящим, и они вышли на улицу, не убоившись дождя и закона не собираться, и были добры, и кивали головами в ответ на просьбы его о помощи оставшимся в черном поле, и подняли его, вероятно, чтобы помочь ему, и все вместе молча и дружно отнесли на площадь перед Домом. Да-да, они соглашались с ним, что идти нужно сейчас и немедленно. Они

ласково смотрели на него, женщины гладили его волосы, мужчины держали над ним крылья своих плащей, потому что на Гримере была жалкая клеенка, которая почти не спасала от дождя, а пока пациенты соглашались с правотой желаний Гримера, восхищались его благородством, часть из них уже побывала в Доме и принесла оттуда огромный рулон ткани для плащей. Они растянули эту ткань высоко на четырех столбах, и сразу дождь прекратился над ними, он падал справа, слева, впереди, сзади, но там, где были пациенты и Гример, было сухо, и Гример подумал, что это предвзвешенно и этот навес пригодится тем, кого принесут из черного поля на своих сильных руках его пациенты. Он обрадовался, что уже началось спасение тех, кто послал его. И он улыбнулся и вытер воду с волос, плотно прижимая пальцы к темени, и вода полилась по лицу, и стали ясными глаза его, и тут увидел Гример, что он окружен тем хламом, который однажды он видел в подвале Дома, — обломками старых кресел, стульев, столов, золоченых рам, все это густо поливали черной густой жидкостью, неприятный запах ударил в нос. Улыбка исчезла с губ Гримера, а пациенты уже вставали на плечи друг к другу, и поднимали Гримера все выше и выше, и там, в высоте, примотали Гримера крепко-накрепко влажными от дождя веревками к каменному столбу. Камень не боится огня. Сырые веревки какое-то время тоже. Привязали для того, чтобы не упал он, не сорвался и мог видеть вокруг как можно больше и дальше, и потом оставили его, сделав это справедливое и доброе дело, ибо тащить куда-то, спасая подобных себе, рискуя погибнуть самим — какой в этом резон. А чтобы он не смущал людей, внизу вспыхнул костер, пламя махнуло крыльями и закрыло и Гримера, и хлам, и черная ко-

поть ударила в центр навеса и он мгновенно исчез в том месте, где ударило пламя, и дождь, который был всемогущ в эти минуты перед пламенем, терялся, исчезал, стираясь перед стихией, а огонь щедро, широко и мощно все махал и махал крыльями, и прошла копоть, и Гример ощутил и увидел то, что уже пережил однажды, накануне Выбора, и что теперь узнал, и обрадовался, потому что ему было известно, чем это кончится.

Но это было раем в сравнении с тем, что он видел и ощущал потом.

И если бы на Страшном суде ему предложили за возможность прощения всех грехов только вспомнить, что испытал он потом, Гример бы отказался, ибо в нем, если не вспоминать, все же оставалось *в живых* ощущение правды, какую он нес в себе сегодня и которая стала единственной мерой, какой мерил теперь Гример поступки свои и то, что он мог видеть вокруг себя, вернувшись оттуда. И цена его жизни в этой правде была ничтожна, и его боль — смешна, его страдание — забавно, а его удача — оскорбительна, потому что глаза черного поля и зеленого луга — великий цензор — смотрели на него постоянно, за каждым поступком Гримера, за каждым отношением к себе и к тем, кто был близок ему...

V

Спокойно и верно работал Гример. Новое лицо, которым он мог помочь людям, и было той правдой, что теперь жила в нем. Она была проста и постоянна, как постояннен дождь, идущий в Городе. Лежащий перед Гримером сейчас был просто человеком.

И впервые с благодарностью и спокойно подумал Гример о правоте проведенного его через Испытание,

через страдание живущих вокруг и вместе с ним. Ибо не будь этого, Гример вряд ли способен был создать лицо своего страдания, лицо помощи самому себе и своей Музе. А люди? Он бы забыл о них, как не помнил долгие годы, думая о своей работе, своих надеждах и бедах, живя только ими.

Да, как бы ни прекрасно было это лицо, оно было бы чужим для всех.

А сегодня этого не случится. В руках Гримера жили руки, которые тянулись к нему, прося о помощи, которые цеплялись за него, пытаясь уцелеть, руки, что лежали теперь неподвижно в черном поле или на зеленом лугу, потому что душа, управлявшая ими, покинула их, и переселилась в руки Гримера, и управляла каждым движением скальпеля.

И Гример был должником, учеником, рабом и творцом перенесенного, и не во имя честолюбия и перемены, а во имя помощи живущим и тем, кто не пришел еще на эту землю.

Работая, Гример творил Лицо, которое он не видел и не видел никто из живущих, но оно было общим лицом — ибо выражало время.

Непривычно и потому неуклюже двигались слова, пытаясь быть похожими на мысли. Подобно слепым, которые ощупывают друг друга и радуются, когда в толпе находят знакомые лица и уже ни за что не отпускают друг друга, хотя незнакомые, стоящие рядом, ближе бы и любимее были им, но они, в страхе потерять, что уже нашли, не делают никаких попыток отыскать себе подобных.

А в это время пальцы привычно уже работали третий квадрат лица. И странно: чем дальше снимал

первую грубую, давно не троганую кожу Гример, тем незнакомее становилось лицо, которое медленно появлялось под его пальцами. Голова была столь же огромна, как прежде, но черты проявились и становились осмысленными и безобразными еще более, чем бесформенная масса, которую сначала видел Гример. И у него мелькнуло подозрение, что и это, получающееся, лицо для кого-то и когда-то было прекрасным и единственным, значит, и красота была временна и относительна? Нет, этого не могло быть, красота постоянна, и это лицо всегда было безобразно для всех. Но то ли глаза приглядываются, то ли душа привыкает, и, когда подошла минута и пора уже было начинать снимать кожу первого лица, Гримеру стало жалко расставаться с тем, что он открыл, потому что была своя правда в этих синих вздувшихся морщинах, узких глазах, неподвижном величии, что ворожило и подчиняло Гримера, и, наверное, делай он это в своей лаборатории, не гоним своей задачей, он бы оставил это лицо, потому что во власти и мудрости его, которые он узнавал тем больше, чем больше работал с ним, был выход, но это был выход для немногих и, наверное, давно, и ни для кого — сейчас. Не было смысла менять лицо любому живущему в городе на это, оно было безобразней и примитивней лица горожанина. И все же Гример помедлил и отложил скальпель в сторону прежде, чем сделал надрез по открытому лицу. Наверное, прежде чем расстаться с работой своей, надо хотя бы закрепить ее в памяти, надо увидеть в ней сколь можно более смысла и правды, которые существуют в каждой работе и которые иногда не видимы даже творцу ее, потому что истинная правда, как горох в стручке, желток в яйце, скрыта внутри, и что общего может быть между известковой скорлупой, мертвой, и

мертвой всегда, и жизнью желтого цвета, которая свисает с краев чайной ложки и затем, растекаясь по языку и перемешиваясь с хлебом и маслом, своей смертью поддерживает жизнь. А скорлупа? Да, пора было снять открытую кожу, потому что под ней должна быть истина. И опять Гример перестал думать, а стал думать работой. А кожа под скальпелем была ветха, спрессованна, тонка, и нужно было быть осторожным. И когда она как колбасная кожа, легла в широкий белый таз, и захоти — никто бы и никогда не различил того, что было несколько часов назад, потому что несколько мелких лохмотьев ничуть не похожи на мудрость и властность, Гример опомнился и увидел результат своей работы.

VI

«И какой великий мастер делал это открывшееся лицо, — удивился Гример. — Неужели после всего, что было, можно думать о красоте и мастерстве», — и, поняв, что он все-таки думает, ужаснулся, что можно. Значит, есть что-то более великое, чем страдание, — красота... Неужели в том, что он видел, была и красота? И отшатнулся разум от своей мысли — была... Но есть ли что выше? Что может заслонить красоту?.. Может быть, человек, создавший ее? Когда это было и что это был за мастер? Он работал почти без швов. Что за материал? Это не кожа. Да, это неизвестный материал. О как прекрасно это лицо, он не мог начать снова, не мог оторвать глаз, он проклял себя, как проклял Город и людей его — там, вверху, в огне, за глухоту их, и суету, и равнодушие, а сам не мог оторвать своих глаз от этих морщин и всего лика, светлого, белого, святости каж-

дой черты, линии, складки. И только глаза убивали в очах эту красоту и свет... Но ведь можно и не смотреть в эти глаза. Они все равно почти не менялись. И что-то начинало жить в нем. И оживала Муза, и оживали ее руки, и оживало ее тело. И опять хотелось работать, как работал он, делая операцию Музе, ведь он сегодня, не боясь никого на свете, имел право создать *какое угодно* лицо, какое он видел в своем воображении и в своем страдании, и ему захотелось и то, что перенес он, и то, что живет сейчас там, и то, что происходит постоянно сегодня и завтра, выразить на этом лице и чтобы это лицо смогло спасти их всех, переменить все в мире, чтобы это лицо стало для всех напоминанием, что не нужно стремиться к смене номеров, не нужно уничтожать друг друга, не надо зверей держать не в клетках — или пускать к ним людей, или вооружать людей, чтобы не были беззащитными они. И что, если когда-нибудь мастер вот так же будет снимать кожу и дойдет до лица, созданного Гримером, пусть и его руки наполнит сила желания спасти людей. И он понял, что это лицо открыло ему желание спасти людей. И он понял, что это лицо открыло ему желание спасти людей и сделать новое. Но глаза... Последними будут глаза. Он сможет их изменить, он сделает, что не могли мастера, которые работали перед ним. Да-да, и Муза, и Город, и страдание, и боль, и все, что в нем живет и умирает и мертвы все-таки живет, — это все для того, чтобы он сотворил лицо, которое спасет людей...

И Гример опять сел, чтобы дать возможность отдохнуть лежащему перед ним. Потому что тот снова умирал от усталости.

VII

А у Музы тоже была работа. Она опять смотрела «Бессмертных», она восстановила все сцены, она добавила еще крови на теле девочки, она вставила эпизод с разорванной щекой. И все равно чувство омерзения к иной жизни на ее шкале было равно нулю. Ее уже больше не трогало это. Так ужас нарисованного ада забывается перед лицом мучающегося от боли человека, которому ты не можешь ничем помочь. Она думала только о Гримере, о том, каким он вышел Оттуда, и что она была готова сделать все, что угодно, только бы он стал прежним Гримером, хотя бы на минуту, пусть заболит сном, и она будет лечить его, пусть потеряет Имя, пусть она будет работать одна, только бы, только бы он вернулся. И каждый раз, когда Таможенник приходил к ней и сообщал, что все идет хорошо, и по тому звериному страху, который был постоянно в его глазах — а тот не мог бояться ее, — она верила Таможеннику или, по крайней мере, тому, что Гример жив и работает. А если б он не работал, то и у Музы был бы Уход. И она проверяла передачу на контрольных зрителях и не понимала, как это можно испытывать по такому пустячному поводу омерзение в 11 баллов. И оставляла очередную серию «Бессмертных» в первоначальном виде...

VIII

А Гримеру уже не хотелось работать. Он, отдыхая, смотрел на лицо Лежащего перед ним и вбирал в свою память каждую линию, каждое движение скальпеля Мастера. А там, внутри него, как будто ту-

манный белый полог возникал перед его памятью, и дети-звери становились безобиднее, невиннее, и люди становились красивее, и Гримеру казалось, что они движутся к Городу, где он сможет помочь им. И запах исчезал и заменялся тишиною и ясным туманным воздухом, в котором уже не было страха и боли. Все переживает человек. Если дать ему возможность вернуться к жизни, ощутить чудо работы — он воскреснет. Никогда ничто не потеряно, человек может воскреснуть после креста, после гибели всего живого, потому что он может забыть, потому что он может желать, потому что он может жить в том, что сделает его счастливым, и поверьте мне, что это может произойти, и никогда не поздно, даже умирая, ощутить в себе силу забыть, не помнить, но не помнить не забвеньем жестокости, а забвеньем любви и желания спасения всего, что остается после тебя. И Гример встал.

Что за руки подарила ему природа, что за время было у него за спиной, когда каждый день работа, рядом Муза, каждый день новые листы, которые его пальцами украшены узорами лесов, и гор, и морей, и богов, и деревьев, ронявших по осени свои золотые листы; и снова первый квадрат, там, где на вершине лба седые, мягкие, почти воздушные волосы кончаются, редко-редко серебрясь назад, между ними — первый квадрат. Миллиметр за миллиметром исчезали линии прежнего лица, таяли глаза и становились добрее, овал губ вытягивался, сплющивался и превращался в узкую нить, менялось лицо, и менялись глаза — только лицо становилось жестче, хищнее и наружу выступала улыбка, а жестокость пряталась за той улыбкой, но не могла исчезнуть совсем, а почти выступала из-под нее. И странно: глаза были добрее различимой жестокости. Видимо, глаза не менялись вовсе, только

лицо назад они были жестки и тяжелы, а сейчас их доброта в сравнении с жестокостью казалась добротой. Где была правда? В глазах? Но они были так различны в облике своем. В лице? Но оно менялось в зависимости от времени, которое выглядело подобно. Казалось, ничего не может быть страшнее этих тонких губ, морщин, прошитых красно-синими сосудами, этой жесткости, которая прикидывалась улыбкой и нежностью, вниманием, и состраданием, и участием. Не может? Может! Это было еще доброе лицо — оно прикидывалось, значит, иногда было не самим собой. Это, пожалуй, было даже прекрасное лицо, конечно, не такое, как второе, которое было белым, добрым, мудрым, совершенным. Но когда кожурой колбасы, шелухой вареной картошки и это лицо легло на белую поверхность таза и смешалось с первыми двумя и уже трудно было различить, какая кожа принадлежит какому лицу, Гример, видевший и перенесший то, отчего покидает разум душу человека, и она умирает, остановил руку и бросил скальпель в раствор. Он увидел, узнал лицо, которое было похоже на то, что он чувствовал в себе внутри, когда хотелось ему быть Великим Гримером, единственным, перевернувшим, спасшим мир. И он вспомнил свои надежды и свой выбор, и это лицо было похоже, но еще страшнее того, что лежало сейчас перед ним, а оно кривилось в ухмылке, радуясь узнаванию. И как вор, собиравшийся только украсть и не хотевший убить, но, боясь быть пойманным, в испуге убивает схватившего его за руку и потом бежит и, озираясь, зарывает нож, даже не вытерев крови, так и Гример схватил скальпель и вонзил его чуть ниже подбородка; казалось, сейчас он вместе с мясом и всеми накопившимися лицами срежет это лицо, как срезают половину яблока, потому что сверху

его тронула гниль, и увидел, как поползли зрочки лежащего перед ним — все шире, шире, вот-вот вырвутся за черный круг — и взорвутся, не выдержав боли, брызнет черная кровь. И... сразу же Сто пятая закричала в памяти. Что-то внутри затормозило движение, и пропало усилие, и Гример остановился. Пославший на испытание знал хорошо: тот, кто испил полную меру, тот, этой мерой владея, пощадит все живое. Даже если бы речь шла о своем спасении. И сразу успокоился Гример. Вытер салфеткой лоб, перевел скальпель на первый квадрат.

Совершил ли бы сейчас он свой выбор, так же как это он сделал, веруя в свое высокое предназначение? Право быть над людьми? Конечно, нет. Но тогда бы кто-то другой стоял сейчас на этом месте? Вряд ли. Выбор Пары прошел бы спокойней, и никаких перемен не было. Но зачем сейчас рассуждать о возможности жить иначе вчера, когда ты уже живешь сегодня. Есть зачем — ведь переменив внутри себя «вчера», сегодня поступишь иначе. Ибо, убив один раз, во второй (после перемены) не убьешь, а, напротив — спасешь, а не будет выбора — не пощадишь себя.

Вот и не щади свое лицо, спрятанное внутри, которое не знали люди. Смотри — вот оно.

Никакого притворства, все наружу — право сильного, право быть надо всеми, право единственного знающего, как людям станет легче жить, право единственного владеющего истиной, жестокое, холодное, уверенное — Лицо.

Похожее на гильотину; она тоже мастерски исполняла то, для чего ее изобрели природа и люди.

И ей, гильотине, в голову не приходила мысль, что она не права. Она ведь тоже выполняла свой долг, пока наточено лезвие, пока не заржавело железо,

пока есть головы виновных, — неважно в чем и против кого, и неважно кто управлял ею — сначала один или потом братья тех, кого еще вчера рубили эти одни.

Смотри, смотри на себя — смотри не перепутай, что это не ты, смотри не забудь, как и чем ты жил, и только не было условий, чтобы ты проявил себя до конца.

Не было?

А Выбор? А тысячи получивших Уход? А Сто пятая? Но это все Таможенник, это время, это закон, которому ты, Гример, только подчинен. Ложь. Конкретно от тебя зависело это конкретное время и этот Город, и от тебя зависит, кем они станут завтра, и даже от тебя зависит, больно ли будет лежащему перед тобой, — таковы были мысли, а пальцы были бережны и осторожны.

IX

Казалось, жизнь остановилась, время перестало двигаться. Так велосипедист жмет на все педали, выбивается из последних сил, а вокруг те же четыре стены, белый потолок, ибо внизу — ролики, создающие иллюзию дороги. Хотя почему иллюзию, на самом-то деле велосипедист движется, и на самом деле стоит на одном месте, и то и другое истина, — а горка шелухи на дне таза все росла. И закрывала дно, и каждое лицо и каждая кожа растворялась в коже ранее снятых, только в памяти Гримера оставались эти лица, и только пальцы привычно делали дугообразный надрез, приподнимали край кожи и снимали квадрат, и все сначала. Крутились ролики, двигался скальпель, тяжелел таз, шли дни, и остановилось время. Лежащий

перед ним никогда не двигался, глаза его были раскрыты, но время передышки Гример чувствовал, хотя, как это происходило, понять не мог. Если бы не глаза, лежащий перед ним мог показаться Гримеру неживым. Но глаза!..

Они показывали Гримеру, насколько бережно он делал то, что делал.

Как мал и узок стал его быт: операция, передышка, отдых, память и о снятых лицах, размытая память боли и ощущение присутствия Музы. Иногда Гримеру казалось, что операция никогда не кончится, никогда он не выйдет отсюда, что это просто иллюзия работы, а на самом деле все это называется хитрой несвободой; хотя зачем, ведь так легко обойтись с ним проще и привычней — Уход, и не нужно было бы уставать, мучиться, сомневаться. Нет, убеждал себя тут же Гример, ты занят чем-то важным, что только тебе и по плечу — и по праву, и по опыту, и по страданию, — создание этого нового, неведомого лица, которого ни разу он не узнал в лицах, открывшихся ему. И пусть, когда он закончит операцию, так же будет идти дождь и так же будет ему Город подставлять свои мраморные стены, — все же что-то изменится в нем внутри, потому что, увидев новое лицо, созданное Гримером, женщины станут нежнее, а мужчины добрее, дети полюбят любящих их, потому что будет нельзя с таким лицом испытывать что-то иное, кроме любви, и безразлично будет каждому, какой номер у него и как закончится его жизнь. Ибо жизнь будет исполнена добра и доверия. Пусть быт. Пусть монотонный труд, но ведь не напрасно... Ибо доверие — это все, что может сделать человека счастливым, когда можно говорить правду, когда можно говорить больше, чем ты сделаешь, но и что только намерен сделать.

А руки становились тяжелее: как странно, чем холодней было сердце, чем жестче был разум, тем легче и жарче работал Гример. Чем больше он хотел и чем больше был счастлив в работе, тем тяжелее дышал он, тем тяжелее давался каждый штрих, хотя, может быть, он не прав; просто с человеком постоянно что-то происходит, все меняется в нем, и из-за этих перемен легче или тяжелее работать.

Это был не первый, но новый страх, который испытал Гример. Была ночь. Пациент спал, свесив свою похудевшую, опавшую и уже почти соразмерную телу голову. Гример взглянул на него. Час назад он почти полностью снял и обработал очередное лицо, но думал о чем-то своем, почти не обращая внимания на то, что делал, а сейчас поднял глаза, свет был приглушен, и голова спящего полусвещалась им. И вдруг глаза Гримера стали черными, он подумал, что сходит с ума: перед ним было лицо Образца. Лицо, которое сейчас в Городе было главным, Единственным, какое носил и Гример. Не может быть, это же было десятки лиц назад, и мастера работали иначе. Иначе? Вот швы, вот спайка, вот ткань, это все другое! С этой стороны? Он усилил свет. Нет, здесь уже похоже меньше. Опять приглушил. То же самое. Откуда? Как ни странно, всех труднее оказалось снять это лицо, потому что оно было скроено совершенно на свой лад. Привычно сделав несколько надразов, Гример должен был остановиться и начать все с начала... Да, оно было скроено совершенно иначе. Но работа и на этот раз была совершенна.

И все же как хорошо работать отгороженным от всего мира огромными мраморными стенами, наеди-

не со своим пациентом, Лежащим перед ним, который покорен, мягок, молчалив и ненавязчив, и думать о том, что было, и как ни ужасно то, что было, это все-таки только «было». И не знать, что в это время происходит в Городе, во всяком случае, быть свободным от происходящего.

Х

А жизнь в Городе идет своим чередом. Не прежним, когда ровно и мерно вокруг оси Таможенник — Великий крутился Город, плавно и бесконечно. Попало под колесо черт знает что, всего-то несколько десятков сотен голов да слово Великого, — и колесо, давя, приподнялось, и сместилась ось, смяв обод, и захромало колесо, а все равно едут, и скорость та же, да трясет сильнее, и тряска людям передалась. И не то удивительно, что колесо головы, словно ореховые скорлупы раскалывало, это дело привычное, а то, что слово Великого под колесом не хрустнуло, не рассыпалось в прах, целехонько выскочило, а вот обод смяло, ось сместило, и само колесо хромотой заболело. Да-да, слово, уцелев под колесом, открыло возможность независимости от колеса, а это означало возможность нарушения закона Города в пользу, естественно, каждого живущего в нем. А нарушение закона каждым воспринималось как возможность сменить номер или получить Имя — не никогда, неизвестно когда или к концу жизни, а завтра. Но — и это понимал каждый истинный житель своего Города — такое желание нуждалось в приличном и уважительном для законовоспитанного горожанина идейном оформлении. И тут идея настоящего лица была идеальна.

И Город вспучило, как тесто на дрожжах, как река весной из берегов вышла, как муравейник после зимы закишел движением.

Жители именитые с любопытством на муравейник око с прищуром уставили, а муравейник под этим оком заметно на две неравные половины распался — действующих и выжидающих. Выжидающие, сочувствуя идее, жили рьяно и только внутри себя, а внешне вполне привычной жизнью, а поскольку внутри — это их личное дело и жизни Города это не касалось, не о них речь.

Вспомни развалившего скальпелем грудь Сто пятой на две половины — он оказался из выжидающих, ей-богу. Правда, оттого, что внутри у него был такой высокий запас благородства, Сто пятой не было легче. Что же касается действующих, то...

Идеи способны рождать детей.

Действующие придумали фокус, они замаскировали свою работу под любовь. Встречи с этой целью в городе разрешались неофициально, но без ограничений. Прекрасная мысль. Правда, оказалось, что часть горожан занимается любовью под видом идеи, зато остальные под видом любви действовали. К первым немедленно примкнул Муж. Как расширились его возможности!.. Раньше он приходил в дом, где жили непарные бабы. Но согласитесь, что лучшие бывают разобраны на пары, и кому охота пользоваться только тем, что никому не нужно.

Какая там Муза — пошла она, — оказались среди прочих пар и полевее и понежнее, а что касается души, которой якобы Муза от прочих отлична была, — так кому она нужна, когда за каждой дверью тебя знают, а потому ждут.

Сегодня Мужу пришла хорошая мысль. Он рывком открыл дверь бывшей своей квартиры. На него смот-

рели глаза новой Сотой. Это были вдохновенные глаза, они выглядывали из-за плеча нового Сотого. Муж узнал ее. Еще там, во время Выбора, он запомнил ее — сидевшую молча в следующем ряду и без отрыва впившуюся в лицо Мужа, тогда еще, тогда. Ах, как удобна была эта идея настоящего Лица. Муж выпучил глаза и проговорил пароль. Собственно говоря, он не знал настоящего пароля. Но его не знал и Сотый, он просто понял, что ему надо уйти. И только Сотая знала, что пароль другой, но ей ли было пропустить свой шанс. Таким образом все устроилось удобно. Сотый ушел к соседям, даже не надев плаща, с извинением и волнением, он уважал решивших действовать, сам был лишь из выжидающих и даже с гордостью думал, как его пара сейчас будет участвовать в этой опасной затее храбрых людей. К сожалению, ему не повезло, у соседей человек шесть сразу занимались новой идеей, было темно, как в Содоме в ночь перед финалом, раздавались всхлипы, стоны и кряхтенье. И Сотый понял сразу, что такой тяжелый и натужный труд возможен только тогда, когда люди работают над новой идеей, и проникся еще бóльшим уважением к этим людям и, чтобы не мешать им и не быть принятым ими за соглядатая, вышел, тихо прикрыв дверь. Что было удивительно во всем этом, что какая-нибудь Пятая могла заниматься действием с Тысяча девятьсот семьдесят седьмым, а Тысяча Шестьсот шестьдесят шестой с Сорок седьмой или Седьмой в зависимости от случая. И за это уважал Сотый этих людей. Правда, когда Сотый вернулся к себе в квартиру, в его голове мелькнуло подозрение (ну, как мелькает тень птицы в ночном окне — то ли было, то ли показалось, что было), когда увидел свою Сотую сидящую на коленях Мужа. Но они быстро объяснили, что так нужно для конспирации,

ибо в любую минуту в квартиру может зайти кто угодно и тогда Уход неминуем. И еще больше зауважал их Сотый — ее за моральное мужество (уж Сотый-то знал, как его любит Сотая), а Мужа за сильное тело, которое легко несло тело его Сотой. Такие люди не подведут, думал Сотый, сидя в коридоре те три с половиной часа, которые уважаемые им все больше мужественные люди провели в его доме. Надо отдать должное Мужу, сюда он стал заходить регулярно, и со временем Сотый перестал мешать им, а иногда, правда страшно труся и одновременно уважая себя за участие, стал помогать им, так до конца и не поняв, что было сутью их тайной деятельности.

И Жена устроилась ничуть не хуже. Получив кучу свободного времени и вечно где-то пропадающего Мужа, Жена перестала суетиться и бегать по соседним домам, она держала дверь открытой, и каждый, кто попадал в ее дом, уходил всегда счастливым и усталым и даже на время забывал о своих высоких замыслах, но не забывал разносить весть о Жене, которая так щедра и так неутомима. Жены хватило бы, наверное, и на весь Город, но информация передавалась только между своими и по частным каналам, и это в какой-то степени связывало ее практику, но времени впереди было много, и она надеялась когда-нибудь принять и самого последнего жителя Города. Кстати, это тоже не частное дело, и, бесспорно, Жена оказывала некоторое влияние и на жизнь в Городе, и на жизнь новой идеи, которая, потрепыхавшись, пооблиняла и успокоилась, как бабочка, если ее пустить по рукам, чтобы посмотрел каждый, — как ни бережно, а после шестой-седьмой сотни рук пыльцы почти не осталось, а следовательно, и привлекательности. И возможности летать.

XI

И через какое-то время в Городе все встало опять на свои места, даже хромота колеса стала казаться естественной. Имеющие имена наслаждались жизнью, забыв слова Великого. Кроме, разумеется, Мужа — уж он-то их помнил. Для удобства.

Тайно и явно участвовавшие в движении за настоящее лицо тайно и явно участвовали в этом движении, двигались постоянно в такт хромоте колеса.

Таможенник тайных и явных участников движения знал в лицо и по спискам, а если не сам, то его Комиссия. Время от времени наиболее активные приговаривались к Уходу, и тогда вода в каналах становилась более желтой, чем обычно, а Город, равномерно хромая в такт колесу, шел на встречу с новой жизнью радостно, тайно и явно, ждя для себя удачи в этой новой жизни, что было и на самом деле справедливо, ибо каждый имеет право ждать удачи и заслуживает счастья — таков был главный закон Города. И все же дата и час этой встречи и возможность факта встречи зависели теперь только от Гримера, от его работы, от его вдохновения, но жителям города, кроме Таможенника, это было неведомо.

XII

Все чаще желтела вода, и были дни, когда текла она с утра до вечера, и даже дождь, который со всем своим постоянством и всесилием только мог унести ее, но не мог осилить, растворить этот желтый цвет до конца. Дождь лил и лил, собираясь со всех улиц и площадей города, и вода в каналах поднима-

лась почти до краев, казалось, еще усилие, и она перельется через гранит, и эта желтая, липкая плоть расползется по улицам, поднимется по лестницам и заполнит дома, поднимется выше крыш, и весь Город исчезнет в разлившемся желтом шумном, постоянном потоке, но пока этого не происходило и только казалось, что может произойти. Гранитные берега каналов заметно вытянулись ввысь и на всякий случай были готовы к этому разливу. И когда вода подошла к краю гранита, к этим вытянувшимся ввысь берегам, стало ясно, что ничего не получится со спокойной и неторопливой работой. Гример узнал об этом первым, и одновременно с ним — Муза.

Еще вчера она валялась на полу и, придя с работы, кричала, что ей все надоело, что надоела и работа, и ожидание, и все эти бесконечные Тридцать седьмые, пятьдесят третьи, шестьдесят шестые, восьмидесятые, семнадцатые и прочие, что почти каждый вечер открывали двери ее дома и произносили пароль, который она уже выучила наизусть и после которого она, сначала в остервенении, а потом с улыбкой, а потом в безразличии, выпроваживала этих уродов с горящими глазами, потными руками, которые тянулись к ней, привыкнув к податливости, и даже Имя не было так всемогуще, как в еще совсем недавние времена, а что же творилось в Городе, если даже Муза была беззащитна. И, оставшись одна, Муза дрожала, сжавшись в комок, и жалела себя, почти забывая о Гримере, и мучилась от *своего* страха и бессилия, и вдруг — в минуту, когда Гример, остановив руку на полпути к очередному квадрату кожи, узнал, что срок невечен и нужно не просто создать, неважно когда — главное создать, а — завтра — Муза успокоилась.

Муза убрала дом, впервые не торопясь вымылась, не ощутив ужаса и отвращения к воде, которые мучили ее с той сумасшедшей ночи, когда на рассвете увели Гримера. Она перестала думать только о себе — что ей мучительно, что *ей* невыносимо, что *она* ждет. И стала просто ждать, не анализируя и не жалея себя в этом ожидании, собранно и спокойно, чтобы в любую минуту, если будет нужна, помочь Гримеру, хотя бы не мучая его своей мукой. Так при умирающем более человечности в человеке, способном подать напиток и сделать укол, чем в воющем, рвущем волосы, бьющемся о стенку, потерявшим себя от боли, так что умирающий еще должен думать о сострадании и не мучить своей болью живого...

Известие, что срок завтра, отрезвило Гримера. Рука опустила скальпель на кожу.

Кончилось неторопливое творчество, и началась жизнь. Ибо еще несколько дней размеренного, тщательного труда — и уже некому будет показывать лицо, которое пока знают только его пальцы, только его память, только его воображение, — так узнаёт в толпе женщина того, кто будет отцом ее сына, еще не смея поздороваться и подумать, что этот человек откроет ее лоно и оставит себя внутри души ее, чтобы сын смотрел вот этими большими глазами, чтобы его пальцы, как у отца, были сильными и подвижными. И не мужчину любит она во встреченном и узанном ею, но будущее свое, продолжение ее рода, и даже если это неосуществимо и даже если это не чувствуемо и не видимо ею, это та правда, которая существует помимо знания ее. Так же и Он разыскивает себе мать его рода, узнавая ее по запаху тела, цвету волос и легкой, спешащей, прерывистой речи, которая, как отпечатки пальцев, дважды не встречается в мире. И Гример, по-

няв, что не придется отныне ему отыскивать и узнавать ту, для кого пришел он в этот мир, ибо нет времени больше ждать, завтра последний день, и если хочешь продолжить род — обними первую встречную, лежа на грязных, неоструганных досках, пахнущих сосной и скипидаром, где-то возле товарной станции, за стеной прогнившего, полубвалившегося сарая, отвернув голову от этого курносого, старого, жеваного лица, отдай ей избыток своей жизни, уйди не оборачиваясь, потому что не сделаешь этого — и не будет продолжения твоего рода, и никогда твои пальцы не возьмут скальпель, а твои глаза не увидят твою работу; потому что там, за спиной, уже гудит тяжелый состав, который идет по своей колее, набрав скорость, и тормози не тормози — некуда свернуть ему, и сил не хватит остановить эту громаду, и машинист, весь белый как снег, только будет смотреть на твою приближающуюся согнутую спину и сострадать тебе, словно от этого сострадания будет легче голове твоей лететь, выброшенной из-под чугунного колеса, а кости — сжиматься под колесом до толщины пустоты.

И все же тебе повезло, Гример, — перед тобой творимое твоими руками лицо, точен скальпель, верны пальцы, и тебя осеняет Муза любовью своей. Там, где стены дома ждут твоего возвращения, ждет и Муза, перестав замечать все, что окружает ее, и почти не дышит, чтобы дыханием своим не помешать работе твоей, и ты ощущаешь, как будто это растворено в тебе, что там, за спиной, в своем доме, у тебя все спокойно и надежно и еще до поезда, идущего сзади, не один день пути, а поезд, идущий тебе навстречу, из-за которого ты не услышишь другой, наплывающий из-за спины, тебе никогда не был опасен, потому что ты идешь по соседней колее и он, идя навстречу, всегда пролетит мимо.

...Спасибо, Муза, и за то, что сейчас спокойна ты и что, не принимая меня, служила мне, была верна и в работе моей, и в постели моей. Спасибо, что мучилась болью моей. Так сердце ноет, когда глаза видят покой и сад в белом цвету, потому что за деревьями стоит тот, у кого нож, и топор, и верная рука и кто ждет своего часа поднять на тело руку верно и тихо, как ждет любимая Муза возвращенья Гримера. Спасибо, что светила светом моим. Так глаза погрузившегося в болото, выпученные от страха, наполняются светом радости и спасения, потому что под ногами твердо, и болото оказалось мелко для попавшего в него. Спасибо, что была добра добротой моей. Что людские вины перед тобой и друг другом, когда смерть звенит железом пилы за порогом, и стоит только переступить через него — нет ноги; стоит только нагнуться к отрезанной ноге — и нет глаз, стоит только уронить голову в бессилии и смирении — и нету жизни. Что их вины и перед тобой и людьми, когда не они вертят железный диск и нету другой дороги, кроме как через порог.

XIII

Ла, быстро же все меняется в человеке. Только вчера Гример радовался тому, что ему выпало продолжить род дела своего, оставить людям лицо, которое откроет им тайну чуда любви и нежности друг к другу. Только вчера он был счастлив, что может бесконечно и не торопясь работать и, вглядываясь в незнакомые черты, читать книгу, которую оставило человечество и которая видима только ему одному, — весь опыт всех мастеров Города, живших за столетия до него, доступен ему. И вот когда осталось всего три или четыре дня, чтобы, не разрушив ни одной черты,

ни одного лица, но каждым своим движением ощущая мастерство и в уменье и желании, создать и первым увидеть новое лицо, он должен спешить. Господи, если бы знать раньше, что времени так мало, Гример бы в течение двух-трех дней содрал бы эти маски с Лежащего перед ним одним махом, чтобы тот корчился от боли, и, сотворив лицо, ничего не увидев, ничего не узнав; вместо любви вложив всю ненависть к испытывавшим его и к Городу, который мертв в вечной гонке за лидерством, в желании обойти, опередить, удивить; всю боль, испытанную им, чтобы они еще больше ненавидели друг друга, чтобы, встречаясь раз в год, на Выборе, они раздирали лица, выцарапывали глаза, ломали руки и чтобы были счастливы в этой ненависти, потому что этому они учили его в каждую его жизнь и каждую его минуту. Но Муза!..

И останавливаются мысли Гримера, и перестают кружиться, и уже не красны они, и не черны, а фиолетовы, и желты, и веселы...

Все-таки придется снять сразу вместе несколько лиц, и никогда никто не узнает на свете, каковы были эти лица... Пусть будут уничтожены те, что остались; никогда и никто не узнает, какими были они. Но свое лицо он сделает прекрасным, самым прекрасным на свете, потому что нельзя, чтобы люди ненавидели друг друга и их ненависть становилась огромной, как воздух, что негде было жить человеку, чтобы не дышать ею, потому что, когда начинается пожар, уничтожается все и никакой дождь не в силах остановить огонь, потому что ненависть сильнее дождя...

И пока буксовали и летели мысли в голове, меняя решение, отчаянье превращая в надежду, потом в страх, потом опять в надежду, пальцы Гримера видели только маленький квадратик на поверхности кожи, и

этот квадрат был отделен от лица, и ничего не было, кроме желтого крохотного кусочка, который нужно было отслоить и сохранить, — пусть когда-нибудь другие сделают это, восстанавливать легче, чем создавать. А этого никто не делает — кроме него.

XIV

То и было решение — работой.

И полетела золотая лихорадка — по коже, по векам, по губам, и не стало ни времени, ни Музы, ни заботы о том, чтобы не устать, чтобы оставить что-то на завтра, ибо завтра — нет. И это иллюзия, что завтра наступает. Когда приходит завтра — оно становится сегодня, и нечего жалеть силы, нечего жалеть руки, нечего жалеть душу, — один раз выпадает работать так, как работал Гример.

И вонзился плуг золотой в эти борозды, эти рытвины, эти провалы и холмы. И огромное поле было перед Гримером, и нужно было распахать его и разбить комья, чтобы оно лежало в зелени лугов, и было желто от пшеницы, и прекрасно от зерен и хлеба, которым можно накормить людей.

Да придет урожай на поля твои, да придут косцы вовремя, да спорится их работа, и небо — небо не пошлет града и дождя на желтое поле твое. Слышите, кричат колосья, как беременные бабы, слышите, сейчас под ножами машин подломятся их ноги и цепями будут молотить их тело, и свершится то, что должно свершиться, — нищие, оборванные, голодные дети, похожие на желтые листья, зеленые листья болотной травы, в руки свои, прозрачные руки, получают хлебы и, глотая слюну, вонзят свои черные сгнившие зубы, и просветлеют их лица, и станут добрее глаза их, и вста-

нут они, и выйдут в поле, и встретят зверей, что будут ходить, роняя кровь долу, и ни одного человека не ранят они. Сами не ведая, что творят; освободив людей от страха и жестокости, дети болот пойдут осушать болота и спасать все живое, что еще есть на земле. И это будет, потому что под руками Гримера скрипит золотой плуг, и вот уже черна вывороченная земля, и вот уже пар идет из развороченной распаханной черноты, никогда не выдавшей божьего света, и шевелится, как живая, земля. Нет Города, нет Лежащего перед ним — есть жажда, есть право, есть свершение. Но тут будто выкачали весь воздух, как тогда, и дышать уже нечем, и легкие надуло, и вот-вот разорвет их; но Гример знает, что делать в эту минуту, и его руки поднимаются кверху, и явлено милосердие — дышать уже легче, и дышать уже есть чем, и можно опять — за ручки плуга, но валится земля из-под рук, и кричит она голосом боли — или это грачи кричат, кружа над пашней, вперев око в развороченное лоно, нацелив клювы в вывернутых плугом разрезанных кровотокающих червей. Так вот почему под скальпелем шевелилось лицо (не мускулы, не ткань) — черви вместо них, красные черви переплели свои тела и подняли хвосты или головы, защищая себя и близких от ножа Гримера. Причастные бессмертию черви. Ибо менялись лица, мудрость шурилась из жестокости, боль вылезала из нежности, сила усмехалась безумием — и только черви знали истину. Они, они несли ее в своих телах, и эти тела всегда были в движении, пытаясь поудобнее устроиться внутри тесноты, темноты и духоты. И вот теперь нож — лучше ли он удушья? И они, как змеи, поднимали свои хвосты или головы навстречу боли. Они пытались показать свое мастерство, одно белое плоское тело изменило свою форму, и Гример узнал

выражение скорби. Только один переменял позу и другой опустил свою голову — и вот уже ужас искажил лицо. Отшатнул очи Гриммер от этого лица, и тут же, красный, короткий, скрылся среди себе подобных, и смехом подернулись губы Лежащего перед Гриммером. И, отложив нож, пальцами своими, нежными, тонкими, подвижными, как шестнадцатые доли нот, пальцами, Гриммер собрал с костей этих безобидных слепых тварей, полных мастерства и слизи, шлепнул комок радости, боли и жизни в ведро, дооторвал несколько вросших в кость и мускулы тел. К чему зависеть от червей, от их судорог и голода, от их тесноты и безразличия. Пусть плачет душа — и плачет лицо, пусть светлеет она — и лицо выражает душу, пусть сурова душа — и лицо ей подобно.

Мне не нужны посредники с гладкой кожей, мне не нужны посредники, набитые моим телом, переваренным в дерьмо. Я хочу сам улыбаться и плакать. Мне нужна Муза, которая видит меня, а не их, притворившихся мной. Мне нужен Город, в котором будет то, что есть, а не то, что притворяется тем, что есть. Мне нужна любовь, которая так же искренна, и бесстыдна, и бесстрашна, как та, которой любят друг друга тела, открытые в доверии друг другу.

И, не взглянув, как корчатся, карабкаясь друг на друга, красные черви, подминая остатки шелухи лиц, соскальзывая по гладкой никелированной стене вниз и все-таки опять карабкаясь и пожирая друг друга и остатки того, что приводили они в движение, работал Гриммер.

Работал до той поры, пока открылись глаза под его руками, и они были похожи на глаза тех, кто провожал его, не имея сил ползти за ним, чей хлеб съел он, оставив умирать от голода; одавливших его на глазах той, которая умерла под лапой зверя; на свои глаза, остав-

шиеся спрятанными внутри во время испытания огнем на площади... Это были глаза прощения и надежды, это были глаза понимания и сострадания. Это были глаза той жизни, которую лепил Гример своими руками. Это были глаза Музы, без которой он был бы беспомощен и бессмыслен.

Потому что если ты живешь ни для кого — ты пуст и имя твое прах.

И щеки уже вылоснились из-под пальцев Гримера, похожие на поле, в котором сеял он хлеб своей и с которого собрал он урожай свой. И нос, словно дозорный, застыл над полем, чтобы уберечь этот урожай и сохранить зерна от воронья. И скирдами хлеба встали губы, алые от заходящего солнца и пролитой крови жнеца. И отошел Гример, и посмотрел на лежащего, и ослеп от красоты и добра, созданного им, а когда отошел глаз, привык, преображенный увиденным, — суть Стоящего-над-всеми стала доступна ему.

И понял Гример, что он переделал только видимое.

Мастер плоти не тронул душу.

Прекрасное было внешним.

Стоящему-над-всеми все равно, каким лицо его видят и делают люди, ибо суть его лишена плоти и недоступна вовеки ни мастерству, ни железу.

Награда?

Конечно, Гример заслужил ее за свою работу.

Не каждому дано узнать срок дней, да еще так милосердно, и так мудро, и так сострадая, как открыл это

Стоящий-над-всеми Гримеру, кого он и не вспомнит никогда и без кого он все равно осуществил бы то, что могло произойти и без него самого.

XVI

Араспахнутые двери Дома всасывали в себя людей из дождя. Казалось, удав, открыв свою эластичную, как чулок, пасть, постепенно заглатывает ползущее, беззащитное, шуршащее плащами и пахнущее грозой, которая отгремела над Городом, зачарованное безвольное животное. И наконец хвост его мелькнул в створах двери, и они сошлись лениво и равнодушно, вероятно, обозначая начало процесса переваривания.

Чаша зала была полна до краев, и бережно эту чашу держала рука Таможенника. Он выполнил свою миссию сегодня как надо, и теперь все зависело уже не от него. И для него наступала передышка. Даже вода в каналах после ливня была сегодня почти прозрачна. Весь оставшийся Город, боясь перелиться через край, на краешке кресел впился глазами в середину сцены. Там было пусто. Образец исчез, и только на его месте на камне был темный слабо различимый квадрат.

Но его контуры были заметны только с последних рядов, а с первого, где сидел Таможенник и откуда он осматривал зал, когда снимали Образец, пятно было невидимо. Таможенник еще тогда, осматривая, улыбнулся про себя. Столько времени Образец проторчал здесь беспрерывно, а сняли — и никаких следов. Камень не меняет цвета.

А для сидящих сверху, в последних рядах, этот различимый квадрат пустоты был надеждой на то, что сегодня переменится их судьба. И кто знает, кем они

выйдут из этого зала. А первые ряды, столько уже видевшие на своем веку перемен, заранее смирились с болью очередных поправок, и ждали зрелища, и посмеивались внутри над надеждой последних рядов. Но и их захватило ожидание, и уже через несколько минут, вопреки своей уверенности, безразличию, готовности к привычным, ничего не меняющим переменам, они, не понимая, что происходит с ними, были заодно со всем залом, как будто начинали чувствовать то, что не мог понять их мозг. Так собака воеет накануне смерти хозяина, хотя тот сам еще не ведает об этом сроке, известном собакой. Верная закону будущих причин, плоть сплотила людей. И вот уже размеренно, лишь чуть учащенно забилося огромное сердце зала, как будто его увеличили и усилили, чтобы каждый мог, не выбиваясь из общего ритма, смотреть туда, где должен бы появиться Он, чье существование предположил Великий Гример, сопротивляясь Таможеннику. Прошло семь дней, и басня перевернула мир.

Бережно держал чашу зала Таможенник, не дрожала рука его.

Ровно сокращалось тяжелое сердце зала, гоня внутри людей страх, надежду, равнодушие и надежду. И только Таможенник да Муза жили сами по себе. Он подмигнул Музе, которая сидела рядом с ним. Муза напряженно, загнанно сплющила губы — она единственная ждала Гримера, а не того, кого ждал зал.

Таможенник обещал ей эту встречу здесь. Но она хорошо помнила фразу Таможенника, что он никогда не говорит правду, — эта фраза избавляла его от любых оправданий. Но как ни ждала Муза Гримера, вопреки неправде, на мгновение зал перевернулся в ее глазах и опять встал на место, и только одна капля — капля слезы Музы — пролилась через край, когда Гример опу-

стился около нее и взял ее руку своей ладонью, еще горячей от работы. Но уже некогда было радоваться друг другу — свет на сцене усиливался, а в зале стал убывать, как будто его из одного сосуда переливали в другой.

И еще тише стала тишина, и только несколько сердец застучали вразнобой, быстрее, а потом и остальные наवरстали их и вошли в новый ритм, как будто поезд набирал скорость.

XVII

Когда свет в зале погас совсем, а тень на камне исчезла вовсе, Гример встал и потянул Музу, повел ее через проходы к выходу.

У Музы кружилась голова, и она почти не понимала, что происходит с ней и где она, потому что она слишком долго ждала его.

Муза немного пришла в себя, только когда дождь застучал по ее капюшону. И опять пропал и дождь, и все, что окружало ее сейчас. Не было ни Города, ни ливня, ни ожидания.

На какое-то мгновение она пришла в себя опять, когда он опустил рубаху с нее до пояса, и погладил ее, и включил свет, и склонился над ней. Коснулся своей грудью, и Муза ощутила это великое мгновение, и она протянула руки и обвила шею Гримера. И не поняла его сначала, когда он снял ее руки и положил их вдоль тела...

— Ты больше не любишь меня? — сказала Муза, еще не веря тому, что происходило.

— Я ничего не скажу тебе, но ты должна поверить мне, что я делаю то, что нужно. У меня очень мало времени, — сказал Гример, — очень мало, но я постараюсь сделать все, что смогу...

И Муза подняла глаза и тут только увидела, что она в лаборатории Гримера, что кругом белые стены, что под ней операционный стол, что в руках у Гримера скальпель, и боль в правом углу рта заставила ее понять, что уже идет операция. Так, сразу, без подготовки лица, без замораживания кожи, по живому.

— Смотри на меня, — сказал Гример, — смотри, и тебе станет легче.

И еще тяжелее навалился на грудь ее, и она ощутила его тело и его боль, Муза, которая знала его таким, каким не знал ни один человек в мире. Лицо любви и работы задышало над ней — и все стало единым: любовь, боль, ощущение тела; и уже было нестрашно чувствовать, как изгибается кожа под глазами, как становятся тяжелее губы, как рот наполняется кровью, как Гример меняет вату во рту и как скальпель чистит роговицу глаз, и она начинает видеть лицо Гримера, и оно иное, чем было еще вчера... А вкус крови все сильнее, боль сильнее, но сильнее и нежность тела Гримера... А он работает, торопит себя и смотрит на ее меняющееся лицо. Вода и слезы падают на открытые мышцы Музы.

— Ведь я успею, я не могу не успеть, пусть приблизительно, пусть не совсем точно, но этого будет достаточно и ты будешь ждать меня.

— Я всегда буду ждать тебя, только почему ты плачешь, только почему мы здесь?..

— Я скажу тебе, — говорит Гример, — я скажу, только дай мне успеть. Потерпи...

Но не так-то просто терпеть. Уже все лицо только мышцы, только живая плоть, и оно горит, словно пожар ползет по лицу и сжигает на нем все, что было, чтобы на этом месте выросла трава, чтобы на этом месте выросли цветы, чтобы на этой земле жило новое

лицо Музы, похожее на ее душу, похожее на лицо Стоящего-над-всеми. Ах, этот пожар, никакого тела, только боль. И когда еще цветы? А сейчас огонь, огонь и дым, и пахнет шерстью, и нечем дышать, и незачем жить, и нет никого, ни Гримера, ни старого, ни нового лица. Только выжженная степь на все километры. И когда еще взойдет на пепелище первая трава, и когда еще зацветет первый цветок и первый маленький зеленый кузнечик споет свое мудрое щелк, а Гример работает, и слезы падают в степь, и холмы ее лежат у него под грудью и чуть движутся, все тише и тише... И тихо так, что пролетит птица, и можно вздрогнуть от этого страшного шума.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
НОВОЕ ЛИЦО

I

И тихо так, что стань еще тише — и вытечет жизнь из зала, как вытекает вода из развалившейся в руках чаши; горное озеро — через трещину на дне; как останавливается поезд, когда из него выходит последний дым, потому что сторел уголь, обесточили провода, подъем одолел колеса. Но, мгновенье помедлив, выдохнул зал — и перевал позади. Провода, как вода — канал, заполнили ватты и вольты, и задышали колеса, и опять набрали скорость. Вот оно — движение, горло перехватывает, руки вцепились в подлокотники медных кресел, голову вперед и глаза туда, где Стоящий-над-всеми явлен залу. Уже позади первый свет лица, ослепивший всех, поразивший каждого сидящего в зале своей добротой, силой и милосердием. Так ослепленный встречными фарами перестает видеть все вокруг, а только вспышка торчит в глазах, хотя уже далеко и машина и ее свет. И достаточно видно вокруг, чтобы различить дорогу и свернуть, пока не ударила следующая идущая без света машина. Свернул бы, да этот свет в глазах. И пока не привыкли к нему, каждый видел лицо воображением своим, своей слепотой. Да, это то лицо, какое ждали они.

Но проходит время, и кончается слепота избытка света, человеческое ухо слышит слово, и оно помогает видеть то, что не в состоянии различить глаз.

И первый Таможенник, что был зорче и проворней умом, увидел иное новое лицо.

И страх заполз в сердце Таможенника.

И пока ликовал в безмолвии зал, жаба сунула свой нос и глаз в сердце Таможенника и перекрыла клапан, через который бежала в тело Таможенника кровь, и нечем стало дышать, и Таможенник глотнул воздух, совсем как Гример, когда остался в стеклянном колпаке, из-под которого выкачали воздух. И перестал дышать Таможенник, и собрался Таможенник.

«А теперь все, что в тебе есть, ну же», — и он через раздавшийся, как рот, клапан протолкнул этого зеленого скользкого уroda и задышал ровно и спокойно.

Стоящий-над-всеми провел его: может, и будет спасен Город, может, и останется в нем жизнь, может, и останутся те, у кого лица хотя бы не совершенно подобны лицу Образца, но годны к переделке. А лицо Таможенника слишком за пределами этого «годны».

И стало пусто и бессмысленно внутри. Так бывает с бредущим в пустыне сутки за сутками, точно знающим, где вода. И дополз полумертвый, и вот уже протянул руку, чтобы набрать воды, и вернуться в жизнь, и научиться снова любить, и бояться простых вещей (потери власти, что бросит та, которую любил, или то, чем занимался всю жизнь, — заблуждение и бессмыслица), и вот уже протянул губы, чтобы вернуться в жизнь, чтобы обмочить их сухую, шершавую, расколотую, как земля в засуху, кожу, но она на глазах доползшего, потерявшего все в пути, поступившегося всем в пути, чтобы доползти, уйдет в песок, и перед

ним окажется только воронка, такая же сухая и мертвая, как дорога человека.

Поползли губы Таможенника вниз, как будто лопнула трость посередине. Гример, испытание, слежка движением, тысячи приговоренных к Уходу с исполнением Ухода, так что вода в канале становится густой, как нефть, участие в совокуплениях под видом участника движения во имя блага Города, во имя спасения Города, каждый час, отданный на то, чтобы Город жил, как жил он до Таможенника, нелепая ссора с Великим, которого и он, Таможенник, переживет ненадолго.

Таможенник потер виски, закрыл глаза и увидел мысль. Ему сейчас был нужен Гример. Вот почему тот увел Музу из зала. Через час у Музы будет новое лицо. Значит, и у Таможенника есть эта возможность — пока еще зал слушает Стоящего-над-всеми.

И Таможенник встал, и в темноте поднялся медленно, и тихо по ступеням вверх к входной двери; даже точно увидел, где можно найти Гримера — в его лаборатории. И никто на Таможенника не обратил внимания, потому что там, внизу, на сцене был свет и там судьба каждого начала свою новую дорогу. И толкнул тихонько Таможенник дверь, и была заперта дверь.

Ему ли было не знать, что, если двери закрыты, не одна душа живая не стронет их с места. И еще больше внешне успокоился Таможенник.

Он останется здесь, в последнем ряду, около двери.

И когда все будет окончено, выскользнет и найдет Гримера.

Еще не все потеряно.

Пока ходят ноги, смотрят глаза и есть чем дышать.

И Таможенник, как кошка, готовая к прыжку, спокойно развалился в кресле у самой двери. Последние ряды почти все были свободны. Слишком многие в последние дни получили Уход, номеров не хватало, чтобы заполнить все кресла, ибо процедура оформления в номер требовала операции, и рядовые гримеры просто не успевали восполнять ушедших.

II

А слова Стоящего-над-всеми уже заполняли зал. Так вода, хлынувшая в выкопанный канал, сначала течет медленно, впитываясь в землю, но вот набирает скорость, и уже первые ряды захвачены течением мысли, головы начинают кружиться от азарта и силы, которые топят в себе сомненья и страх.

Желанье, право, необходимость, неотвратимость действия, как семена, брошенные в жирную почву, на глазах щелкают в небо побегом, — течет мысль Стоящего-над-всеми, скачками побегов прибавляют в росте.

Действие — наполняется тело силой, как воздухом резиновые игрушки.

Действие — суживаются глаза. Бойницы в стене крепости, а не глаза. И за ними — цифры защиты, и нападения, и победы прыгают, как в кассовом аппарате магазина, где бойко идет распродажа подешевевших товаров.

Действие — значит перемена...

Каждый слышит то, что он хочет слышать.

Имеющий Имя единоличен в восприятии мысли, затопившей его уши.

Первый ряд, шестое место.

Даже привстал.

...Черт возьми, в драке есть смысл. Защита того, что имеешь, — дело святое, победа — их форма жизни, все остается как было. Только застоявшаяся кровь, как река в половодье, веселей побежит по венам. И уже руки нащупывают подлокотник — это оружие, которым суждено победить.

Первый ряд. Седьмое место.

Председатель.

Пора принимать сторону последних рядов, за ними будущее. За теми, с кем он еще не работал, следовательно, они живы, следовательно, он для них только великодушный, милосердный Председатель Комиссии, но у него есть Имя. Он откажется от своего Имени, а свою работу он готов выполнять безымянно, легче потерять Имя, чем жизнь...

Третий ряд, десятое место.

Муж...

Только что добился того, о чем мечтать не мог, и уже потерять, а это вы видели... да он один — всех — зубами, ногтями, ногами...

Место одиннадцатое.

Жена...

Не ввязываться, подождать, чем все кончится. Жена нужна всем. Она обернулась, глаза зала шли мимо нее, но сколько среди видимых ею было знакомых глаз, что защитят и оставят в живых... Подождать.

Тринадцатое место.

...Справедливо. Да, пора начинать все сначала. Лучшие дома, лучшие бабы, лучшие... Конечно, правда на стороне последних рядов, и тогда не будет внутри стыда, страха, неволи жить по закону Имени, не слушая себя внутри, конечно, прямо сейчас перейти, незаметно, пока не до тебя...

Тридцать первое место.

...Для него в словах Стоящего-над-всеми жила, была видима, ощущалась уверенность в победе имен, в их избранности, в их профессиональном умении, в праве быть над Городом, повелевать им, ибо что могут вот эти рожи, тусклые, почти разноликие, по сравнению с его лицом, подобным лицу Образца... Другой Образец? На это существуют гримеры, и завтра у них будет вот это лицо, и завтра они снова... лучше потерять жизнь, чем имя... И пальцы впивались в подлокотник кресла, тяжелый, зеленой меди, почти топор-подлокотник.

Тридцать третье место...

В задоре и силе своей правоты ждали конца речи первые ряды.

III

Каждый слышал то, что хотел слышать.

В задоре и силе своей правоты сидящий вслед за первыми рядами зал ждал, замерев, слов Стоящего-над-всеми.

Уже волна мысли дохлестнула до их ушей, до их душ, уже каждому стало ясно, и даже тем, кто были в последних рядах: вот оно, не зря ушли их соседи, их друзья, сегодня заполнят ими первые ряды за Уход, за свои дома, за свои сады, за свой покой... Они ясно слышали, что старый закон разрушен. Новое лицо — вот мера новой жизни.

Все наново.

Все места в зале свободны.

Надо только сначала первые ряды скрутить в бараний рог, выжать, как вымытую собаку, руками, — это доступно им, вон их сколько, ряд за рядом весь зал, никогда не видевших Образец так близко, как первые,

заполнивших весь зал. Всегда им нужно было в темноте, ломая руки и головы, драться за то, что первые имели без драки; и даже исковерканные, полусмятые, полузадушенные, но выжившие, они все равно оставались для имен ничем и никем, и по-прежнему первые ряды не видели их и делили между собой лучшее, что было в Городе. Вот он, час расплаты, вот она, возможность в одну минуту — без труда, без операций, а значит, без боли, одним усилием — получить то, что принадлежит им.

Слава Великому Гримеру, что открыл им Стоящего-над-всеми.

Весело блестили их глаза. Сто тридцать второй нащупал ногой камень плиты — шатается — и раскачивал его. Хороший материал камень, дождя не боится, а для драки — лучше не придумаешь. Сотая спрятала руку на груди, у нее был свинцовый амулет, и пальцы ее потихоньку стали перетирать льняную нить, на которую амулет был подвешен. Амулет не худшее из оружий, если он тяжел.

Сотый с жадностью думал, что он как следует не принимал участия в движении, разве что один раз, и что ему вряд ли что-то достанется в этом зале, зато Сотая, — и он погладил ее локоть, который был на уровне его губ... Сотая перетирала льняную нить. Она только чуть повела локтем, и губы Сотого разбились о его зубы, и кровь побежала по его подбородку. «Да-да, справедливо, — подумал Сотый, — она, бедняжка, так страдала, ведь она так любила меня, а что может быть невыносимей нравственных мук», — и кровь для него была успокоением и в какой-то степени искупала его пассивность в движении, и он своими разбитыми губами поцеловал ее локоть. Сотая даже не вытерла кровь — было некогда.

Ах, как был прав Стоящий-над-всеми.

Все можно, если это нужно тебе.

Каждый имеет право быть самим собой и занимать место, которое по его представлению, предназначено ему. И никто лучше, вот, например, тебя, слышалось каждому, не знает, чего ты заслуживаешь...

Да, сладкая музыка вместе с кровью крутилась в человеческом теле, и если бы в нее опустить плывущий огонек, который виден сквозь тело, то именно эти слова были бы выписаны им в своем движении: вот она, истина.

Каждый прав.

Если он имеет право.

Каждый имеет меньше, чем заслуживает.

Вот оно, движение, и каждый прав — его результат.

Для них новым было то, что время от времени устаревало. Старые слова были новыми в сути — внутри, в смысле, а не снаружи в звучании и существовании. И это в радостном возбуждении принимал зал.

Пришло время, когда стало неизбежно новое лицо. И это лицо было узнано оком зала и жадно принято им, — так сухая земля принимала дождь.

Легко было, и светло, и ясно отныне в голове зала. Зал знал, что делать, и только ждал сигнала. Все уже происходило, пока только внутри тела и в воображении, но происходило. И каждый отрепетировал свое первое движение, и каждый выбрал себе кресло, которое будет его...

Ах, какая это сила — разрешить человеку одним махом преодолеть то, на что у всех уходят годы, жизнь, род.

Ах, какая это сила!

Она, как волкодава на волка, пускает провинцию на столицу, гонит степь в горы, море разликает на реки,

горы переделывает в канавы, грязью заливает могилы, в мгновение совершает кругосветное путешествие и возвращается с другой стороны, откуда ее не ждут, вешает сама себя, с хреном и с маслом лопают своих щенков, производит на свет Божий музыку и оставляет пуповину, чтобы ужас и боль жили, пока не умрут мать и дитя, меняет богов, как меняют старьевщики тряпки на деньги, жуёт битое стекло, испытывая наслаждение и гордость за свой желудок, обманывает сама себя и по второму кругу становится истиной, истиной снаружи и противоположной себе внутри, и в итоге врёменной, как сама эта сила.

Господи Боже, сколько энергии уходит на то, чтобы в результате прийти к тому, с чего все началось, и через какие потери!..

Сколько бы эта сила вертела колес, двигала крыльев, произвела на свет детей, посадила новых лесов, выдумала новых слов, взамен старых и ничего не обозначающих, новых смыслов, которых, как птицу в брошенный дом, можно было поместить в старые слова, сколько жизней не исчезло бы в безымянности, как волн, растворившихся в океане... Сколько бы тепла прибавилось в каждом доме мира. Ну же, стрелочник, переведи эту силу на основной путь, пусть пролетит, не останавливаясь...

Налево пойдешь — себя потеряешь, направо пойдешь — человека убьешь. Прямо пойдешь — назад вернешься.

Крутятся колеса поезда, и нет никакого выбора, тебя везут, летят вагоны, и уже не разобрать, где имена, где номера, одна летящая масса, которую не остановить, не понять, но и захоти кто-то сойти, голову о скорость оторвет: «Выхода нет» — горит в вагоне, как в салоне самолета надпись «Не курить», где, что «Вы-

хода нет», и писать не надо. И в глазах каждого, уже опрокинутых в себя, — новое лицо, которое открыло эти глаза, которое взяло на себя все их боли, печали и всю их вину.

Это лицо!

Могла ли душа зала не поверить ему, и могло ли ухо зала не услышать новые слова, если в зеркале их люди узнали себя?..

И уже не было Стоящего-над-всеми, и уже исчезли, спрятались сказанные им слова (так прячутся в сумы бесплатные хлебы в голодные годы), а зал все сидел молча и еще впитывал в себя даже эхо сказанного Стоящим-над-всеми. Так, съев свой ломоть хлеба, нищий подбирает крошки и с жадностью отправляет их в рот грязными иссохшими руками.

Еще видели люди себя в красоте нового лица (так исковерканное зеркало делает урода прекрасным), но уже лопнули первые зерна и всходы вытянулись наружу.

И Сотая, зажав амулет в поднятой руке, пересекла не переходимую никем границу прохода и опустила свинцовый кулак на голову Жены, ее это было место в воображении — вчера и в праве своем сегодня, но и Муж сделал то, что должен был сделать каждый, имеющий Имя, при нападении человека с номером, — он перехватил руку Сотой, когда кулак с зажатым амулетом почти коснулся волос Жены, и вывернул руку вместе с плечом, и, мясо брызнуло кровью, и треснула кость, и лопнула ось, и первое колесо крутанулось в зале и завертелось еще сильнее, отдельно по камням, по обрыву... И накренился вагон, зацепил шпалу, выдрал ее из земли, и завязал узлом рельсу под собой, как будто не металл, а суровая нить была положена под колеса, и встал вагон поперек поезда.

IV

Кончился закон, и осталась только правда, которую знал каждый и которая делала его свободным.

И затрещали кресла, и рванулись верхние — вниз, а нижние — вверх или на самом деле нижние — вверх, а верхние — вниз. И конечно, среди них были те, кто хотел бы выйти из игры, кто добровольно бы отдал то, чем владел, кто плевать хотел на эту иллюзию человеческой перспективы, Имя и номер. Но... разве наша мудрость помогает нам, когда мы летим в горящем самолете, стоим на окне двадцатого этажа, полыхающего, как цистерна с нефтью, так ли уж мы мудры в купе лезущих друг на друга вагонов? Что наши увертки, ловкость, сдержанность, дипломатия, воля, провидение, готовность к этому, равнодушие...

Эй, поезд, кто тебя поставил на дороге, поперек пути? Эти чертовы рельсы связал узлом и выбросил их на обочину. Как летело, кувыряясь под откос, это железное чудовище, нафаршированное людьми, судьбами, надеждами, классами, номерами, вагон на вагон; как бык на корову, как кобель на суку... И встали вагоны друг на друга, а в них — отрывали руки, катились, как рассыпанный по полу горох, выцарапанные глаза, сухожилия рвались с таким треском, словно это были ружейные выстрелы, под грудой ног лопались головы, как воздушные шары от булавочного укола. И эх, заходили кулаки, заходили.

Может, не жили и мы, а может, жили...

Гудит вверх колесами поезд, дым из трубы валит.

В ключья его! И поршень в воздухе еще летит и по инерции крутится, а стекла-то! Трах-х — и в глаза! А

руки-то крякк — и в черепах! И такая заварушка, Господи не приведи. Лицо-то у всех одно, не разберешь чье — чье, все бьют всех, и неизвестно, кто — кто и кто — чей.

Видел бы сейчас это Гример — как собака лег бы между стульев на пол и завыл бы от своей глупости. Жизнь вложена в это.

В это?

Вот в Это?

Прокрутить бы назад время, не Мужу б лицо правил, а прирезал бы Таможенника в темном углу, сам бы Уход получил, так было бы за что — не было бы *этого*. Не создать — сохранить. Это больше чем создать, а главное — спасительней для людей, пусть безымянней, но спасительней. Неделя счастья для Мужа и Жены — невелика награда за все муки. А зато не летел бы поезд, выкручиваясь на лету и давя попавших в железные складки. А огня-то, огня! Цистерну, что ли, кто-то для шутки в состав прицепил...

Недолго Мужу счастье фартило, как подняло, так и опустило, только пониже, чем до подъема жил. Чьи-то ноги прошли по его голове, чья-то нога запнулась в пах — и, как собака, скрючился Муж, хлюпнула жизнь и вывалилась наружу вместе с языком, и не вспомнил он никого, только перевернулся горящий поезд в его глазах и погас, да амулет свинцовый вывалился на пол и откатился под кресло.

А жизнь продолжается. Кто-то двери штурмует. С размаху Таможенником в них, как бревном, бьют. Давно у Таможенника вместо головы мочало, а лупят и лупят; на них насаждают, оттаскивают, а они, как лесорубы, монотонно, как маятник, размеренно, как пулемет, часто, как вдох и выдох, неизбежно... А бабы-то, бабы. В ногти да в зубы, а вон еще — придумают же,

запалили самых усердных. Хорошо горит мясо, бегают, вопит и горит, а все-таки участвует в драке...

Но все не вечно.

V

Вже вроде и вагоны под откосами, а паровоз догорел, додымил, и ни дыма, ни огонька — одна копоть только что и осталась. И кажется, мертво все, нет ничего, только железо и тишина. Ан нет, и здесь продолжается жизнь. Кто со стоном, кто даже спокойно, кто и не поймешь как, но начинают выползать из этой железной свалки.

И неважно оказалось в драке, в этом кружении, у кого Имя, у кого номер, и тех и других лежит навалом, вперемешку, без счета, без разбора, меж стульев, в проходах, на сцене, а возле двери холм вырос и еще чуть шевелится; тоже люди выбираются из небытия.

Только вот как ни крути, а с номерами народу и полегло и уцелело все же больше. И в этом, разумеется, есть свой резон и своя справедливость. Во-первых, Имена и до крушения в сравнении с номерами что ложка меда в бочке дегтя, а известно, что пропорцию и стихия щадит, а во-вторых, все-таки, по идее, большинство меньшинство по стенкам размазывало и медными топорами глушило, а если и наоборот выходило, так это разве масштаб?

Что было, то было, а теперь выползли уцелевшие, оглушенные, вялые, выползли, огляделись, освоились, отошли чуть, мятые-пермятые, крученые-недокрученные, осоловелость с глаз, как скорлупа с головы проклюнувшегося цыпленка, свалилась, и тут же первый пришедший в себя, на вид самый уцелевший, даже рубаха целая, значит, железный боец, а может, конечно, и

случайность или, как Жена, отсиделся, как гаркнет на весь зал: вяжи сволочей во имя нового лица.

И поняли сразу номера, кого связать надо, связали. А чем свяжешь? Рубахи с мертвых баб и мужиков стащили, разорвали и связали, а кто полусопротивлялся, того для примеру ножкой стула и чем там под руку попало еще от крови пьяные номера трахнули, не мучаясь размышлениями. И то верно — какая там жалость, когда их братьев вон сколько по всему залу между разбитыми рядами валяется. Правда, это еще вопрос, кто их положил. Но для кого это вопрос? Для номеров ясно — Имена, конечно, особенно те, кто жив остался, вот эти. Железный на сцену вышел и попросил братьев, по номеру связанных, на сцену волочить. Поволокли.

Мало вот только с Именами в живых осталось.

Жена, конечно, не пропала, в чаду да в аду, полузадохшаяся, под креслами отсиделась, вся в синяках, а, как и железный, почти целехонька. Значит, есть выход, когда вагоны один на один встают?

Нет!

А Жена?

Случайность, разве она одна пыталась вывернуться, уползти, пересидеть, вон они, как под креслами были, так там и остались, кому голову ногами раздавили, кого топором...

Чистая случайность, что и новая Сопредседатель жива, хотя, конечно ее профессия в чем-то не меньше ад, чем тот, что прямо на глазах рассасывается, как вода в землю после ливня. Пяток живых Имен и помельче набрался. Среди них и Директор Музы — занял свободное место.

А номера работают — целые кресла и то, что от них сидячего осталось, поближе к сцене стаскивают, вы-

равнивают, опять в ряды превращают, и почти без ругани, без спора в них рассказываются, да и о чем спорить. Вот она, удача.

Девятьсот тридцать седьмой в первый ряд на шестое место сел и там как всю жизнь сидел, рядом бывший Трехсотый, и прочие времени даром не теряют.

А вот и наш железный, Девятьсот десятый, в кресло Таможенника опустился, правда, не в прежнее кресло, то вдребезги, в клочья разнесено, но на этом месте новое поставлено, не новое, разумеется, вон еще и номер Шестьсот шестьдесят шестой виден на спинке, но место — Таможенника, а значит, и смысл — главное. Сел железным, а встал Таможенником.

И началось.

— Так, — сказал новый Таможенник. — Что мы с вами делать будем? Вы столько наших дорогих нам людей положили.

Один из связанных на него огрызнулся:

— Сами и положили, а то кто же?

Развел руками Таможенник грустно и пожал плечами, из первого ряда поднялись и подошли к поклепщику. И своими руками на глазах присутствующих, как говорится в старинных хрониках, придушили эту гниду, которая смела во время речи Таможенника (до чего дошли эти Имена, избаловал предыдущий Таможенник) перечить.

Номера тоже порядок любят. Оттащили убитого. Жена увидела его вывалившийся язык, и ее передернуло, и напомнил он ей Мужа в постели. И поняла Жена, за что ненавидела она Мужа всю жизнь, когда обрывался в нем запал, — на удавленника был похож. И подумала с облегчением, что освободилась от Мужа, и улыбнулась.

— Улыбаешься? Над нами смеешься? — Таможенник зашелся весь. Как всякий только что захвативший

власть, он, конечно, был мучим комплексом недоверия к подлинности уважения его власти.

Но улыбнулась еще шире Жена и сказала:

— Я просто рада, что ты поступил как настоящий мужчина.

Зря, что ли, она переобщалась почти со всем населением Города, за свою разнообразную жизнь чему только не научилась, а уж с мужиком ладить ей раз плюнуть. Высшая дипломатия отношений была доступна ей, как таблица умножения школьнику старших классов, она-то знала, как сказать и что сказать в такую минуту бывшему Девятьсот десятому, ибо место местом, а внутри он (правда, конечно, плюс опыт крушения) оставался пока прежним Девятьсот десятым, у кого на уме номер повыше (что достигнуто), да баба в порядке, где-нибудь из восьмой сотни. А уж что касается Жены — в этом же зале давно ли, кажется, потел и сопел он, в спинку кресла вцеплялся во время показательной любви. Да и кто уцелеет перед прелестями ее, Жены, тело которой он, как и все, знал наизусть и столько дней носит в душе своей. И он сказал Жене, успокоенный ее словами и поощряемый своим желанием:

— Ты заслужила прощение.

И никто из зала не сказал ни слова, они тоже уважали порядок. Только когда она подошла к нему, села рядом, положила руку ему на плечо, а он правой рукой обнял ее и прижал к себе, то скрипнуло несколько рядом стоявших кресел, и немудрено: почти все они были или разбиты, или еле-еле держались. И подумала Жена про себя, что всегда она жила в ощущении омерзения и от Мужа и от своей жизни; и не исключено, что в этом были виноваты именно Имена, которые сделали ее такой. И эта мысль успокоила Жену, и она,

оглянувшись по сторонам и подметив про себя сильную руку, лежащую спокойно на плече, подумала, что быть парой Таможенника — удача, и все, что случилось, — к счастью; ей повезло. И, радуясь, случившемуся, она начала испытывать влечение к сидящему рядом, и рука ее стала горяча, и бедра ее потептели, и сквозь ткань тепло коснулось ног Таможенника, и тот вздрогнул, и делаемое им в эту минуту было в какой-то мере связано с ощущением около себя женщины.

VI

— Ну что же, — сказал Таможенник. — Перед нами Сопредседатель нашей замечательной и прекрасной Комиссии. Чей отец и чей брат или близкий номер не проходил мимо этого всевидящего ока?.. Посмотрите на это чудовище. — И все посмотрели на это чудовище, и ни у кого даже не шевельнулось сомнения, что можно не смотреть, ни у кого даже не шевельнулось сожаления, что у них, мол, не шевельнулось сомнения, что можно не смотреть. Того, прежнего, Таможенника слушать было бы оскорбительно для духа оставшихся в живых номеров, а этого — нет. Потому что он был — они. А себя разве оскорбительно слушать? А что касается привычки, опыта послушания, им ли было его занимать!

Все дружно, и даже те, кто скрипнул расшатанными креслами, посмотрели на Сопредседателя. И было на что посмотреть. Ткань на груди, и на поясе, и ниже была разорвана, и сквозь все это розовело молодое красивое тело, и только около шеи краснела ссадина, произведенная чьей-то неточно направленной ножкой кресла или другим достаточно острым предметом, например женскими ногтями.

— Но мы не видим, — сказал Таможенник, — какая она на самом деле. — И он толкнул Жену в бок, та подошла и, не развязывая Сопредседателя, оборвала остатки ткани с ее тела.

— Теперь видите, — Жена подняла глаза на сидящих, их было все-таки мало, и глаза многих из них были знакомы ей. Но сидящие занимались возмездием и, конечно, ничего того, что знакомым было Жене и хотелось им, позволить себе не могли.

— Теперь видим...

Жена хотела вернуться, но остановил Таможенник. — Подожди, поскольку мы представляем здесь наших братьев, которые полегли здесь, и он показал рукой в зал, — мы должны разобраться в степени вины каждого оставшегося в живых нашего врага. — Первым, — Таможенник показал на Музиного Директора: — Начнем с него. — Связанный дернулся. — Сиди, сиди.

Жену не нужно было ни о чем просить, она быстро усвоила новые обязанности. Под слова зала: «Он не должен ничего скрывать, — долой их тайны» — Жена досорвала с Директора все оставшиеся на нем тряпки.

— Развязать их, — приказал Таможенник, показывая на Сопредседателя и Директора.

Жена развязала их.

— Посадить друг против друга.

Жена повернула кресла и помогла Сопредседателю и Директору сесть поудобнее. И все это искренне усердно и доброжелательно. «Все-таки свой, — мелькнула у нее мысль в голове, — хоть в чем-то помочь».

Пересаживая Директора, она даже нежно провела по его плечу, но достаточно незаметно, чтобы это не увидели сидящие в зале. Исполнив свои обязанности, Жена вернулась в свое кресло, и опять Таможенник

обнял ее и прижал к себе. Весь напрягся, заострился и подался вперед.

— А теперь выполняй свои обязанности, — сказал Таможенник Сопредседателю, — ты же профессионал, и если сделаешь это достаточно хорошо, то...

Он не сказал, что «то», но по его виду можно было понять, что возможен и Уход, но и помилование не исключено. Остальные связанные вжались в свою связанность и тоже замерли. Кажется, появлялся шанс служить новому Таможеннику. Боже мой, как далеко было то спокойное время, когда ничего не надо было выбирать, можно было жрать, пить, спать, ходить на работу, и жизнь была ясна, как номер, который они имели и конечно же заслужили. И не думать ни о каком новом лице. А ведь он, Стоящий-над-всеми, был предсказан своим, вот тут уж ломался мозг, разгадывая эту загадку. Да, он был даже более они, чем они сами, только и всего.

— Ваше Имя, — сказала Сопредседатель, у нее тоже мелькнула надежда...

И началась привычная работа для Сопредседателя, уже не было ни зала, ни драки, ни ощущения, что Таможенник смотрит на нее и нужно стараться справиться со своими обязанностями.

У подсудимого тоже появилась надежда; ведь было ясно, что он такой же участник драки, как и сидящие в зале, ничуть не более виноват, чем они. Да и допрос на людях — это нечто другое, чем один на один в кабинете Сопредседателя.

— Директор!

— Как давно?

— Уже два года.

— Сколько делали операций поправок, чтобы получить это Имя?

— Шесть.

— Отчего такая забота о вас?..

В зале возмущение, никто из них даже в случае самом благоприятном не мог рассчитывать на две поправки, в лучшем случае — одну.

— Какая же первоначально была ваша степень подобия?

— Минус двадцатая.

Зал выдохнул: «Чудовищно!» Со степенью минус десять они сидели в средних номерах!

Из дальнейшей беседы Директора и Сопредседателя было выяснено такое количество нарушений Закона операций, что все было ясно через полчаса. И несмотря на все увертки, подсудимый выходил на ту главную и единственную правду, десятой доли которой хватило бы и для Ухода в мирное время. А сегодня, перед номерами, после стольких жертв... Но Сопредседатель была безжалостна.

— Вы сами верили в справедливость Закона операций?

После ответа, что нет, но честно выполнял свои обязанности и весь Город воспитывался на сделанных им передачах, которые неизменно поддерживали общее отвращение горожан к иной жизни, Сопредседатель задала с виду невинный вопрос:

— А не казалось ли вам, что, воспитывая отвращение к иной жизни, вы воспитывали отвращение вообще ко всему новому?

— Конечно, — последовала непосредственная реакция подсудимого.

— Следовательно, — лениво и небрежно уточнила Сопредседатель и даже улыбнулась, — и... к новому лицу.

— Следовательно, и к новому лицу, — испуганно выдохнул полубезумную в данных условиях фразу

подсудимый. И глаза его наполнились ужасом. Убей бог, он сам никогда бы не додумался до этого, а теперь он понял, что действительно заслуживает Ухода... И приговор был оглашен...

— Учитывая те-то и те-то вины, — сказала, поднявшись, Сопредседатель, но поднялась она несколько резко, и кожа на шее напряглась, разошлась рана, и из-под корочки спекшейся крови показалась свежая, ярко-красная капля, скользнула по груди, остановилась на мгновение и поползла по животу, ниже и ниже, скатилась по бедру и наконец растеклась возле правой ноги. На сцене образовалась лужица, но Сопредседатель была увлечена своей работой и победой и не заметила этого.

— Учитывая нанесение подсудимым того вреда, который неизменно на протяжении многих лет причинял он, или, скажем точнее, под его руководством было причинено Городу, — Сопредседатель читала, как бы по листу, лежащему на ладони, но на самом деле листа не было, и она несколько раз на ходу переформулировала текст, но в общем говорила гладко и действительно профессионально.

«Да, это мастерство, — отметил про себя Таможенник, — надо учиться». И он учился.

Далее следовал еще ряд вин, в которых и не сознавался подсудимый, о которых не шла речь, но которые (и это понимал каждый) вытекали только из одного признания воспитания отвращения к новому лицу.

Они, которые именем этого нового спокойно выполняли свои новые обязанности, в которых не было не только ничего предосудительного, а даже, наоборот, был подвиг служения новой идее, тоже были в некотором замешательстве от неожиданности такого количества вин, вытекающих из одной — не осознан-

ной подсудимым. И каждый невольно стал примерять на себя эти вины, и в какой-то мере выходило, что все они выполняли ту же роль, ну, может быть, на другом уровне, чем подсудимый. И Таможенник тоже задумался, но задумался иначе, чем зал. Вот он-то — нет, и подобного быть не могло, но сидящие в зале... об этом позже стоит подумать, подумал он и еще сильнее стиснул плечи Жены.

— Довольно, — сказал Таможенник, и все вздохнули с облегчением, а то Сопредседатель и впрямь могла начать перечислять и их вины, и тогда... — Поскольку у нас нет возможности выполнить Уход по правилам... кстати, вы знаете, что такое Уход по правилам?

Сопредседатель от волнения переступила и чуть не упала, поскользнувшись в собственной крови; хорошо еще, ее поддержал один из подсудимых, она поблагодарила его легким кивком.

— Нет, это уже не мой участок.

— А жаль, — сказал Таможенник, — будем выполнять кустарно, подручными средствами. Но вам тоже придется освоить новую профессию. Исполнителем Ухода назначаетесь вы...

Одобрение засветилось на лицах зала. Правильно, пусть сами выполняют Уход друг другу. Ведь если бы они заранее учили новому лицу, может быть, и не случилось ничего плохого сегодня в зале.

Последовала пауза, а потом вместо сурового, четкого, жесткого и прикрытого мягкой маской лица профессионала все увидели слабую женщину, которая почти разревелась, то есть не то чтобы разревелась, но слезы заскользили по ее лицу. Она, и это было правдой, не умела произвести даже ремесленного Ухода. И не потому, что не видела, как это делается, а только потому, что слишком много сил и

лет жизни отдала другому ремеслу, ремеслу, которое было ограничено только дознанием, обвинением и проверкой.

Конечно, Таможенник не растерялся. Он обратился к подсудимому с вопросом, может ли тот привести в исполнение приговор суда сам. Тот отрицательно покачал головой, довольно задумчиво, потому что его искренне мучила вина и неожиданность, что его обязанности, точно и свято выполняемые им столько лет, оказались столь вредны для Города.

— Тогда, — продолжал неутомимый на выдумки Таможенник, столько энергии в нем накопилось за годы надежды, а реализации никакой, немного-то потратишь эту энергию, монтируя передачи. — А ей вы можете... исполнить ремесленный Уход?

Да, Директор остается Директором. Даже если он приговорен к Уходу и подавлен своей виной. Его заинтересовало это предложение, и беспокоила только мысль: что он будет иметь за это?

— Сядешь в зал на последние ряды, — немедленно прореагировал Таможенник.

— Могу, — сказал, подумав, подсудимый. И опять увидел перед собой не женщину, по телу которой бежала кровь, а сурового Сопредседателя...

— Тогда я тоже могу, — сказала Сопредседатель, смотря в глаза подсудимого, а потом в зал. Ах, как был тонок и умен новый Таможенник...

— Я думаю, подсудимого нужно наказать дважды: первый раз за его вину, а второй раз за то, что он так быстро забыл свою вину и согласился на помилование, которого не заслуживает. Но у нас и самый справедливый суд из всех существовавших, и новый. Раз уж мы предложили — сначала он выполнит ремесленный Уход ей, а потом мы решим.

И Директор выполнил ремесленный Уход Сопредседателю: он взял за ноги это молодое и красивое тело и грохнул головой об пол сцены это молодое и прекрасное тело.

— Выполнил хорошо, — сказал Таможенник, — но мы потерпим с вынесением окончательного решения. — Он стиснул бедро Жены и, обернувшись в зал, подмигнул ему.

Услышав это, Директор перехватил Сопредседателя, взял ее на руки, правая рука под коленями, левая за спину, и понес в грудь других тел и бережно опустил, так, чтобы ей удобно было лежать, и даже поправил ей голову.

VII

— Мы назначаем тебя выполнять пока обязанности Сопредседателя.
— Следующий подсудимый!

Это была девочка, только недавно переступившая порог зрелости. Жена узнала ее, это кандидат будущего года на имя Жены, ее будущая соперница. Таможенник стал сразу чрезвычайно любезен. Он менялся на глазах. Только что все видели остроумного, несколько развязного и энергичного человека, и вот уже перед залом был, можно сказать, воспитанный человек, если не видеть, как его руки, никоим образом не связанные ни с внимательным и добрым лицом, ни с ясно смотрящими глазами, щупают ляжки и грудь сидящей с ним Жены... Но какое это отношение имеет к делу, которым он занят?

Девочка была хороша. Настолько, что Жена не выполнила своих прямых новых обязанностей, дабы жалостью не тронуть, может быть, чувствительные души

номеров, — и полуразодранная ткань осталась на ху-
деньком теле девочки.

А Директор, пока уцелевший в этом честном, но-
вом и справедливом суде, уже начал допрос, несколько
волнуясь за то, что не сможет так же профессионально
вести следствие, как его предшественница. Но то ли
в силу профессии частенько приходилось разбираться
в винах своих подчиненных, прежде чем он передавал
их в Комиссию, то ли в силу пережитого (очень часто
пережитое делает нас мудрее и искреннее в жизни), то
ли в силу неких других причин скрытые способности
следователя, до сей поры не нужные, обозначались в
нем. Мало ли их, людей, которые на склоне лет начи-
нали быть юношами, предаваться излишне любви или,
наоборот, заниматься политикой, исключительно
в силу того, что накопившийся и неиспользованный
опыт желал выйти наружу и показать себя окружаю-
щим.

Так вот, после буквально семиминутного допроса
выяснилось, что практически обвинить ее не в чем,
нигде она не работала, ничему она не способствовала,
нигде она не состояла, ни в чем она, по сути, не вино-
вата. Конечно, иной на месте Таможенника мог запо-
дозрить Директора в тенденциозности и в желании
поспособствовать своим, но Таможенник был доста-
точно умен, чтобы догадаться, что при всем старании
трудно что-либо извлечь из этой испуганной свежей,
наивной и милой — в эту минуту он взглянул на Же-
ну — девочки. И та, Жена, понравилась ему именно
в эту минуту даже меньше... Но, с другой стороны, Та-
моженник был достаточно умен, чтобы понимать, что,
даже невинная, она принадлежала к Именам. Следова-
тельно... Ведь правосудие превыше всего, думал Та-
моженник, и оттого, как именно пойдет дело, будет

зависеть его продолжение. А потом, здесь — это здесь, но еще есть завтрашний день, и завтра придется отчитываться перед Новым Лицом...

Неизвестно, о чем бы еще долго думал Таможенник, непроизвольно все сильнее сжимая бедро Жены, и таковы по усилию были его мысли, что Жена не выдержала. Но как опытная и воспитанная женщина, конечно, не дала ему по морде, не оскорбила, не заспорила, не пожаловалась на его поведение сидящим вокруг (а у тех относительно Таможенника был такой же примерно длинный ряд мыслей, как и у Таможенника по поводу того, что ему делать). Нет. Жена спокойно встала, вышла на арену, чуть прихрамывая (все-таки у Таможенника были пальчики дай бог), подошла к Директору, взяла его за нос, отчего, конечно, все в зале засмеялись, этак сочувственно и доброжелательно, отвела Директора в сторону и села напротив девочки.

— А скажи, — сказала Жена ласково, — ты ведь должна была в будущем году быть кандидатом на имя Жены?

— Да, — сказала девочка и поспешно прибавила, что ей так сказали и готовили для этого, но почти не делали поправок, так, очень небольшие, ее лицо имело природное высокое подобие.

— Конечно, старому лицу, — уточнила так же вежливо, улыбаясь, Жена.

— Но другого не было, — виновато, но искренне ответила девочка, — другого мы просто не знали.

— И пожалуй, последний к тебе вопрос. Ведь на будущий год, будучи избранной Женой, ты бы, конечно, искреннее и старательно выполняла свои обязанности?

— Конечно, — сказала девочка.

— И тем самым продолжала бы служить тому, что для всех нас теперь отвратительно и невозможно?

— Выходит, что так, — сказала девочка. — Хотя я же не знаю, как бы это было...

— Стала бы служить пропаганде старого лица, — почти про себя проговорила огорченно Жена, и развела руками, и встала из кресла. И сидящие в зале, каждый внутри себя, встал из кресла и огорченно и сочувствующе развел руками.

Директор выполнил теперь свою вторую часть обязанностей.

Потом уже профессионально перехватил девочку — правая рука под колени, левая за спину, и отнес туда же, к груди, также старательно положил тело, поправив голову.

Таможенник был разочарован в Директоре. И весь зал был разочарован в Директоре в качестве следователя, очень разочарован. До такой степени, что все не могли скрыть своего разочарования.

— Развяжите оставшихся троих, — попросил Таможенник Директора.

Директор сделал это. Жена в это время опять села в кресло, приготовившись выполнять так хорошо начатые обязанности.

— У вас затекли руки? — доброжелательно спросил Таможенник. Это было видно и так, невооруженным глазом. — Ну хорошо, — сказал он. — Сейчас с вами проведет серию упражнений на разминку наш Директор. Прошу, — сказал он Директору.

Тот перетащил свое голое усталое тело на середину сцены, и началось.

— Руки вверх, и раз, и два, и три... на грудь. Присели, еще раз и выпрямились, и раз-два-три, раз-два-три, и раз...

Гимнастика, наверное, продолжалась бы и дальше, но сидящие в зале заскучали, и движением руки Та-

моженник прекратил эту великодушную процедуру. Подсудимым она явно помогла, руки, кажется, опять начали подчиняться им.

— А теперь, — сказал Таможенник, — я думаю, пришла пора... Как руки? — обратился он к трем подсудимым.

— В порядке, — за всех ответила рыжеволосая женщина, сделав несколько движений кистью, и улыбнулась Таможеннику и залу.

Таможенник продолжал свою речь, тоже улыбнувшись ей:

— Пришла пора выполнять данное нами обещание наказать Директора. Во-первых, за вину, во-вторых, за не само наказание, и в-третьих, это произошло на ваших глазах, — он обращался и к подсудимым и к залу, — он выполнил Уход женщине, которая отказалась это сделать ему, то есть не оценил ни ее благородства, ни нашего великодушного решения — дать ему возможность проявить себя с нравственной стороны.

И почувствовал Таможенник, что и зал и подсудимые на его стороне. Тут не может быть двух мнений, — каждый испытал чувство брезгливости к Директору, а что сами они поступили бы, вероятно, в этой ситуации, как бедная женщина, которая отказалась выполнить Уход, у них не вызывало сомнений.

Ах, как много значит поддержка! Таможенник мог уже быть гуманен, либерален. И он разрешил — не приказал, не настоял, а именно только разрешил, если, конечно, трое подсудимых хотели это сделать, — провести Уход Директору, которого он заслужил только за одно свое поведение в последние часы работы зала.

VIII

К сожалению, до конца провести Уход трем подсудимым во главе с рыжеволосой женщиной не успели. Вверху распахнулись двери, и в зал ворвалась толпа. Это были разноликие люди, это были те, кто не имел ни имен, ни номеров. Они жили на самой окраине Города. И только когда Город собирался в Зале Дома, им разрешалось подходить к площади перед Домом и, стоя под навесом, который натягивался по такому редкому и торжественному случаю, слушать музыку, что слетала к ним со стен дома, энергично и неуклюже, словно лебедь, перед тем как садиться на воду, но для них это была великая музыка причастности главной жизни Города, музыка невозможной надежды и музыка несуществующей перспективы. А сегодня не было музыки, сегодня Стоящий-над-всеми переозвучил ее в слова и полноправие их, стоящих век за веком вот здесь, на площади, раз в году во время выбора Главной пары, только понаслышке зная о том, как это происходит, ни разу не переступивших порога Дома и домов, в которых жили имеющие Имя или номер, — их, выполняющих самую черную работу в Городе, их, лишенных будущего, потому что будущее было таким же, как настоящее. Их Стоящий-над-всеми перевел сегодня в это несуществующее будущее. Город был отдан им, разноликим, разноглазым, Стоящим-над-всеми. Могли ли они не поверить ему, если во время речи его движением руки его был остановлен дождь, услуга, плата за этот дар была удобна, необходима, желанна им; уничтожить в Городе все живое, носящее старое лицо, и неважно, что, когда Стоящий-над-всеми кончил говорить, хлынул дождь с силой,

с какой он не шел в Городе, будто не шедшая временно вода скопилась и вылилась наземь. Люди силой своей, напором своим, правом своим, телами своими выдавили двери Дома и хлынули внутрь, и как танк давит, не замечая, улитку, как лавина сносит тоненькое деревце, как самолет разбивает птицу, — так и оставшиеся в зале подсудимые вместе с Директором и Таможенником исчезли под нахлынувшими руками, зубами, ногами. В пять минут все было кончено. У всех оставшихся в живых в зале было старое лицо, а ворвавшиеся твердо знали свое дело; любое старое лицо любой степени подобия должно быть уничтожено в течение этого дня, как пойманный клоп или таракан. И лавина, прокатившись через зал, выкатилась наружу, растеклась по Городу, по домам, по лабораториям, по улицам, так же старательно и тщательно уничтожая все, что попадало ей в руки, — так саранча опустошает поле, если он попадет на ее пути.

IX

И пришла Муза в себя, когда Гример натягивал рубаху ей на плечи, он налил ей стакан ледяной воды, от которой заломило зубы, вытерла Муза, выпив этот стакан, свои и теперь не свои губы: мягче, больше стали они, и показал ей Гример лицо ее, и удивилась Муза. Прекрасно было это лицо. И шевельнула она головой, и волосы сзади, как будто ветром подхваченные, полились Музе на спину.

— Это я? — спросила Муза. И увидела свои новые широко распахнутые глаза, лицо длинное, белое, нежное, нос тонкий и прямой, и лицо это было строго и исполнено силы. Только болело. — А зачем ты сделал это? — сказала Муза. — И мы не остались в зале?

Но, наверное, у всех людей бывают пределы, и у Гримеров тоже. Слишком много сил ушло и на Стоящего-над-всеми, и на Музу. Гример молчал, и, пока он молчал, пытаясь для себя ответить на этот простой еще недавно вопрос, вслух объяснить Музе зачем, двери открылись и в его кабинет ворвались люди, которые, сметая все на пути своем в Зале Дома, вывалились на улицу и растеклись по домам, где жили и работали имевшие старое лицо, и остановилась только раз волна перед чудом, отхлынула, словно налетела на стену. Они увидели новое лицо — лицо Стоящего-над-всеми, которое жило в их памяти, и, отступив, они подошли, бережно подняли Музу на вытянутые руки и медленно и торжественно понесли ее в Зал Дома, чтобы показать всем. Они стали рабами Музы, но и она теперь принадлежала им.

Уходя, не обернулись они, что им было до человека, сидящего в углу, опустившего руки на колени, — в такую торжественную, святую минуту они не хотели пачкать руки, несущие Музу, а старое лицо никуда не денется — идущие вслед смоят эту грязь и выполнят свой долг.

И Гример встал, надел плащ и вышел за ними почти равнодушно.

Так мертвые отдают свое тело червям, так мертвые отдают свое тело огню и летят пеплом по ветру, слабо и медленно, нежно и тихо, как сожженные обрывки письма от того, кто был любимым и уже безразличен...

Гример опустил капюшон на лицо и медленно побрел вниз к домам, по улице, которая здесь, около лаборатории, была пустынна, только оттуда, снизу, где были дома горожан, слышались крики или стоны. Стоны обрывались, и крики взрывались веселым гулом голосов, потом стихали, и опять через некоторое вре-

мя гремел этот почти подземный гул — как будто ворочался вулкан внутри себя. Как будто голоса играли в детскую игру «холодно — горячо», и когда «холодно» — было тихо, а когда «горячо» — вулкан рычал.

Когда Гример спустился за пределы зоны Дома, он понял принцип тишины и гула — толпа металась по улицам, кто-то из ее числа вскакивал в распахнутые во всех домах Города двери, и толпа молча ждала на дожде, и дождь хлестал на порог этих распахнутых дверей и затекал в подъезды, и лужи стояли в подъездах, и вот, разбрызгивая воду этих луж, вошедшие вытаскивали оставшихся в живых обитателей этих домов, и тогда толпа приветствовала ревом их удачу, все подхватывали беспомощного против этой силы человека и, на руках неся его, поднимались к Дому.

Гример остановился около толпы, не открывая капюшона, растворился в ее рядах и вместе со всеми стал ждать около одного из подъездов, молча, как ждали молча добычи окружавшие его. И вот он увидел, как из подъезда вытащили полуживого в разорванной одежде человека, с обезображенным ударами лицом, толпа взвыла радостью, с человека сорвали остатки одежды, и голое тело взмыло над вытянутыми вверх руками, и струи дождя, как барабанные палочки, замолотили по коже человека, выбивая свою победную дробь. Дождь тоже принимал участие в празднике. Чтобы досмотреть это действие, Гример тоже коснулся пальцами тела человека и вместе с толпой отправился вверх, к Дому. Пока люди шли по улицам, никто даже не обратил внимания на Гримера; они были упоены своей миссией, они, что еще вчера не смели ступить шага по этим камням, сегодня были властью, дознанием, судом. И может, не раз бы Гример пропутешествовал по улицам, а потом отсиделся бы где-то, что-

бы еще хоть раз издалека увидеть Музу, новую жизнь нового Города с новым лицом, увидеть дело рук своих, но именно руки и подвели его. Не лицо — оно было под капюшоном. Когда люди, обойдя Дом, вошли через черный ход в зал, который Гример, проживя жизнь в Городе, никогда не видел, и вспыхнул свет — ударил в закрытые капюшонами лица и осветил руки, то возле спины обреченного, окруженные волосами, скрюченными, короткими, жесткими пальцами, занялись белизной и тонкостью своею пальцы Великого Гримера. Так в болоте, пахнущем смрадом, вопреки здравому смыслу цветет лилия. Лилия. Вот люди швырнули на пол полуживого человека и, окружив Гримера, сорвали с него плащ, одежду, и, увидев старое лицо, загомонили и удивились бесстыдству и пронырливости своих предшественников, и еще раз убедились, как справедливы они в охоте своей. Дойти до такого цинизма, чтобы идти в рядах их. И, подняв Гримера над головой, подошли к двери Ухода, и опустили Гримера, и поставили его на черную площадку — верхнюю ступень лестницы, ведущей вниз. И Гример встретился с глазами лежащего на полу человека, и улыбнулся, и кивнул головой, и потом перевел око на людей, которые смотрели на него из-под низко надвинутых капюшонов, так что трудно было разглядеть лица. Может, и среди них были те, кто знал Гримера, а впрочем, какое это имеет значение. Человек исполнил то, зачем он был послан в этот мир. Уход — это дело времени и техники, которые исполнившему безразличны. А люди смотрели на Гримера и ждали его реакции — уж больно по-разному уходили на их глазах пойманные, кто — плача, кто — падая на колени, целуя ноги казнивших его, кто — пытаясь сопротивляться, и тогда приходилось слегка придушить смешного человечка,

чтобы он не суетился перед Уходом. И удивился Гример опять самому себе — не было в нем в эту минуту ни страха, ни удивления, ничего, кроме мертвого любопытства. Как не было его ни в зале, когда он выво-дил Музу, ни на улицах Города, ни сейчас. Наверное, и страх, и любовь, и желание остались там — в лице Сто-ящего-над-всеми, которое светило этим людям так ярко и было так всемогуще, что именем его им было все позволено, все прощено, все оправдано. И двину-лась лестница под ногами Гримера, и заскользила вниз, и разошлись двери, и, щелкнув, сошлись за ним, — так рот рыбы, попавшей на сушу, закрывается судорожно и беззвучно. И пока открывалась дверь, рассмеялся Гример в своей неживой улыбке. Муза — жива. И не страшно, что не будет его, Муза — это тоже Гример. И ее будут любить эти скрюченные жесткие пальцы, и она научит их нежности своей, которую она открыла с Гримером. И опять улыбнулся Гример, мож-ет, своей наивности, а может, правде, которую он видел или хотел видеть таковой. И перевел глаза из внутри себя — наружу, и увидел Гример в первый раз высокий зал, голубой сферой теряющийся в высоте, а внизу перед ним застывшее неподвижное зеркало чуть желтоватой воды, и это зеркало едва дрожало в том месте, где лестница, движущаяся под Гримером, уходила в воду, и мыльные круги расходились и снова гасли недалеко от этой лестницы. Тяжела и малопо-движна была вода, словно масло было разлито по ее поверхности.

Пусти, брось, швырни сюда весь Город с его новы-ми обитателями, и ни капли, ни волны не колыхнется на этой тяжелой поверхности, такова и человеческая память, в ней тонут, растворяются, гаснут судьбы, тела и события, великие гримеры и великие идеи.

Спокойно Гримеру уходить, не зная, а следовательно, и не помня, что Город сошел с круга, распалась связь времен. Последний Гример сейчас двинется навстречу густо-зеленому, тяжелому безмолвию и беспамятству, некому будет на этих лицах вырезать черты красоты, благородства, строгости и канона, нового канона, ибо тайна ремесла и искусства, вместе с пальцами, тонкими, белыми, хрупкими, чуткими пальцами Гримера, и его умом, оснащенным извечным родовым умением творить лицо, истают сейчас вместе с этим единственным, вremenным, проходящим телом, в которое была заключена традиция рода, а Муза, которую он оставил людям, будет стареть и наконец уйдет за ним, а если успеет родить детей, они не будут похожи на Гримерову Музу, рукотворную Музу, у них будут первородные лица, которые были у каждого из жителей этого Города внутри себя. «Дети Музы будут похожи на людей без лица», — так бы подумал Гример, зная будущее. «У них будут свои лица», — так думал Стоящий-над-всеми, который знал будущее раньше, чем оно началось.

Город сошел с круга, Город свели с круга, и кто его знает, что ждет того, кто вышел из повтора и примера; никто не возвращался к своему первородству за всю историю Города, а может, это и не возвращение к первородству...

Вздрогнула лестница под Гримером, остановилась, когда до воды оставалось полметра, и Гример качнулся вперед, но удержался и удивился тому, что движение прекратилось. Но это была иллюзия, просто движение стало медленным и почти незаметным. Вот до воды остались сантиметры, с виду она была мягкой, и пар шел от нее, вода была теплее воздуха. Ее тепло втягивало в себя.

И Гример подумал, что пора вспоминать и Музу, и Город, и свою работу, которая приносила столько радости.

— Ведь приносила? — спросил он сам себя.

— Приносила, — успокоил он тут же спрашивающего.

— То, что сейчас происходит в Городе, — тебе страшно? Ибо ты причина происходящего?

— Страшно, но ты знаешь, что и не только ты причина происходящего, — успокоил он спрашивающего.

— Но если бы не было тебя — так ли все было?

— Может, и не так, может, и страшнее, может, и...

И тут подошвы Гримера коснулись воды, сначала тепла, а потом уже воды. Да, это было знакомое ощущение, но времени, на что оно похоже, вспомнить уже не хватило, потому что мысли стали через ноги уходить в воду, а сами ноги в этой прозрачной зеленоватой воде становились невидимы, они таяли, как тает сахар в кипятке, самолет в небе, снежинка в ладони, как заря поутру. Но не было боли. А вода уже творила бедра, живот, грудь, и не было боли, и была истома, покой и смирение вместо тела, и становилось тепло в мыслях. А потом стал раскаляться свод над головой, и этот жар коснулся глаз Гримера, и, как в парилке, тело, прежде чем нагреться, покрывается гусиной кожей, глаза Гримера замерзли, и замерзли слезы, что выступили на них, и Гример попытался сквозь лед увидеть свод, и воду, и то, что еще осталось от тела его, и взгляд стал проваливаться в этот лед, — так ломает кромку льда попавшая в полынью лошадь, но сани тянут ее ко дну, так самолет, потерявший управление, — все еще живы, прекрасно точны и умелы руки летчика, но катится земля навстречу бильярдным шаром, и так собака, попавшая к живодеру в сетку,

бьется, пытаюсь вырваться. И не стало уже воздуха от духоты и жары, наконец осилившей холод, пухло горло, и крик лез через растаявшие глаза, потому что рот уже был в воде и плыл туда, вниз, влекомый течением к выходу, и кричали глаза в красный свод, и покраснели глаза, растаяли, и зашли розовые глаза, не как заходит солнце в затмение, а как закатывается оно, отслужив свой срок совсем, а не на время полусуток, и равнодушно слушал этот крик свод и постепенно успокаивался и голубел. Так догоревший дом зарастает травой и становится зеленым лесом, а спустя века пойди догадайся, что здесь было государство или стояли высокие башни, над которыми голубел свод, а внизу, не колеблясь, застыло зеркало озера.

Только еще маленькие круги появились от почти незаметного движения лестницы, и глаза и мысли Гримера через узкое клокочущее горло выливались на улицы Города в его вечные каменные каналы, и им стало ясно и спокойно, потому что впереди был долгий путь по каналу на окраину, за пределы Города, в воды реки, которые принимали в себя канал, а потом по старому руслу в океан, который вечен и постоянен, который зелеными своими очами смотрит в голубое небо. Но это потом, а сейчас вокруг были привычные дома, камень, который не боится воды.

Так же привычно шел дождь, и Гримеру казалось, что где-то плакала Муза.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Книга Леонида Латынина «Гример и Муза» означена автором как «роман». Но это именно «сверхповесть», «сверхописание», наполненное яростным стремлением охватить весь онтологический спектр существования, весь путь человека-пилигрима, всю школу его соблазнов, все его мучения — от пола до пытки, от одоления себя до одоления другого. Все «местное», «частное» решительно вычитается из времени и пространства этого квазиромана. Его циферблат показывает не конкретно-историческое, а мировое время. Его сюжет вне каких-либо географических широт, точнее, он их много шире.

...Тяжкая тотальность гнетет некий Город и его жителей, как бы размытых нескончаемым дождем, напоминающим более о метафизике, чем о метеорологии, жителей, как бы расплюснутых этой тяжестью.

Но это не оруэлловская или замятинская полицейская гипердиктатура. Полиция в «Гримере и музе» в лице Таможенника — лишь служанка тамошней онтологии, самого способа пребывания в нем человека. Человек же здесь не прикреплен к каким бы то ни было определенным формациям и режимам. В «Гримере и Музе» даже современная технология приобретает досовременные черты, приближаясь к магии или искусству, позволяющему герою — Гримеру менять своим скальпелем лица человеческие в направлении их хотя бы отдаленного сходства с неким таинственным, совершеннейшим Образом. И Образец здесь также не

имеет ничего общего с Благодетелем или Большим Братом популярных антиутопий. В «Гримере» сюжет изображает не какой-либо политический режим или социальный строй — типа «муравьиного социализма». Режим и строй самого события становится содержанием книги.

Скажем прямо: такие книги трагически редки в литературе, а тем более текущей, простодушно дифференцирующей мир в своих сюжетах. Единственная русская книга, несколько напомнившая автору фантазии Латынина и едва ли известная современному читателю, — это роман забытого киевского писателя, неудачливого блоковского корреспондента Ивана Пантюхова «Тишина и старик» (1908), названный им «мировой сатирой», мистериально воссоздающий мировую же схватку «души» и «материи».

«Мировая сатира» Леонида Латынина в изображении Города-мира собирает весь его трагический опыт пребывания не столько в той или иной истории, сколько между Жизнью и обрядом насильственного «Ухода», между прожигающим человеческую плоть эросом и сияющим на трансцендентных высотах Образцом, между подругой Гримера Музой, воплощающей гармонию на расстоянии вытянутой руки героя, и всеобщей рознью, между Таможенником, процеживающим через фильтры «тотальности» мировое вещество, и вдохновенным превращением последнего под творческим резцом-скальпелем Гримера.

То, что по условиям этих мегалитических тем пребывает где-то между ними, как необходимое следствие извечного разорванного состояния человека, распятого между дольным и горним — его тысячелетнее мучительство — здесь вынесено в начало и конец книги, в пытку героя огнем и водой.

Некогда Гоголь написал в «Тарасе Бульбе»: «...ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки, и... Не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых ды-

бом поднялись бы их волосы». Затем литература еще долго обходила пытку молчанием, и уж не является ли это одной из тысячи причин ее возвращения в гражданский быт нашего века?

Пытка в «Гримере и Музе» становится как бы апофеозом социальности, вершинным явлением в межчеловеческих связях. Спорно? Но пусть автора опровергает академическая социология, по роду своих занятий убежденная в обратном. Покамест же можно лишь напомнить, что в свое время умнейший реакционер Жозеф де Местр, один из самых глубоких и фанатичных «таможенников» цивилизации, утверждал, что центральным ее персонажем является — палач. Этот тезис де Местра вызвал бурю либерально-гуманистических антитезисов, но ни один из них, даже самый острый, нисколько не уменьшил количества палачей, и соответственно пыток в нашем душевном, да и другом городе.

И все же во имя чего в «Гримере и Музе» люди так мучают друг друга? Масштаб этой «мировой сатиры» становится особенно очевиден в ее воссоздании нескончаемой человеческой состязательности, гонки, ярмарки тщеславий, всесветной биржи, где эти тщеславия не в состоянии угомониться ни на минуту. Какой уж там тоталитаризм, который, по крайней мере, теоретически должен гасить индивидуалистический избыток, чрезмерные амбиции того, что Достоевский назвал «собственным хотением». Скорее, тотальность такого «хотения», стремления опередить ближнего и дальнего, уродливый массовый наполеонизм.

Здесь книга Латынина, событийно пребывающая, как див в иранском эпосе, «здесь и не здесь», неожиданно сближается с весьма локальной, «московской» прозой Юрия Трифонова, герои которой превращают мировой город отчасти в борцовскую площадку, отчасти в лоте-

рейный стол. Но эта книга, решительно снимая какой бы то ни было местный колорит, метафорически и даже метафизически пересчитывает ситуации такого рода, превращая тем самым ярмарку восточноевропейского тщеславия в мировую. Фабульное, сюжетное изобретательство автора конструирует чудовищную структуру, в которой анонимное, безымянное постоянно переплещивается в предприимчивое самозванчество. Здесь человек осуществляет себя, лишь опережая другого. Интегральная энергия автора позволяет ему вовлечь в свою метафору тотальной конкуренции множество ее «поджанров» — от политической интриги до публичного секса — иронически, даже юмористически, а затем и трагически их транскрибируя.

Эта сторона книги особенно отмечена современной историей. Отечественный тоталитаризм всех цветов теоретически анафемствовал человеческому соперничеству, практически — весьма поощрял его, хотя и в скрытных, превращенных формах.

Сегодня наша либеральная интеллигенция, как дитя погремушкой, тешится счастливой перспективой свободного рынка и других экономических склонений названного соперничества в его уже совершенно явном, узаконенном виде.

Естественно, забыто (да и едва ли когда-либо осознавалось), что вся западная литература от промышленной революции до первых раскатов революции «научно-технической» — это нескончаемый вопль эстетических стихий против этого соперничества, против разрушающей «душевный город» розни. Возможно, нет других путей реального хозяйствования, но духовное хозяйство человечества предполагает возникновение в нем некоего необходимого апокалипсиса этой розни. У Адама Смита, сочинившего политэкономический панегирик «свободной конкуренции»

(кстати, какой странный оксюморон, вроде «социалистического соревнования») и его столь же оптимистических вступают, своя цеховая задача, но своя и у искусства.

Книга Латынина воссоздает не историю, но извечную психологическую морфологию пресловутой соревновательности, на которой целые социальные формации сделали себе карьеру — одни похвалой, другие хулой, между тем как одоление человека человеком, начавшись чуть раньше поединка Иакова с Ангелом, похоже, склонно закончиться с самой историей человека.

Весь роман — как бы еще в чужой, то есть неосвоенной литературе, в неизведанной ранее манере, без прямых предшественников, вне современных параллелей. К «пытошным записям» в книге в качестве некоего принципа трагической дополнительности присоединяется художническая попытка — судорожная попытка разместить слово в совершенно новых эстетических условиях, сообщающих ему куда более обширные, чем в традиционном описании, смыслы, направленные в сторону мирового целого, мирописания как цепи.

Некогда современник Бодлера, литературный и другой гурман, познакомившись с «Цветами зла», пораженный, писал об авторе: «бедное дитя, как много он страдал».

Современность, основательно отучив нас от какого бы то ни было гурманства, сурово учит трагической цене подлинной литературы. Дело не только в том, что книга Латынина по условиям своего возникновения восходит к андеграунду семидесятых (написана в 1977/78), «прижизненная» судьба которого слишком известна. Отложившись от литературного истеблишмента, книга также отложила от его тысячами ног проторенной, тысячами раз повторенной эстетики, немедленно встав на путь без обычной литературной «таможни», без облегчающих его указателей-нормативов, без чужой подсветки. Густой и плотный сти-

Послесловие

листический кокон книги, оплетающий ее сюжет, должен-
ствующий воссоздать всю амплитуду мирового процесса —
трагическая решимость сообщить художественному образу
совершенно иную нить. Вот один из первых ее всхлипов и
криков. Какова-то будет эта жизнь?

ВАДИМ СКУРАТОВСКИЙ (КИЕВ)



THE FACE-MAKER AND THE MUSE



SACRIFICE

The soot took to the air reluctantly and drifted away behind his back, so that through the flames — brighter now and scarcely visible in the grey light of day — the Face-Maker could see the City, separated from his eyes under the awning by a dry distance that lent it an unusual appearance.

From the street, from out of the rain, the City looked grayer and more blurred, and you could only ever see a small part of it. But from here, from high up, through the flame, the dry air and then the rain, the City trembled slightly, detached itself from the earth and hung in the air, as though it had finally ceased pretending and become what it really was.

At first a warmth appeared around the rain, and in the wind that felt pleasant, but then the tongues of flame ceased caressing the soles of his feet with their warmth and began caressing him with their heat. They burnt his feet and suddenly, without any warning at all, one of them licked him in the groin. The Face-Maker jerked convulsively and then remembered that he was bound fast and his convulsion was merely internal. He sensed as well that his body was prepared to accustom itself to the fire. It had exuded sweat, it was defending itself against the heat. At this point the wind pressed against the tongues of flame, and they leaned reluctantly away from the Face-Maker's body. It was suddenly strangely cold,

but that wasn't true, it was a normal cold, the cold he was used to, only before the fire. The Face-Maker shuddered. Having detached itself from the earth, the City appeared to be trying to fulfill the fundamental purpose of its existence by clambering up the hill on the top of which the Face-Maker now lived. But high as he might live, the House behind his back was higher still. From the roof of that House the Face-Maker could probably have seen most of the City, while now all he could see now were the neat, even rows of the houses that bent around the hill in a semicircle, surrounding it on all sides — as though an ancient amphitheatre that had been pulled inside out but otherwise left untouched by the hand of time had raised itself up from the surface of the earth on its steps and was scrambling up the hill — without the slightest fuss, without any of the rows attempting to overtake the others: in their coordinated ascent they maintained a strict and regular order, sequence and balance. From here he could see quite clearly how regular the distance between the rows was. Only at one spot did a wide band of separation split the ranks of houses into two equally great detachments, in the way an army divides when it moves, pushing its commanders ahead of itself, with the soldiers marching just far enough behind for the gap to be sensed and seen even at a distance, just far enough behind for the leaders and the masses not to be confused.

Yet another gust of wind bent the fire back towards the Face-Maker's body. The flames had grown taller in the meantime and they licked at the Face-Maker's face. His eyebrows flared up, then drooped, turned pale and vanished, leaving behind nothing but white wisps of ash. The tongues lifted their tender caress still higher, and his hair disappeared as though it had ducked back inside his

skull: the way a ground squirrel glances out for a minute and then ducks back into its burrow when it hears an enemy approaching. The smell of burning hair is disgusting, probably even more disgusting than the pain.

The Face-Maker closed his eyes, but the City was still there in them, still just the same as when the Face-Maker saw it from here for the first time: those even semi-circles embracing the hill. His eyelids grew hot. One, no longer able to withstand the heat, suddenly burst, and the eye, unable to withstand the light and the fire, shriveled away and saw the world no longer. The last thing the Face-Maker glimpsed through it was the front row of houses flattened, stretched and bent sharply backwards, as though in attempting to resist the other rows advancing upon it, it had suddenly given way and snapped under the pressure. And after that, nothing but a red mist. The Face-Maker tried to throw his head back and tip his living eye further inside himself, and he felt the force of the fire slacken. Perhaps it was the wind, or perhaps the junk piled up under his feet had burned through and collapsed and the flames had retreated, slipping down to pursue the burnt-out junk. The Face-Maker opened his remaining eye. Of course, he had only imagined it — the first row was still there, choking the hill in the grip of its even, regular semi-circle. His shriveled eye had made him overlook the fact that his legs had already begun to burn. The charred and twisted sole must be cramping his leg, but he couldn't feel the pain of the twisted muscles through the pain of his smouldering foot. His brain was could only theorize about it, and meanwhile his body, independent of his brain, went on resisting the heat through its strongest centre of pain, even though future causes were already at work, reconciling the Face-Maker with it.

Now the fire must have clambered on to a heap of papers, for it leapt up and thrust a lance into the Face-Maker's heart. The pain would have been severe if his eye had not been burnt out and his legs were not smouldering. What a pity he was under the awning: if not for the awning, the rain would long ago have swamped the flames and that would have been the end of it. He had been prepared for trial by fire, but not to this extent, it was time to take the Face-Maker down now, he had already lost one eye and it would be harder for him to work from now on. The flames spurted up again, brighter now and wider, and the City disappeared behind them.

The awning above him caught fire and the flame broke through to the outside. The Face-Maker spat salty saliva in his delight: now the rain would come pouring in. But no, it was too late. Before they could reach the flames, the streams of rain turned to steam and evaporated. Fire was stronger than water. Sooner or later, of course, the flames would weaken and the rain would have its way, because fire is temporary, it is only there for as long as there is something to burn, no matter how strong it might be, while the rain in this City was permanent. But that would not do the Face-Maker any good: by the time the rain had conquered and the flames were exhausted, what would be left of his body? Certainly not anything that could go down the hill and open the door behind which the Muse was waiting.

It became a little cooler though it might not be able to defeat the fire, the water had made it more bearable. It was too risky to open his eye. The skin on his belly began to burst open and the cracks crept around his hips. The Face-Maker could no longer feel any pain below his knees.

And even so he had been lucky. He had managed to acquire a Name. He was the Face-Maker, and not just

Seventy-Seven, as he had been two years earlier. And the Muse, his Muse — today she had a Name as well.

Now he could feel his belly beginning to swell up, the Face-Maker had not expected his belly to behave like that in the fire. But no, it was a mistake, it was just that the skin had finally burst and everything that used to be there inside had come tumbling out. Wait now, your thoughts are getting confused, if it has all tumbled out, then you should open your one eye so you can gather it all up. But your hands are bound. But if you can still see, that means you can help. Or is it that when your eyes are bound you can avoid the guilt for anything? Or is that wrong too?

It is wrong. That's not the answer. Calm down, remember. What has no fear of fire? Stone? Stone. His body still seemed to obey his thought, for everything that was still alive in the Face-Maker now became stone. And that was only right — if there is no way out, then you have to invent one. Once again his thoughts, like a runner who has stumbled, struggled to their feet and trudged on, limping slightly. Yes, thought the Face-Maker, yes that's right, if he opened his remaining eye now it would burn up, and if he opened his mouth, his speech and his breathing would burn up, and if he felt the pain, his brain would not survive it.

The Face-Maker laughed. He didn't have to think up ways out any more. Everything was simple now, he was stone and stone is not afraid of fire, it simply turns red and brittle, exuding sweat in order to even out the temperature, in fulfillment of the law of future causes.

And then the doubt appeared as suddenly as an abyss yawning just around the corner in a place where only yesterday there was a road. If he'd become stone, would he be able to work? Would they be able to manage with-

SACRIFICE

out him? Not everyone was capable of correcting people who were made different to match a single face like the one on the wall in the hall in the House behind him. He had learnt every detail of that face in years of work. Even here, high above the City, even now having hidden his only living eye deep inside himself, the Face-Maker could see that face as clearly as if he was looking at himself in a mirror only a foot in front of him.

Toss a match into a haystack and you'll see what will happen to the Face-Maker's doubts: nothing but red ash drifting on the wind. Nothing else. Nothing but a blackened patch on the ground, and probably even less of a trace left by future memory. Although it really did exist, that haystack made out of grass which has not yet sprouted, the red bees did fly on the wind, the ground-squirrels did hide away from the fire in their burrows and there was a smell of scorched hair and the smoke of flesh that had become stone.



CHAPTER ONE
THE CHOICE

I

It is raining everywhere except here inside. No matter how strong, how constant, how persistent, how cold or all-powerful the rain might be — the blue rain of the river in its slanting lines, the red rain of the sun in its large check patterns, the green rain falling down through the leaves on to the point of the hood of your cloak, across your shoulders, down on to the ground and then into the stream of the gutter, into the canal and on out of the City — no matter how strong it might be, this rain, here inside a human being it is thought that flows, that swells with the blood, that emerges from the mouth as steam or congeals in the brain as memory that might be needed some day. Everything outside a human being is subject to the laws of nature, but nothing here inside a human being is subject to any laws at all. He can live his entire life underground, that is, within himself, and no one will ever know, because he will walk home through the streets of the City just as the Face-Maker is walking home from work at this very moment, because at home his Muse is waiting for him, the Muse who was granted to him by chance, his own faithful Muse, just as our Muse is waiting for our Face-Maker at this very moment. The rain simply keeps on falling downwards, but the blood inside

the body moves in its own unswerving, anomalous direction, quite independent of the direction of the rain. This, or something like this, is the way the Face-Maker reasons in his joy at the fact that sooner or later, if you remain exclusively faithful, the thing you are waiting for will happen. But even so, the hour of a person's encounter with his own fundamental identity is unexpected and fortuitous, possibly even disastrous, it might even be better if it never arrives at all, for the longer you live in anticipation of this hour, the more meaningful your life will become. This, or something like this, perhaps even in words something like these, is the way the Face-Maker reasons on the deserted street of the City, not even aware that thought is protecting him from what is happening outside him; he walks on, unaware of the rain squeezing his body with its cold, heavy hands and bowing his head down towards the stone that serves the inhabitants of the City so forcefully by lying beneath their feet.

||

How everything has changed! Only yesterday the Face-Maker had walked along these same streets with almost exactly these thoughts, feeling the rain on the folds of his cloak, and then on the folds of his skin, accepting the weight of this torrent pouring down from above. Today the rain is still pouring down, perhaps even more heavily, but the Face-Maker is totally insensible to it.

The thing he has been waiting for for years has happened.

On one occasion already, in his impatience at waiting so long, the Face-Maker had forfeited the final remnants of his gaiety, then after the Commission he had simply become indifferent to fear, and begun over again working

secretly to prepare himself for today — without knowing, of course, that it would be today. The Official had appeared in the laboratory during the final quarter of an hour before the lunch-break and the patient lying on the table had pulled the sheet up over her breasts as she gaped wide-eyed at him, and attempted to get up. That was when the Face-Maker had seen the Official in her eyes.

The Official gestured for the patient to get up from the table. She wrapped herself more tightly in the sheet against the cold and stood up. Then she realized she was being banished from the surgery, and she hurried out.

The Face-Maker stood there with his arms dangling awkwardly, the fingers of one hand still clutching a scalpel. He tried to assume a more independent pose: he bent his arm and tossed the scalpel with an easy movement into the white nickel-plated instrument box, but the ease was evidently more pretense than reality, and in his agitation the throw proved awkward. The scalpel clattered on to the bottom of the box and bounced, skidding over the edge and flying point-first towards the floor, glinting momentarily like a fisherman's spinner in the water before it was extinguished.

The Face-Maker was astonished to discover within himself the traits he had possessed before the Commission. Firstly, he was nervous, and secondly, he had lost control of himself to such an extent that his agitation was visible to others. The Face-Maker was overjoyed, the way a person who has fallen over a cliff is overjoyed, on re-emerging from unconsciousness into life and feeling himself all over, to discover that he is not only alive, but unharmed, his arms and legs obey him, his eyes see and his ears hear. Unable to believe the evidence of his senses, he is overjoyed even at his own disbelief.

This meant that beyond the bounds of his daily routine the Face-Maker still possessed all the same old feelings. The Official's arrival was something that went beyond his daily routine, something from a higher plane, from a life in which the Face-Maker had had no place until today. From the life which last year the Face-Maker had been in such haste to enter that he had almost broken his neck in the attempt. But perhaps his experience in indifference and self-control could serve him well enough even in this other life, if only he could impress upon himself the idea that the Official's visit might be something new, but it was still a part of daily reality, it was almost like the return of his old freedom, just with a certain extra tension.

But even this fancied freedom lasted scarcely more than a moment before it was gone like a spike driven into a railway sleeper — the first blow secures it, and after the second there is nothing left but the head showing on the surface. Not only had the Official himself come — and his appearance in itself was a sure sign that you were somehow involved in the principal affairs of the City — but there had been a second blow, the one which took away the Face-Maker's fancied freedom: the Official had come to see the Face-Maker on business. He began to speak.

His speech stacked itself away on the shelves of the Face-Maker's memory like bolts of cloth in a haberdashery shop. The Face-Maker saw the meaning, but not the words, for the external sense of words never expresses what the speaker really wants to say to you, his desire to astonish or conquer you, to crush or compel you to love him or to stop loving him, and all the rest... You have to filter all this out from the spoken word like salt from water, and not everyone is capable of this. The Face-Maker, though, was a master of the technique of translating words into meaning.

The Official was suggesting that the couple the Face-Maker was working on should be altered to become the Principal Couple — but although his couple and another were both involved in the Choice, the distance between them was as insurmountable as a precipice for a tortoise or a pane of glass for a butterfly, and the distance was even greater that separated our Face-Maker from his teacher, the Great Face-Maker, who was preparing the Principal Couple.

The Face-Maker did not know what to do with his hands, he stood up... picked up the scalpel... he sniffed (which was tantamount to disrespect), became even more embarrassed, carefully placed the scalpel in the box. The scalpel clinked once and was silent. Apparently heartened by this steely signal from fate, he shuddered once and — to external appearances at least — regained control of himself.

The proposal was as unexpected and impossible as a proposal that a girl from the corps de ballet should dance the leading role in a major competition. Of course, the Face-Maker was precisely that, a Face-Maker, but the gap between him and the Great Face-Maker was wider than that between the prima ballerina and a chorus girl.

The Great One was unique.

Of course, he could have regarded the proposal as a test of the extent of his own secret vanity, but testing that was obviously not a job for the Official. To regard the visit as a test would have been the extreme limit of fear and mistrust, and even after the Commission, the Face-Maker, like all who had acquired a name, knew only moderate fear.

Today the Official was neither joking nor testing him. For all his experience in mistrust, the Face-Maker gave precedence to the simple sense of the proposal in the

Official's words. In any case, it appeared that he could wait until the following day before deciding whether or not to accept. Yes, taking everything together, the interpretation of a combined test and deception could effectively be ruled out. But the Face-Maker did not entirely dismiss this meaning, he simply assigned it a subordinate position in the system of possible variants, and regarded the simple sense of the proposal as the fundamental one. The effort cost him all the energy that he had accumulated and conserved. This was the first step towards the life-goal for which he had been preparing — with the Muse's help, of course. But had he really been preparing? And was he ready now?

The rain grew stronger and finally forced a breach in the Face-Maker's concentration — a small, narrow breach just large enough for a single drop — and it seeped through into the Face-Maker's consciousness, like a mouse that twists and stretches itself in order to wriggle into a room through a crack in the floor. The Face-Maker's shoulders twitched, and once again he saw himself alone on the street in the rain, hunched and wretched, hiding away from people within himself, the way he had seen himself almost all his life, apart from those moments when he thought of the Muse, who waited for him in the dry apartment, pretending to read something, when she was really listening to hear the bang of the lift, which meant that in a moment the door would open. In contrast with the Face-Maker, who was waiting for his hour to come, she had long since been prepared to live in any way that life allowed, whether that meant success or living out the rest of their years as they had been living, always waiting for each other and glad to see each other, and... Perhaps the Muse would have preferred the second option, because success was something unknown and even fright-

ening, it would open up another way of life which might distort and perhaps mutilate everything that had been built up in the course of their long and faithful relationship, perhaps making them more tender and loving, but perhaps finally pulling them apart. She did not want these potential blessings or misfortunes, she was happy to exchange them for what they had already, which she treasured, and which made her happier than many of the people she encountered at work or afterwards. Sadly this choice did not depend on her, however, she was dependent on the Face-Maker, and he was dependent on many different things, including the Official, as had been confirmed by that day's meeting.



If that day's meeting had not taken place, there would have been no novel. Their previous life is not the subject of this novel, it is a life like everyone else's, and the things that are known to everyone, that everyone can see, are not, even in their most pronounced form, the subject-matter of the novelist, but of the chronicler of social mores. The subject-matter of a novel is something concentrated in one or several individuals, which entirely changes the lives of all people living, changes them and the shape of their days, so that the chroniclers of the future may continue to perfect their art and describe the subtle forms of realities which came into being without their assistance. Therefore our novel begins with that day's meeting, which affects the destiny of everyone living, not only the Face-Maker and the Muse. Of course I need not have written that, I could have left it for the critic to guess: when they finish building a house they take away the scaffolding, and only an architect would

know where to position the support if the building had to be renovated. But I want to leave the critic with no work to do, because his fate is to serve the chronicler, he is the second half of a couple which feeds itself by gathering the corn planted earlier by a sower who scattered his own substance on the soil in place of grain.

How strange it was: until today nothing had depended on the Face-Maker, everything — his work, his pay, his routine — had been decided without him being involved, and he had been entirely dependent on people above him, but today his own voluntary decision would decide whether or not he would carry out the work proposed by the Official, because this was something you could not be ordered to do.

IV

The Face-Maker slipped. He just barely managed to keep his balance, like a tight-rope-walker, and his hand touched the building's cold, windowless wall. The next house was his. He moved on cautiously, spreading his legs wider to make doubly sure. If not from the sky, then from the ground, the rain had still succeeded distracting his attention. Even when you were absorbed in thought you still had to take it into account. End up smashing the back of your head against the stone, and all your great decisions and desires would flow out and down through a crack in the earth's crust, mingle with the rain and disappear, flowing out beyond the city along the canal that ran down the hill. Special caution was needed: today he needed that crust more than ever, he should carry it with care.

Replying to the Official's proposal was not so simple. On the one hand, there was the prospect of what he longed for the Face-Maker would occupy the first rung on

the ladder and become the Great Face-Maker, and that would be followed by everything the Face-Maker had been striving for, or at least, what he had thought he was striving for initially. On the other hand, this was the same adventurism that had nearly cost him Departure. Of course, the Official was involved in this piece of adventurism, but everybody knew what became of verbally delivered official proposals if something went awry in the course of their implementation. The proposers simply forgot their proposals, and the responsibility was borne by those who were implementing them. In this case the person who was supposed to implement the proposal was the Face-Maker, and he had already been through one Commission, and only recently... And then again, who wants to take over from someone who is alive and working, especially when he is your teacher and his work is excellent, far better, in fact, than your own? Of course, the Face-Maker could have disputed this, but only in his imagination. He had never carried out any Real Operations of Likeness of the same class as the Great Face-Maker. Last year's operation had been an amateur affair, and in the present circumstances working by eye was simply pointless. Yes, the proposal was sufficiently complicated for an unconsidered answer to mean... These are the thoughts that circle around the two hemispheres of the Face-Maker's brain, in the way that pigeons loosed into the sky by an experienced fancier will swirl around and around and are quite incapable of stopping, and it requires an effort of will-power to drive them back into the dovecote so that you can calmly inspect each of them at close quarters and let them rest. The true dovecote of the Face-Maker's thoughts was the Muse — which brings us back to the person without whom our Face-Maker would not exist. The Face-Maker owed everything that he was and everything he could do to the

Muse, and she was with him everywhere — when he was relaxing, absorbed in his thoughts, and when he worked with the scalpel at home, to improve his fingers' control over the instrument... Only once had the Face-Maker ever decided to act on his own, when he had launched into last year's undertaking.

If the Face-Maker had asked the Muse, simply and clearly, whether he ought to do it, she would have managed to persuade him to refuse, for the chance always comes to do the same thing with less risk. But last year the Face-Maker had almost stopped talking to the Muse and decided for the first time to do without her help. Ignoring the Muse's persistent requests to tell her what was happening, he set out to realize his plan, remarking nonchalantly that nothing was happening that hadn't happened before to someone or other.

The Muse calmed the Face-Maker; the means were various, but always as a result the Face-Maker's thoughts would become quiescent, and fold away their wings, just a little nervously at first, and then settle down and allow themselves to be handled.

Show me the person who can identify the species of a bird flying in darkness — and the state of anxiety is a darkness, filled with the rustling of wings and clamorous cries.

Museum Attendant Two Hundred and Ninety Two — such were the post and the number of our Muse when she met the Face-Maker at one of the Likeness Operations. She was younger then, and so was he. The Face-Maker had leaned his chest across her uncovered body in his usual manner, but scarcely had he raised his scalpel to the first upper quadrant of her face, as he had done a thousand times before, when he felt the entire surgery reel and roll, turning entirely upside down. Then it had begun to ex-

pand and shrink alternately, as though it had been transformed into some kind of pendulum. When the Face-Maker recovered his composure half an hour later, he was quite simply delighted that the Muse was still alive, although less in need of the Likeness Operation, than of basic resuscitation, but that wasn't really a problem. If the Face-Maker was to take her as his wife, then there would in any case have to be another operation, as a result of which she would be given a name. Perhaps, in fact, she was first given a name and then the Likeness Operation was carried out, but regardless of the order of events, a week or two later the Muse, like the other lucky ones (and cases like this were as rare in the history of the City as wells in the desert) was transformed from a Museum Attendant into a Muse, with a face which was a corresponding likeness of the Image.

In general it would be just as impossible to say which had priority in the City — the number or the corresponding face — as to decide whether the chicken or the egg came first in human history. Therefore, in the City, which was full to overflowing of order and justice, blind chance still remained the main factor in determining a citizen's fate. Something happened, and as a result people's numbers changed, and then so did their faces — or the reverse. And the Face-Maker, on whom the citizen's fate might appear to depend, had only to perform the operation corresponding to the citizen's class, nothing more and nothing less. There was no making head or tail of the whole mysterious business.

In any case, it does not matter whether the name or the face came first, but a certain Two Hundred and Ninety Two became a Muse. Any ordinary person would quite simply say she had been lucky. "Fate" was the Face-Maker's only comment on the matter. Not by any means

that they were both in the habit of keeping silent; all of their time together they spent talking — and how they missed each other!

V

But this day, as we know, is a special one. The Muse is as sensitive to joy as a dog is to scent — and to grief, too, the Muse is sensitive to any departure at all from the humdrum routine of life. She won't show it straight away, she may not ask any direct questions, and she won't try to talk about what the Face-Maker is feeling, but in their idle chatter and nonsense she will weave a spell of confusion around him with her very intonation, and somehow or other an hour later the Muse will know everything. The Face-Maker has still not been able to understand how this happens. But he has noticed one thing: when some special occasion entirely transcends the limits of a routine occasion, the Muse, alas, is once again powerless. Of course, she guesses at what has happened, and picks up half of it from conversation, but as far as complete understanding is concerned... On these occasions there is no way to break the Face-Maker down.

Today is one of those very special occasions, a difficult day for the Muse. But since the Face-Maker barely survived on the one occasion when he relied on himself to deal with a doubly-important occasion, he is no longer quite so reserved. Almost on the threshold, almost before the Muse had time to take off his cloak and thrust it into the drier, to lead him into the dining-room, pressing her face to his back and embracing him from behind, the Face-Maker had informed her of the Official's visit, and the proposal, and the decision which has to be communicated

the next day. But the first question the Muse asked took the Face-Maker by surprise, in view of all the possibilities — on the one hand the moral question, and on the other the fulfillment of The Face-Maker's own personal destiny (in general people's lives are governed by a social destiny, in the present case, for instance, the destiny of the City); it turned out the Face-Maker had forgotten something quite fundamental:

"But have the deadlines been extended?" the Muse asked him. "It's twice the amount of work."

"Three times," said the Face-Maker, sinking down into an armchair as he pondered the problem. He recalled that not a word had been spoken about it, and therefore there could be no question of any extensions.

"Well, if that's the case, there's really not much point in thinking about it," said the Muse, "I think one lesson should be enough for you. Show a wise man a feather, and he'll show you the fox that ate the chicken."

"What's a fox got to do with it?" asked the Face-Maker, his mind on something else entirely."

The Face-Maker paid no attention to the Muse's explanation, with its Official and its fox and its chicken, and he suddenly came to his own decision, the way a man who has set out to fetch water but finds gold on the way will run home, not to the well. He took a firm grasp of his own idea and changed the conversation to a quite different subject, a subject that our couple had developed to such a high degree that all he had to do, for instance, was to roll his tongue up into a tube and stick it out slightly and move it about a bit. Or else simply form the shape of the sounds "oo-wah" with his lips.

"Wait," said the Muse, "you've come to a decision, and so have I, and I think there can only be one opinion here."

She told him how unbearable it was for her to wait for him every day since the Commission, and how the agony of his possible Departure tormented her... and how she saw today's visit as a sign of destiny's desire to test him and remind him of last year's lesson, from which it followed that he shouldn't have any desires or regrets.

It should be said that if the Face-Maker had thought as she did that evening, or if he had not been preoccupied with a decision he had already taken, or let us say — for the sake of accuracy — another desire, and if he had listened to all the Muse's arguments, then perhaps what was to happen in the City would not have happened. But how could the Face-Maker take the Muse's arguments seriously when he had been struck so hard by his own inspiration? We must, of course, give the Muses their due — they are always absolutely right. I can see that doubts have begun to appear as to whether the event might not possibly have occurred without my Face-Maker. Yes, it could have and it would have. But not necessarily now, in fact, definitely not now. An event can only take place when two equally necessary conditions are fulfilled — its readiness to occur and the presence of the person who sets the event in motion. If it were not for my Face-Maker, this novel would not exist, there would be a different novel, perhaps with the same epilogue, but not today, and other people would set the time in motion in a different manner. I am as sure of this as a man who is neither drunk nor blind is sure there is a birch tree in front of him when he is standing there looking at it.

Ah, birch tree, what a soft, white trunk you have, how tender and pleasant it is to my fingers. My fingers feel warm and sensitive as if they were stroking birch-bark, I hear the leaves rustling, and the wind whispering gently in the torn fibers of the birch's skin.

VI

Once again the Muse gave way to him. She put her arms on the Face-Maker's shoulders and around his neck, slid them down over his smooth, cool skin, bent her head and pressed herself to him, softly and tenderly.

If everything the Face-Maker had planned had indeed come to pass, and if he were to have turned the world upside down and transformed it into the very shape and substance of his own secret desires, then these same hands would still have been placed on his shoulders in the same way, these same lips and fingers would still have felt his body swelling and his thought broken off when it was only half-spoken, half a phrase, half a thought... Light began moving backwards through time, confusing the sequence of numerals and the ordinal numbers of the time zones. The Muse knew this, but the Face-Maker did not know it, his boat swung high into the air and a wind sprang up and swelled the sail. The red oars were lowered into the water, and a pillar of fire sprang up and raised the boat high on its crest, with its white sail and its red oars. The lightning struck, and its branches spread out across the sky, shielding the boat from the slow fire, and then its roots grew down through the boat and it flared up. Burning slowly, slowly, the boat dropped back into the sea and lay on its calm waves, and the red oars were extinguished, and the scrap of scorched sail slowly dragged it to the shore, only half-alive, scorched pink by the fire.

VII

They lay for a long time without moving, without stirring at all. The Muse got up first. It was as pointless talking to the Face-Maker after this as trying to persuade a telegraph post to sink roots into the earth and shed its wires. First she had to revive him, to teach him to talk, and only then could she start asking him for things. So the Muse simply stood up without speaking. But in order to completely rid her conscience of the guilt to come, which she might well feel if there had been the slightest chance at all of bringing the Face-Maker back to the conversation that had been taking place, and changing his mind, the Muse took his hand and tried to make him sit up. The Face-Maker was not capable of speaking, or arguing, or agreeing, he simply continued being absent. There was no way anyone could rouse him from this state with in the next half hour, but the Muse did not give up straight away, she felt so sorry for the Face-Maker now. Why this feeling, as though she was losing him today? And it hurt her so, as though it had all happened yesterday and today it was all beyond repair. But the sensation of pain is one thing, and our actions are another, and the Muse quietly dressed, pulled on her cloak and went out into the street. She had decided to attempt to change something; since she couldn't change him, she would change the circumstances. For the Hundreds, whom the Face-Maker was preparing for the Choice, were her friends. In fact, it was the Muse who had found them for the Face-Maker. Every Face-Maker preferred to work with faces that they not only knew, but with which had some kind of personal connection, and the couple's personal connection with the Face-Maker lay in the fact that the Muse was their friend. This friendship had endured from a time long before,

when they and the Muse had lived in rooms next door to each other — the Hundreds had been living together even then. It had all begun with the male Hundred's courtship of the Muse — he was then Two Hundred and Ninety Five, which came to absolutely nothing, but developed into a friendly relationship with his partner. That was all quite a long time ago now. In some way alike in the past, now they were very different from each other. But without faithfulness to our memories, how could we carry on living? This friendship had somehow dragged on, without, in fact, bringing the Muse much pleasure. But she had not made any other friends, when you have a Face-Maker for a partner, you hardly need other people. His energy, his desires and problems are quite enough — from thinking of something new to do in bed, to his delirious desire to make a new face for you, because he is fed up with this one. And then there was her own work; although she now had the right to give it up, the Muse had carried on in her job, and to some extent this had weakened the thoughts which sometimes seemed about to drive her mad. Sometimes, indeed, these thoughts could even produce some deft and simple result by transforming themselves into something both useful and calm. Today she really felt less than ever like going to see the Hundreds, but she had to — for the Face-Maker. Once again everything was settling back into place.

On the street the rain grabbed hold of her and squeezed her, as though it was trying to make her small and light, so that its streams could knock her off the pavement and carry her away out of the city. Her heart began to ache from the pressure. What if it did knock her — then who would help her? There was nothing around her but Stone, and Stone is not afraid of the rain. Numbers. Bridges. Not a single tree. Not a single branch. Not a single bird. Not a single living soul. It was rare for

anyone to venture out on the street, and then they went alone, glancing over their shoulders, and only if they were driven by some exceptional need: there were almost no needs at all, everyone socialized within the limits of their ten-units, that is, within the limits of their house. So the streets steamed in quiet solitude, and mist rose from the canal, the only sound was the monotonous noise of the rain, there was no other sound at all. The silence of the noise. The silence of the rain. The silence of the stone walls. The silence of the mist. The silence was deafening.

VIII

How tired-looking female One Hundred's face was. A working day spent on the table under the knife — no wonder she was exhausted! The Muse's glance accidentally fell on One Hundred's breasts and she remembered what the Face-Maker had said about not being able to touch those white, pointed, fleshy mounds, so that when he was operating he put on an apron that made him look like a housewife. Maybe so, well, doesn't he always say he puts on an apron. But then, he puts one on when he makes corrections to the Muse too. In that case, so he says, it's only because he's afraid of disfiguring her face again. She would have to try asking him to work without an apron, perhaps that feeling had gone a long time ago. Or perhaps, when he was working with One Hundred, he put on an apron because that excited him too.

The first five minutes of a conversation between two people who have known everything about each other for a long time is enough to find out all the Muse needs to know. For all the honour due to old friendships and other such nonsense, the Hundreds' chances of making the leap to becoming the Major Couple are so minute, they couldn't even

dream of it, so if the chance did somehow come up. At this point female One Hundred's face becomes soft, silent, dreamy, feminine just as it should be up on the stage during the Choice. And she wouldn't even have to think. What she would do without even having to think about it the Muse didn't even try to discover. She simply noted there was no point in expecting any help from One Hundred and dropped the matter. What was there to talk about anyway? Everything had been clear from the very start. She might as well ask a woodpecker not drill holes in trees.

But though she understood that, just as she had with the Face-Maker, she went back over things for herself to see if there might be a chance. There was no chance. There was nothing she could count on here either. The avidity with which female One Hundred seized on the possibility of such unimaginable good fortune finally convinced the Muse she had miscalculated. Winding up the business part of the conversation without revealing the serious intent behind this five minutes of idle chatter, the Muse agreed to go out into the garden with her and watch male One Hundred working with his birds, so that she wouldn't have to go straight away and leave the sharp-witted female One Hundred with anything for her mind to work on (after all, she was tired enough from dealing with her own problems, so what did she want with the Muse's as well?).

They walked through the hall and opened the light lattice-work door into the garden, an almost aerial door that didn't creak or squeak but swept back like a flapping wing. The male One Hundred was standing with his back to them in his linen shirt. He was just getting a bird out of its cage and he answered the quiet question — could they watch? — with a nod, without turning round. As he carefully lifted the bird out it tried to flutter its wings, but it couldn't. It tensed up tightly as though it was trying to make itself smaller and

escape from his fingers. The hand tightened still further and now it feels squashed. It is really frightened now. Its heart has already been squashed within its body, its heart is no longer beating at all. The bird is living without any heart. The palm of the hand presses tighter, harder against the soft, yielding, subtle flesh of the tiny bird. Crack — the body split open like a nut, there was a sudden spurt and then a stream of blood, and it fell in quiet drops, pink and thin. The hand was stone, pressing harder and stronger, and the brownish, pinkish flesh oozed out between the fingers.

She could see female One Hundred becoming excited. The Muse shuddered, but she could appreciate the skill. She hadn't seen much of this craft, but as far as she could tell he was a real Master. Male One Hundred was already reaching for the next one, while all around him the birds were singing in the yellow trees. Maybe tomorrow they would find themselves struggling in the strong hand of the master, but they didn't know that, or perhaps they'd simply got used to the idea and they carried on flying about lightheartedly while they still could, with the thin dry branches of the indoor garden trembling under their own fluffy, trembling little bodies

"Let's go," female One Hundred tugged at the Muse's arm, "I'll make you some tea."

While they enjoyed their tea, another ten minutes went by in idle chatter. He came in and washed his hands, but there was a brown spot on his sleeve, just by the hemmed edge — he'd squeezed a bit too hard and the blood had splashed. He sat down by the Muse. His eyes were still focused on his work, red, severe.

"It's the same every day now," female One Hundred announced with a casual air.

"Every day?" male One Hundred queried. "No it's not, there are breaks. It's like they say in the City 'you can't do

everything all the time', sometimes you have to do just some of it, and only some of the time."

Female One Hundred's smile spread so far that the edge of her right lip almost touched her ear and then halted there in a crooked curve. Her man was obviously in good form today. And if he was in good form, then she knew his standard two-hour program off by heart, so female One Hundred was happy to join in the conversation that followed this great aphorism and make her own lively contribution. After all, it meant that she got two hours of freedom as well.

Viewed from the outside the content of the conversation was approximately as follows: male One Hundred says he likes the rain when he gets worked up, for then it is pleasant to go out and walk under the dense lashing downpour and cool one's body and come back after the walk with the feeling that the body is stronger than the rain.

The warmth of the City, he says, and a human being are not subject to the rain's power, and then follow other similar cliches that male One Hundred has always forced down his partner's ears with indifferent inspiration. And with the same indifferent inspiration she always agrees with him and assures him that she understands exactly what he means. She has always waited for him to come back and heated some water and prepared a towel, and... at this point she became even more pink and tender... if we shift from the language of pulling wool over eyes and magic spells for toothache to the language of real meaning, then male One Hundred's lyrical passage conveyed the information that he was going to see a woman and the reminder that for female One Hundred this was nothing new or surprising.

In turn she had conveyed the fact that she'd understood male One Hundred and wouldn't mind having a couple of

hours' fun herself. All three of them understood this language very well. It's nice to deal with intelligent people, you never have to tell them what you think, because they'll understand, and while they talk about the usefulness of hot water for cooling the body, they'll let you slip your hand into their pocket and assure you that they won't notice a thing. Experience shows that in court cases between people who employ such a system there are only half as many guilty parties as there are among people who are more direct.

"Goodbye then, my love," male One Hundred already had his cloak on.

"Goodbye, my dear," replied the delicately pink female One Hundred, shedding a few tears as she wound her warm arms around his neck. "Just be careful with your face — it's our future after all."

She watched him on his way for a whole minute to make sure he wouldn't come back, as he sometimes did. Once she'd waited for the prescribed period, she threw off her house-coat and pulled on her linen shirt with its sleeves covered in small pink splashes. The cloak went on top. She apologized to the Muse. Since the time of the Choice was approaching and she would have to move out of this house, she'd like to visit another couple of neighbours that she hadn't got to know yet. And of course, go to see the Museum Director, who she felt absolutely nothing for, in fact, he actually disgusted her with his white narrow chest that was bald as a knee-cap, but he was the only man in her life who had a name — and what woman with a number wouldn't be flattered to be allowed into the bed of the Director himself. Of course, the Director wasn't a Face-Maker, but for the One Hundreds even a Director was like a pair of wings for a homeless cat.

The Muse was astonished that she would have to do so much in such a short time.

“Never mind, I used to get even more done, when I still didn’t know much. But now! Ohoh!” She winked at the Muse and tied the ribbons of her hood in a bow.

“Bye...” she kissed the Muse on the cheek.

The Muse went back to the table, and then walked through into the garden. She had to think of something, or at least do everything she possibly could do, so that she wouldn’t have to feel guilty about the past, so she would be able to stay calm. She sat down in the chair where male One Hundred crushed his birds. The birds were singing, leaves were falling. It was quiet.

IX

Female One Hundred went up to the next doorway and tugged impatiently on the handle. The doors opened. There was nobody in the hallway. She took off her cloak and hung it up. She gently pushed the second door and it swung back. The room was empty too. And the next one after that. The third room was half-dark, damp and warm. She started suddenly — a pair of eyes was watching her. They were astonished, full of fear. Only they came in like this. The fear was like a bird in a cage, when the door is already open and the hand is reaching in for the bird.

“Are you One Hundred and One?”

“No, I’m Ninety-Nine.”

“I’m One Hundred. I live next door.” She held out her hand.

The fear flapped its wings, flitted past the hand and disappeared from view.

“I only have a few minutes to spare.”

“Come on, I’ll make you some tea.” Ninety-Nine stood up.

“I only have a few minutes.” One Hundred went across to him. “I only have a few minutes, and then I’ll go. Come

here,” she pulled Ninety-Nine towards herself. She felt him go tense and start breathing heavily, she felt his heart beating fast. A thin shaving began lifting from the surface of the wood — transparent, long, unvarying — but the plank was still not ready and One Hundred began to think the material wasn’t properly seasoned and it wasn’t worth wasting any more time.

Even though she could feel her partner slowly going insane, and she knew he’d never known anything like it in his life, and it would be a little unkind to leave now. But there was no time!

She was like a man carrying water who won’t let a dying old man drink his fill because up ahead the water is needed by people who are digging a well in order to provide water for the whole world. Sometimes the water-carrier comes too late to find anyone alive, and then he goes back and finds the person he left behind is dead too.

“There’s no time, I told you, I only have a few minutes.”

His heart was heaving and pounding like a car stuck in the mud, his legs were trembling. He let go of her. She went out into the hall and threw on her cloak. He came up to her, pressed himself against her.

“Wait a minute.”

“Tomorrow, do you hear? I’ll come tomorrow.”

She slipped out of the door and out on to the street. The rain greeted her with its coolness, but it didn’t cool her, it embraced her body tightly with its flowing streams. Still carrying with her the touch of his hands by her lips, beside her ear, she began to hurry, and the power of this uncooling excitement bore her through the wet, black, gleaming, slippery streets to the doorway she longed to enter. The door was standing open.

“Hello, you’re ten minutes late.”

“He left ten minutes later than usual.”

“Is that the truth?”

But he wasn't listening to her any longer. He'd been waiting for her and he didn't even give her time to take off her cloak.

X

The Muse tidied up the garden. She washed away the traces of blood and flesh. She swept up the fallen leaves. She hadn't thought of anything that was any use. She wanted to go back home, to her own garden, to the Face-maker, away from these secrets, away from this filth. She put on her cloak. The door swung open.

“I can't wait till tomorrow.” Standing in the doorway was Ninety-Nine, his hair tousled, his eyes narrowed to slits, absolutely drunk.

The Muse feels sorry for him, she even delays a little before she utters her all-powerful magic phrase, for now it is up to her whether Ninety-Nine remains alive or attends the Commission that evening. And now he'll understand that too. The fox was chasing a rabbit, but it had fallen into a trap — click.

“I have a name.” The Muse even shook her head, as though she was asking for forgiveness.

It was all gone, scattered, disappeared. Ninety-Nine was suddenly as soft as rice pudding, sweat sprang out on his forehead, he lost control of his tongue.

“Alright, off you go, don't just stand there. I won't tell anyone.”

Holding on to the wall, Ninety-Nine staggered out through the door. The Muse followed him.

It was useful to have a name. If he'd come bursting in like that in the days before she knew the Face-Maker, she'd have had to scratch and struggle and defend herself.

Lord, how hard it was for women without a name. It was hard enough for men without one. It meant you were defenseless and dependent. The Muse and the Face-Maker were both dependent on bigger names, but then that wasn't as crude, it was on a different level, although if the names were equal, then it was all just the same... But anyway she felt sorry for the young man.

"What energy that woman has," she thought about female One Hundred, "she must have left too soon."

The Muse had barely taken a few steps away from the entrance when she was almost knocked off her feet by female One Hundred. With her head thrust out in front of her like a duck about to land on the water, she was flying home. When she heard that he hadn't come back yet she sighed in relief and whisked in through the doorway. A few more steps, round the corner, and there was male One Hundred coming towards her. This was very different. He was lumbering along in a leisurely, thoughtful fashion. He stopped and looked at her in a way that made her want to wash her eyes out, which she did, by tipping her face up towards the sky.

"Wonderful weather, I don't even feel like going home, if it wasn't for the time..." One Hundred winked. "Maybe I could walk you home?..."

The Muse shuddered.

"No, thank you," she said, thinking: "What a pig he really is". But she smiled, said goodbye and walked on, afraid he might try to change her mind.

He didn't turn away immediately. His mouth twisted into a rueful grin. It was a pity he didn't have a name, or else he'd have taken her ages ago. True, a name wasn't all there was to it, what he could manage, bringing her round here, probably wouldn't have suited. But anyway, why go to all that bother, when there was plenty of it lying around

just waiting behind every door. It wasn't as if the ones with names had bodies that were any different.

Or perhaps they did. His thoughts became glued to the word "name" and began wrapping themselves around it like tow on a spindle. Not straight away, not right now... but in theory at least anyone in the City could acquire a name. One Hundred wiped his face and bent his head forward so that the rain couldn't fall on to his skin. There were three days left until the Choice of the Principal Couple, and his operation was being performed by the Muse's Face-Maker, which meant he'd get second place. Which meant he'd no more chance of getting a name than of seeing his own ears. But what if a miracle happened? A miracle could always happen.

That stopped him dead, and from that moment on, forgetting all about the Muse and female One Hundred and female One Hundred and Six, he began waiting for a miracle. This is how a chance thought that flits through the mind suddenly becomes obvious, anticipation is engaged and expectations start working, but exactly why no man could possibly explain to save his life. What takes place somehow takes place outside of us, we only feel it taking place! And don't even imagine for a second that there were any immediate changes in his external life. He walked home. The rain fell on him. Tomorrow once again he would spend his working day on the operating table. In the evening he would watch video recordings with female One Hundred and crush birds, and then go out about his own business. That was a good idea of mine, he thought, about my own business. Then he would come back home like today. All of it was so much the same you might have thought he was already coming home tomorrow or in ten years' time from now — one of his days was exactly like any other. But now this feeling of expecting a miracle had

appeared in him. He tried to understand why it had happened. He could view the day in its entirety: nothing special had happened. The Muse had come visiting before. Yes. But the last time she had come was two weeks ago, she wasn't supposed to come again for another two weeks, but she had come today. How on earth could the Muse's visit have changed anything in his life? Of course, if she'd needed to find anything out or let them know anything, she'd have done it through the Face-Maker. Oh, how wonderful it was to live in a city where there were never any surprises. It meant that straight off, from one tiny single little fact, you could guess that something unusual was about to happen. But that wasn't all there was to it, not just these thoughts. He had been visited by the anticipation of a miracle. It was a sensation as clear and as simple as the resistance of his face to the rain, as the hands and lips of female One Hundred and Six that he was still carrying with him. He had a warm, happy feeling. Even the life of a simple man with a three-figure number has its joys. As they say in the City, joy can come to a sparrow if only it has faith. One Hundred was smiling at something as he entered the house. She was there to meet him in her housecoat as always, as though she hadn't seen him for an eternity. He bared his teeth even more at the sight of her outstretched arms, which removed his cloak and then tenderly embraced his neck. He surprised himself by moving closer to her, which surprised her even more. After these walks they both usually went straight to bed and slept, but this time, perhaps because of this new sensation of his, perhaps because today's walk hadn't been such a great success — he was bored with female One Hundred and Six and he'd wasted his time crushing his own birds, because his partner had made him crush some of hers: in the first place he was a real master at it, and in the second place he

was already excited and she wasn't... today was probably the first time he'd wondered whether it was really worth so much time and effort. It was almost the same as it was with female One Hundred anyway. Perhaps even one Hundred held him a little more tenderly, but then...

She put her hand on his shoulder and the shoulder was warm, even hot, the way the mud in which two pigs are jostling on a summer's day can be warm and even hot; the mud is deep and greasy, it flows over their legs and gets stuck in their bristles, it sticks to their snouts, and one pig pushes the other over and they begin wallowing in the sloppy mess — warm, hot and stinking. They enjoy the smell and the warmth and the chance to roll over in it from one side on to the other, round and round in circles, slopping the mess around. Good, is it? Very.

XI

It felt good to them. But in this particular case it has no real significance for the action. While their bodies are engaged for the second time in displacing a mass of mud equal to their own mass, there will be plenty of time for us to take a look at the person who wound the spring that has set the Face-Maker in motion. One tooth of its cog has already engaged his thoughts through the proposal to perform an operation according to new data. The Muse has now set herself in motion with the Face-Maker's thought and transmitted the motion to the Hundreds, and without really understanding how it all came about, they have not stopped moving since. Even when they do stop, they will still continue spinning around the major axis.

And so, already four people in this city are living differently, they are already sick, infected with the idea of movement — without any understanding of the real na-

ture of their ailment. For their actions coincide with their desires, and externally they continue to lead the same life as they think they were leading before today, and subtle distinctions are of no importance. But anyone who knows the future will easily understand the changes that are really taking place, although no one in the City knows that except perhaps the person who wound the main spring of the action, but even he would never have done that, if he had realized the true scope and the consequences.

We are speaking, of course, of the Official who proposed that the Face-Maker should prepare the Principal Couple, when according to the writ of the law only the Great Face-Maker can work on them. Why, then, has the Official condemned to change such a well-arranged and reliable mechanism as the City, the management of which is not easy, but which runs nonetheless in a well-oiled groove?

Habit and tradition are the essence of life, and when they are disrupted, no one knows where it may lead.

Perhaps it is for the noble goal of equality for the population of the City?

Perhaps it is an attempt to liberate them from the eternal fear of Departure?

Perhaps... and then another and yet another great reason in the name of which cities and people are broken.

Alas... It is shameful even to speak out loud, but the entire affair — unfortunately, unhappily, God alone knows why it had to happen — turns out to be no more than a question of purely personal enmity between the Official and the Great Face-Maker, an enmity which began the day before our Face-Maker was rescued and freed from the Commission by the Official. When an enmity like this flares up, adventurers have to be saved from Commissions. And in this case, sad though it may be to admit it, in the

eyes of the Law the Face-Maker was precisely that. But naturally nothing like that would happen again, at least not for the present. At least, that was what he and the Muse had thought, but... the Official had needed the Face-Maker again in precisely the same capacity.

As for the causes which led to the quarrel between the Official and the Great One, I think that if God himself had happened to witness the quarrel he would have been unable to define them precisely, except, perhaps, for the external sequence leading from the first clash a year ago to the most recent one, following which the Official had made his approach to the Face-Maker. Even we can do that much; they were fed up with each other, they had not shared their power out between them. But then, what need was there to share, when one was in charge of faces, the other of persons? Or perhaps a person and his face are actually the same thing? Anyway, there's no way of telling which is more important. But one way or another, there's no doubt that there was a quarrel, and nothing more need be said.

If the reason were ever to be mentioned, then both of them would be ashamed to remember it.

In general terms, one of them is first, and the other is second, but that's just for the uninitiated, in actual fact they are both first.

That's the catch, of course — there can never really be two people on top. There is only one outcome, in the end. The only possible one.

They quarreled that first time, and then again yesterday, over — aagh... no, I can't say it... my tongue won't... let us leave that to their consciences and take a look at where events are leading as a result. Of course, there is no result as yet, but there can be no doubt that things are moving towards it. The Official is also worried; after all, to consent to a

second dubious venture, and after the Commission — no sane person would be likely to do that. As for the Face-Maker, it is actually possible to hope that he is really insane. Speaking from a rational point of view, of course. Even at the Commission the Face-Maker had stubbornly insisted that the cause of his admitted offense was not adventurism, but experimentation, and he hadn't seemed to be lying. Very possibly that was the only kind of people who suited the Official — although they are few and far between — they stubbornly carry through their own portion of the work, supposing that they are doing it for themselves. But of course, you have to keep a sharp eye on them. It was a good thing that the Official (a fastidious manager — he saw a long way ahead) had earlier palmed off the Muse on the Face-Maker so that she could act as a kind of brake on him, or he would have broken out even earlier, and then today's undertaking would have simply fallen apart, and he had, alas, no one else like the Face-Maker in view. Then it would have been a matter of just carrying on, hating the Great One all the while, overflowing with hatred for the monster and yet carrying on smiling. Alright, calm down, the Official told himself, it doesn't matter what names you call him, what matters is that you must play by the rules. What will happen tomorrow? Who will come out on top, the Muse or the Face-Maker?

The hour is late, time even for the Official to go to sleep. The body is a steed that has to be well maintained, or it won't carry you, and there is a good sleeping draught to help him get to sleep more quickly. Alas, in order to survive in the City and not risk losing his name — a wise move even for the Official — he had gradually been forced to give up women altogether, for at such moments even the Official was a human being who might let something slip, and unnecessary witnesses meant a significant statistical possibility of failure.

Ugh! the Official actually spat in disgust; what kind of language was that. He'd heard far too many of all those coefficients and indicators. It was a good thing he had this. A few minutes later he was calm, he took a shower, and immediately a mood of complacency set in. Maybe he shouldn't do anything, damn the Great Face-Maker, after all, he'd put up with him for so many years. No... perhaps he shouldn't... but before he had reached any decision he fell asleep, and he slept no worse than any ordinary One Hundred and Forty, unburdened by any lofty concerns. This was another of the Official's peculiar features; in any situation he slept well and took his decisions easily. He never tormented himself when his duties required him to act in one particular way and not another. The same applied to his personal problems, insofar as his personal problems and the problems of the City were all the one to him, since he was the City itself. But sssssh! Let us not disturb the man's sleep. After all, he has a hard day tomorrow, for all his cool composure. After all, he has also transgressed the bounds of custom — that is, of his own self — and as an individual he is also part of the dynamic system which he has set in motion, which he cannot halt or modify, for even as the City sleeps it is gathering speed.

XII

But sleep, like insomnia, does not last for ever. Morning is here already.

Street lamps.

Rain.

Wet, black walls gleaming like agate, like statues in a graveyard, solemnly modest and monumental on a small scale.

Who is the first person to be met by anyone walking along the low black banks of the canal? Why, the person with the most work to do, of course. That means the Official. He made his way through the streets, slipping through them almost like a shadow without thinking, without looking around him, without noticing anybody or anything. He only stopped once in order to lower his hand into the water of the canal and rub it through his fingers. All normal. He couldn't feel a thing, or rather, he could feel exactly what he ought to feel. Further along he took a run and then slid across a slippery stone slab like a little boy, stopping where the Muse had visited the Hundreds, beside the entrance. He stood still for a moment and thought. Was it worth thinking it over? No. It had already been decided for certain yesterday. Would he manage it before they came out? Yes!

Why has the Official come all the way down to the house where the Hundreds live so early in the morning, when he has never before been seen beyond the houses of the names? Because before he hears the Face-Maker's answer, the Official must see for himself the material with which he is working. Why didn't he do that sooner, before he went to see the Face-Maker? Before the Face-Maker is brought into motion by the spring, any sequence of actions is acceptable, it's not until afterwards that only one specific series is possible, but right now... Right now the Hundreds have got up. They were already dressed and ready to continue their work with the Face-Maker, they had even walked to the doorway when the Official appeared in it. They both took a step backwards. They knew who it was there in front of them, he was in their thoughts all the time — they grinned at him. And once again that lucky mosquito bit into male One Hundred's heart, he could feel it. The Official didn't have much time. He

smirked and went up to female One Hundred, ran his fingers over the skin of her face, turned back the skin of her eyelids, opened her mouth with his finger. He unbuttoned her shirt and dropped it so that it slid down and settled in a heap around her feet.

“Take a step forward.” She took a step forward. The Official went down on his knees, lifted up her right leg, lifted up her left leg, examined her ankles carefully, ran his hand over her feet. Smooth, pink, regular, like the light from a red lamp in the mist. He sat her in the armchair. He asked male One Hundred to bring the lamp closer and then ran his fingers over her skin like a pianist fingering the keys. On one side his fingers felt the skin fail to respond to his touch, like a sticking key; he dug his finger harder into the skin — aha, the reaction was there inside, deeper. Female One Hundred’s body was tuned well and it played very promisingly. He touched her neck one last time with his right hand, ran the back of one crooked finger over her lips and waited for the complete response, then gently withdrew from contact. The body went on re-sounding for several minutes: it would do. After an inspection of male One Hundred, equally thorough, methodical and professional, he asked him to lift his head slightly. One Hundred lifted his head.

“That’ll do.” The Official was already on his way to the door.

The Hundreds looked at each other. They were happy. They rushed into each other’s arms.

“Oh Lord, I’m so happy,” she said. “That was the Official.”

He stroked her hair and cried with her. He felt almost insane with joy. Red-eyed and happy, they began getting dressed.

XIII

Now the Official and the Face-Maker are both moving in the direction of the House, and both of their heads glow in the mist. When a person's thoughts are vivid they can be observed from above. You can see the Face-Maker's light crawling along, much slower than the Official's. That's only natural. The Face-Maker is still thinking things through, but the Official is already acting. A person who is acting always moves faster than a person who is thinking about how he should do something, or whether he should even do it at all. I've already mentioned the City's resemblance to an inverted amphitheatre. Now the two of them are moving up from the aisles, shining in the rain and the mist, in order to meet at a single point, where the *deus ex machina* should put in its appearance, and very soon now the Official, having overtaken the Face-Maker, will be snuffed out by the doors of the House. The Official will be snuffed out, without having noticed or paid the slightest attention to the rain or the black marble walls, and in general without having felt anything at all. But that's only right — what time has a person who is involved in action for sensations? His only concern is the next action to be performed. And there is the Face-Maker, still toiling along, afraid of his decision, ensnaring himself in the thought that everything will happen at the last moment, will be exactly what must happen. And that's right, for when he has acted without thinking, things have always turned out as they had to, as fate determined. It was actually rather convenient not to have to take responsibility for anything. And so it unexpectedly turns out that the decision and the sensation are the truth, and all the calculations in advance are just lies to yourself. (But then

what if it's really all the other way round). And perhaps the Muse is right, and he'll give it all up — these are the thoughts of the Face-Maker, as if he's trying to understand himself. And he feels everything, feels it today especially keenly and more deeply than usual, because doubt means paying attention to everything around you. The rain today is eternal and more tangible than ever, its heavy, masterful hands fumble across the Face-Maker's body, seeking to discover what he has concealed from external view, and if there is nothing, then they look within. His skin submitted to these hands, and through it the Face-Maker could feel the rain rummaging inside him, it became more difficult to breathe; a fist seemed to squeeze his heart, and it attempted to make various movements like a bird, to fly, to pull itself free, but it could only twitch within itself. The sweat stood out even more strongly on his face in the rain, and the Face-Maker stopped. Halt. Nothing was decided as yet. The fist unclenched, his heart shot forward convulsively at first, and then its wings began once again to work easily and smoothly. His heart was beating regularly, the rain washed away the sweat and no more appeared. Lord, thought the Face-Maker, I'm not like everyone else, dependent on everything that happens, I've chosen my own road, myself. Now they all depend on me.

XIV

As he strides around the Face-Maker's office the Official, of course, does not know what the Face-Maker is thinking, but he's in a good mood nonetheless. The candidates are perfectly suitable. The strange thought even flashes through his head that he ought to visit her afterwards. But this thought is no more than an attempt to calm the agitation that he always carries around with him now-

days. He would have killed off this agitation if it was necessary, but all he needed to do was just stabilize it a little. The Official knows that when a man is agitated he is more sensitive to things, and he needed to be more sensitive, because there was a great deal that depended on the Face-Maker's decision at this very moment; it was not just the bare fact that was important here, but just how reliable the decision was. That was something no amount of brain could figure out, but feelings could decode the answer and the degree of agreement or disagreement with absolutely reliability. There were some kinds of disagreement which offered a greater guarantee of satisfactory execution than... The Face-Maker came in. He hadn't expected to see the Official here, he had deliberately come ten minutes early in order finally to make up his mind here, within these familiar walls, and to rehearse all the possible versions of his answer, even to use the walls for testing how convincing the answers were. Not that it hadn't worked out, he would have to do it right there in front of the Official. What was this, an opportunity, or... The Official had come early, which meant he was agitated himself, which meant it was an opportunity. Let's try another version. The Official had come early, which meant he wanted to create the illusion of agitation, which meant... But you can never work anything out if you carry on thinking that way. That's right. You wanted to rely on your own feelings. Okay, then feelings it is. But the Muse, who probably knows my feelings better than I do, came to an absolute and simple decision — refuse, not directly, not out loud, but using any genuinely objective reason as an excuse. A reason like that makes it convenient for everyone. For the Face-maker to refuse, for the Official to accept his refusal. A reason? The Face-Maker decides to follow all of the Muse's advice, so that at least he won't be reduced to making petty excuses to her.

“I’m not sure my couple will suit.”

“I’ve had a look at them, they’ll suit alright. Good material.” He even raised his palm to his nose once again — the smell was still there, a very suitable smell. “Yes, they’ll suit.”

“But do I have enough skill?” — The question is not asked directly, the Face-Maker seems to be asking as though he himself is certain, but he doesn’t know whether the Official is sure about it.

“You’ll have all the data you need,” the Official explains to the Face-Maker.

Meaning — be grateful this proposal was made to you and not to someone else, because there are a dozen Face-Makers with enough skill to do what’s needed using this material. But the Face-Maker wasn’t born yesterday either. Maybe a dozen might have done it, but they’d come to him, then the Official seems to let slip by accident that he’s not the first, but things didn’t work out with the others. Maybe it’s the truth. It could very well be the truth. The co-authors of power. Fear and so-called justice are in some senses more important than the Official. But the Face-Maker knows perfectly well what truth and untruth mean for the Official — he has to get the job done, and it doesn’t matter how. All the rest can be called by any names that are convenient or acceptable to the partner in trade. In any case, the essence of the matter as not in the words, but in the job. Of course, it’s more pleasant for any man to torture his victim in the belief that he’s doing it exclusively for the salvation of the victim’s soul, rather than simply doing it for the money. But on the other hand, what does the victim care about the executioner’s motives, when the fire is scorching his body, when the current...

So the result of this conversation (even though it isn’t actually spelt out in so many words), is that the Face-

Maker will not be given any guarantees at all and if things go wrong he alone will answer for everything. Clarity has at least been achieved, and the Face-Maker is relieved. This version of the situation suits him. If he alone is answerable, then this really is an opportunity,. Because then the Official will not come round even once to stick his nose into the work, which means that while he's trying to meet the deadlines for the operation (which are already too tight) he will be free of one inconvenience, perhaps the major one. As a consequence, success might be possible. But what if it isn't possible? Is it possible anyway for him to go on trying for as long as he has already lived, or even longer, or has he already reached his limit? It makes no sense to go on spinning his wheels inside himself, like a tank stuck in a quagmire, sinking deeper and deeper into the bog for another twenty years.

Brrr... Is that the only meaning to his life, is that his only prospect for the future? But the Face-Maker is no fool, he expresses his agreement in a vague and indefinite form. The Official is even less of a fool, and he reminds him that this conversation of theirs has never taken place. That's all there is to it. It's very simple — the spring has turned the drum, and the drum has a cogwheel on its axle, the teeth engage with the teeth on a smaller wheel, so tightly that there's no way they can be separated, and now it seems there's no way of telling who's moving whom. No time to try working it all out, either. Cog will engage with cog and any moment the Hundreds will be caught up in the movement. In order not to bump into them, the Official leaves by the opposite door of the House. The movement hasn't reached the pendulum yet, the hands are still not moving, not even the very keenest sight can yet discern the face of the new time, but deep inside a wheel set on the same axis as the fate of the City has already shud-

dered into motion, the steed of history has become restive and we're on our way.

And, damnation, the Face-Maker is excited. This is not just a conversation, it's the start of a new life. His hands are even shaking. His fingers are trembling, and this trembling is a pleasant thing. He has known for a long time how to make use of his excitement and coordinate it and the movement of his fingers with the sketch-plan of an operation. There's a great pleasure in selecting the part of the sketch, the facial correction and the rhythm that match your own excitement. It's exactly like holding a chisel to a piece of wood spinning on a secure axis and removing a beautifully regular shaving: the wood become smooth and perfect, more smooth and perfect than when you cut wood lying still, clamped in a vice, or if there is no vice, then in your hand — no matter how keen your eye or how steady your hand, the surface won't turn out as smooth as it does when the wood's spinning, and when it comes to speed... For a long time now the Face-Maker has worked faster than his colleagues, because for the Face-Maker excitement is not an obstacle, but quite the opposite.

No time to think about all that right now, though. Female One Hundred has already lowered her shirt to her knees. The Face-Maker asks her to raise it to her waist, no more is required. But since the Official's visit everything has turned topsy-turvy in female One Hundred's head, maybe now the shirt has to be let down all the way to her knees. The Face-Maker puts on his apron. Male One Hundred sits outside the door. His body is trembling, he's consumed by impatience to continue the operation. But if he was asked why he's trembling and what he's so happy about, then he probably couldn't give the right answer to save his life, he'd formulate his feelings after the Official's

visit and his own guesswork in words something like the following: there's success on the way, promotion... serious success too... That's why he's trembling in excitement as he sits there, the way a bull in the slaughterhouse starts to tremble when it catches the scent of blood.

Meanwhile the Face-Maker in his apron has already slumped across the moist, tense breasts of female One Hundred and raised his trembling hand to her eyelid, the third square of the sketch. Working away like a machine he slit the skin and turned it inside out. Female One Hundred stirred under his weight. He pressed down on her even harder and pushed her back against the table. She was in pain from the weight and the knife, but she settled down again — hope makes it easier for us to bear pain and heavy weights. As she felt his powerful body against hers, a wild and impossible thought even flitted through her mind: what if... But the Face-Maker had a name, and it was out of the question. But then again, whatever the law might say, you couldn't control feelings. She shifted beneath him again, and once again the pain retreated. Her body began to feel languorous.

“If you just get in my way, you bitch...”

That sobered her up and frightened her. The Face-Maker sank his scalpel in deeper so that the blood spurted up, she jerked as though she was sitting in the electric chair, and all her languor emerged in a groan. The Face-Maker took another two squares at once, and that meant three times the pain. Her groan became a scream. That was more convenient now, when a patient was completely absorbed in pain she didn't get in your way if only because she wasn't thinking about you or feeling you, and all the Face-Maker wanted today was a body that didn't interfere. His scalpel bit still deeper into the flesh and swept even further across the skin. This is the point at which the pure-

ly professional business begins, and that has never really been very interesting. There's nothing to it except pain, habit, the Face-Maker's passion, the self-generated confidence that he will manage it all in time. What point is there in continuing to stand over these two allies: the first of them resistance to pain and the second the infliction of pain? Of course both of them will come out very well if everything should go successfully. Let us return to the street and follow the one person whose life will be completely unchanged by this success. She will simply carry on feeding the Face-Maker and waiting for him, weeping in her love and pity for him and his nonsensical ideas.

XV

The Muse is walking to work.

Look as hard as you like from up above, you still won't be able to spot her in the rain and the mist. But the Muse can see you if your thoughts give you away. She's following the Face-Maker up the hill (her work is just a little lower down than the spot where our *deus ex machina* made his appearance) and the tears are flowing down her face because she can feel that the Face-Maker is already at work and nothing can stop the movement, the wheels of the carriage are already spinning now that it has been set in motion by the Official, or, more accurately by his quarrel. The wheels are poised above two steel points, any moment now they'll touch them and the carriage will start rolling, catching up with the train that is already rolling downhill, because time moves eternally downhill.

The weather is different now, the rain is heavier and stronger, like slim fingers clutching at her cloak, not piercing it, but pressing into her flesh with an indifferent strength, in the same way as the Official inspected female

One Hundred. The rain quickly washes away her tears and her eyes see clearly again, and in the rain the cloudy world is damp and beautiful.

The Muse enters the door and finds that once again she has forgotten what she has to do today, something that has been happening more and more often recently. She hardly even thinks about her work at all, but there was a time when she would have found it hard even to imagine that she might forget what job she had to do next. She used to hurry to reach these doors, feeling happy at the thought of sitting at her own desk. She would push in the video button and...

“What have we got today?” the Director asked her in a slightly irritated voice.

She looked at herself, then at the clock. No, everything was okay, he must simply be annoyed with himself. It was silly: all she had to do was say two words about the Director to the Face-Maker in the evening, and the next morning they would change his name for a number, or it might even go as far as Departure.

The Muse never exploited her name, but others frequently did, and they took pleasure in their power, as though they themselves were not dependent on the Official, and they could never understand “what it was for” when their own time came. The Muse glanced unhurriedly at the control panel. The last program on the list was “The Immortals”.

“You can watch it on your own, and enter your own code.”

Aha, so that was it, he was afraid. But what was he afraid of? This wasn't the first program in the series. Had something changed in the City? But how would he know anyway? Nobody had any information at all. No information, but... The entire riddle was contained in that

“but”, and the Director could already feel something. Damn him anyway, let him be afraid. She had no problems to do with the Director’s level, and no doubts about anything either. Anything that was going to happen could only happen to the Face-Maker, and that meant to her, but not because of some poor broadcast.

XVI

Ine key pressed; the third, the ninth, the second — and there’s the voice: “Let us review the content of the previous episodes.

“In one of the regions of the world, separated from the major continent, Immortality became the norm and the basis of social life. By Decree of the Central Council it was decided to limit the size of the population to ten thousand and all women capable of bearing children were exterminated. The ones left were those who were no longer capable of any concupiscent thoughts, and so the ten thousand immortals began to live a life of pleasure in what they had created and the world around them. Several centuries passed in this fashion, and then the people realized that they were ugly, old and repulsive, that their lives were feeble, monstrous and meaningless. By Decree of the Central Council it was decided to make room for a new generation through the enlistment of volunteers who were willing to leave this live, and to bring children into the world so that life would begin to move and change once again.

“Miraculously, just at this time, in the most remote spot of the region a girl was discovered — the very last child in her family. The entire family had died and she was living alone. She was sixteen years old. Many generations of the family had guarded this narrow stream of life, avoiding all the lists and the immortal inspectors. The girl

was found and brought to the Council. They explained why she was needed and what she had to do, and she felt the desire within herself. Ten of the very youngest immortals were selected, with ages of about one thousand.”

The introduction was over and the Muse stopped the tape.

She entered her own code in the usual quick manner, then the code of the archive, then the code of the program. That was it. The green lamp lit up on the control panel.

Was the recording clean? Had everything been edited properly? There had once been a case when archive footage of the Choice of the Principal Couple had been edited into “The Immortals”... all of her colleagues in the Museum had been sentenced to Departure, and after that many others had been moved. Only the Muse had been spared the departure and the change of job — she was the Face-Maker’s partner, and she had a name.

Attention.

Several people had appeared before her eyes. They were pleasant to look at — clothes like that weren’t worn in the City.

It was twilight and the time had come. The light, white, flowing garments were piled in a heap. They all stood up and bunched together, and their bodies were skinny, flabby and ugly, but washed clean and they smelled pleasant. The bodies had become completely bald a long time before, and all their parts were like babies’ parts, innocent and sexless. Even in the twilight seeing it made her feel afraid and bitterly sad for the human race. And the girl was there. She lay down, beautiful, tender, young...

The Muse looked at the scale: ten points of revulsion at a different way of life. Enough, that was almost the limit of what people could bear. But the arrow trembled and crept

beyond the red line towards eleven. The Muse stopped the recording. She covered her face with her hands. She wept: “I don’t want immortality, I don’t, I don’t. God, how wonderful that there is the day of Departure, how wonderful that all of this comes to an end, how wonderful that my body is young, that I can look at myself and love myself.”

But she had to carry on with her work. She began feeling sorry for the people who would watch today’s episode. She cut out part of the recording, and that made her feel better. This was her job, after all. The Muse had done what was required. There was no compulsion, she had done it sincerely, voluntarily. Everyone has to be convinced that what he does is either beautiful or just. What she had done was undeniably just — at least that was what the Muse thought. She had moulded every scene and every gesture, she knew the secrets of how to move people and how to persuade them, even so she was convinced of the justice of her work, and for her it was the truth that immortality is sacrilege.

The truth is only what we believe in, even if we have only invented that truth.

She pressed her palms against her cheeks, wiped away her tears and turned on the tape again. This episode was probably the best of all, the previous ones had not generated more than three or four points of revulsion. But this was right at the limit. Her heart was scarcely affected any more by the tortured face of the girl, by the twisted helpless skeletons covered in yellow skin lying all around her — now she looked with a professional eye. The old men would live. The only outcome of this human scrap-heap was loathing, because they had long ago lost the ability to ejaculate sperm and renew life. The Muse looked at the indicator: it was still at eleven points. She cut out a twisted old man lying there with his head thrown back to

show a blind wall-eye, pushing back a quiff of ginger hair with his blue hand. She reduced the level of the light a little and then checked the indicator. Exactly ten points. Enough. A good job done, maybe even very good. If she wasn't a Muse, she could have expected a bonus. But she was above any kind of bonus — she had a name.

She checked on the monitoring viewers. Nine to eleven points. Within the limits. Today the City would be convinced yet again of the humanity of its laws. Departure was the highest form of justice. How supremely rational the measure was! If only every person was as convinced as she was of the perfection and rationality of the world around him, how much genuine happiness he or she would experience in a lifetime!

XVII

The Great Face-Maker can manage very well without any illusions. A microbe living in the crater of an active volcano may need to imagine that he is in paradise in order to survive, but for the Great Face-Maker entirely the opposite holds true, sometimes, in order not to be bored, as he picks his nose lying there on his bed, he has to think up something for himself to do, in order to feel like everyone else. But not today, today he has no time to be bored, he has completed his couple, he is entirely satisfied with his work, and in his complacency he has completely forgotten his quarrel with the Official, which really was quite trivial; after all, anything can happen between friends. It should be said that they are each indebted to the other, one made the other the Official, and the other, in turn, made the first the Great Face-Maker. For almost ten years now they have been leading the City in this way, helping each other. But in the City they believe, quite

rightly, that the strongest love is the shortest -lived and the firmest friendship is the one which ends when the right time comes. Be that as it may, the Muse's friendship with the female One Hundred is her personal affair, but the friendship of the Great Face-Maker and the Official is a horse of a different colour, because the peace of the City depends on them. But then people all jump the same way, - which is a pity, it would be better if the Official and the Great Face-Maker did not jump at all, but were a little less lively. Less lively? Well, perhaps not less lively, perhaps just a little less human?

Alas, no matter what the line of work or the name, there is always a person inside, even if he is invisible. Is that the reason for all of this? Maybe there is another, but for the time being that's not what I'm writing about. At this moment the Official's inner man would probably gladly have bitten the head off the Great Face-Maker's inner man, even if their numbers were both in the first hundred. But now, on the eve of the following day's Choice of the Principal Couple, as he celebrated with the Great Face-Maker the completion of his most successful operation (just imagine it, a likeness coefficient of minus point zero three; he had probably done nothing like it in all his career, even the Official's coefficient was only slightly higher). Anyway, the last few days had gone very well for the Great Face-Maker, and the result was good, but for a master craftsman the result is not the final consideration. It's the goal, but the future opportunity, and the continuing movement are just as significant. You may be thinking the Official is aggressive and unfriendly or else, what amounts to the same thing for an intelligent observer, affectedly gentle and pleasant, but you're mistaken. This evening the Official has persuaded himself (and not everyone is capable of this) that the Great One

has no closer friends than him (which is the very truth), and that he made the Official the Official (which is also correct), and that he is fond of this dear man with his huge success and his breadth of vision. So never mind those trivial differences of opinion, today they feel as comfortable to the Official as these familiar rooms and armchairs, as the garden in which you can strangle the birds of your choice, as the City's only pictures, even the Official doesn't have anything like this — in which there are lots of different faces and which, of course, are both interesting and dangerous precisely because of their difference from each other. The Official, who fears doubt like the very devil, would never have hung them on his own walls. Everyone has a lot of pictures and portraits at home, and they all show variations of the Image — sitting, standing, lying running, full-face, profile, from above and from the side, and every possible way — and all surrounded by faces similar to the Image, but with appropriate degrees of likeness. The experienced professional eye has no difficulty in distinguishing who is who, and every eye in the City is professional in this sense. It all hardly requires any comment. The Official feels comfortable, at ease, relaxed, free with the Great One! Relaxed, comfortable, free, he repeats to himself at first, and then he begins to feel it so strongly that he stops thinking it and begins to live it. He likes everything about the Great One: his hands (the hands of a master-craftsman) his unhurried manner of speaking, his funny story of how his couple burst into tears when they saw each other today after the final session, and flung their arms around each other's necks in their happiness, when they hadn't embraced once in the last five years. Love had suddenly returned, and it was no pretense, but real, man-made love. And so this is not just a pleasant evening for the two of them, but a kind of quiet, slow-

motion carnival with fireworks and masks which are unpretentious, pleasant and humorous. And when the Official reminds the Great One of their quarrel, the Great One laughs and even cries: what fools they are for quarrelling in this brief life, but then perhaps it is necessary. Yes, everything is necessary and everything is possible, in the final analysis it is human emotions which move and create history. Although what has history got to do with it? After all, they know the real value of these puppets which only imagine themselves to be people. They jump and they spin, they are dependent on changes in their number and their place in the City. Both the places and the numbers are controlled by the Official and the Great One, and these puppets have nothing else. Yes, says the Official, emotions are good, and even the fact that we are able to talk like this is not something you come across every day. Trust is the meaning of life, and in this City only we can say everything to each other. the Official actually believes what he is saying, and is actually astonished at his own discovery. They are both pleased with such a pleasant evening, and there are so many more of them still to come. They have to allow that a quarrel is helpful in catalyzing relationships. It is at one and the same time a separation and an occasion for testing each other's trust. Only whatever happens, they both decide, let's not keep it hidden inside for so long, but talk about it straight away. And then these two tender souls can no longer restrain themselves, and they embrace. They say almost nothing about the evening of the next day: what is there to say — the script has been written, the roles have been assigned, the illustrators will show what's required, even if it's not the truth. Not a single hitch in all these years.

"I've got a woman coming round soon," the Great One announces — even that kind of thing is possible, things are so very simple between them.

“And I still never see any,” replies the Official — even that kind of thing is possible too, because each of them is prepared to drag out his tiniest thought into the light of day for the other to examine.

Then when the Great One tells how his new woman trembles and how she bites the blanket with her teeth in order to stop herself screaming out loud — which wouldn’t be decent in the presence of the Great One — the Official asks if he can stay and watch. The Great One is pleased at the idea: of course, that makes it even more of a thrill. They know, and she doesn’t. Definitely: neither of them have ever spent such an evening in their lives, they have probably never been more happy together, after all, male friendship is quite incomparable with anything else. The Official is crying as he goes into the next room, and not ashamed of his tears, and poor female One Hundred and Something has been standing in the rain for an hour while our couple have been convincing themselves of their mutual former, unfading, eternal, faithful affection. She came in shivering, chilled to the bone, and the Great One didn’t turn out the light, he undressed her and began rubbing her all over, like a masseur, and he warmed her body, but he failed to warm her soul. She trembled and groaned slightly. Of course, in a way that would please the great One, after all he was a quite exceptional and unique individual, so that was how she groaned, with her mind alone. Even the Official understood that and he left without waiting for the climax, by another door. They had agreed that he would leave anyway. He wept as he walked along, having forgotten all about the rain mingled with his tears and fell on to the black granite and ran down the invisible incline into the canal.

XVIII

But now the time had come to extricate himself from this state of tender feelings for the Great One. That's not so easily done all in a moment. It's not quite as simple as changing gear. Perhaps the Official still loved the Great One even as he entered his house, and still loved him as he lay on the bed without undressing, and as he crept in under the blanket. Then somehow it seemed to pass off, and gradually their relationship began to creep downhill, like a cart without a horse, slowly at first, then gathering speed. And once again the thought that had never even been mentioned while he was at the Great One's crept out from the cavity in the double wall and occupied the entire space of his cold, precise, quick brain. The couple were ready, the Face-Maker had done a better job than he had thought he could. The Muse also appeared to believe they would succeed once she had seen the Hundreds. The illustrators had been replaced. The hall was ready. The woman of the Great One's candidates had a scarcely noticeable scar beneath the right ear, it would be huge in a blow-up. The penalty for leaving a scar was Departure. The Great One loved the Official. Their relations were better than they had been at any time while they had held office. That was the positive side. But the Great One was still the Great One, and his immediate reaction might prove unexpected. Suppose that by chance, in checking the illustrators, he should discover that they had been changed? But that was not possible. After this evening he would hardly be there earlier than five minutes before the start, as he had been for the last five years. Would you believe it, even the girl the Official had recently found for the Great One had come in useful.

“How amusing,” chuckled the Official, “I could have sworn I was seeing her for the first time. It’s amazing how manageable the human brain is. And the interesting thing is, she likes the Great One as well. Perhaps even more than that, but she is a person of honour, and since she has promised to be faithful to the Official.”

The Official is not very far wrong concerning faithfulness. She could just as easily and convincingly tell the Great One that she loves him more, and then... And then what? That he knows her? Naturally — it was the Official’s duty to know the Great One’s woman. But the Official had nothing to do with her keeping an eye on the Great One. They had merely exchanged impressions, admiring the Great One’s abilities even in this sphere. Even so, tomorrow morning he would have to bring her in. And before Departure, make sure that quite apart from any considerations of duty, she told him absolutely everything out of the sensation of pain. That was more convincing. The girl was very sensual, and that meant she would tell him everything that was needed. Could there possibly be any negative aspect here? No. It could all be done, all of it. Of course, it was not by chance that the Great One was in second place — that is, in joint first place, just like the Official — it wasn’t just a matter of professional skill and talent, it was diplomacy as well. Instantaneous and unexpected reactions. Only now the speed and unpredictability were hidden away somewhere inside a double wall because they weren’t needed, but the time would come, and then... He had to be prepared for anything, but it could all be done without leaving even a single seam visible. But he would only be able to relax and take pleasure in thinking about the positive outcome after the Departure of the Great One, and a reason was also required for that. That was the Commission’s job, though. The Chairman could

read people's thoughts at a distance, and as soon as the scales tipped in the Official's favour, his side would automatically carry on ascending. A good Chairman would do everything that was necessary, and this Chairman was quite excellent. But what if the Official's pan should start moving downwards? How could it do that? He wasn't the Face-Maker, he hadn't carried out the operation. In the worst case he would be outraged and amazed together with the Great One. After yesterday evening the idea that the Official had been involved would never enter the heart of the Great One or the mind of that little girl, writhing in agony and wriggling her split tongue. In that case the Face-Maker would be the only one caught out. All right then. When all the possibilities have been run through, it's time for sleep. The Official pulled off his shirt over his head, went to the bathroom and washed, lay down without any blanket over him and quickly fell asleep. But in his sleep he whined and tossed and turned, like a dog that's been beaten, like a cat that's been half-crushed. He wept and begged for forgiveness, but that was only in his sleep, and in his sleep a man is not in control of himself. His arms clutched the pillow tightly, and his body turned blue, and it seemed as though someone was trying to strangle the Official, but he kept twisting himself out of their grip, and so the struggle continued without any sign of victory for either side.

XIX

But now, apart from Officials and their like, it's time we remembered the simple people living in this City, for to the Official and the Great One all people are simple — apart from themselves, of course — and to the Official perhaps even the Great One is a simple man.

What are they like, these simple people?

Well, for one thing, today they are celebrating.
 And for another — today is the Day of Meeting.

The only day of the kind in the year, for on this day the hall is opened in the House and they can be together without being afraid of the rain, which falls not just some of the time, but always, driving people forcibly back into their dwellings, and the dwellings are narrow and cramped, and there is nowhere for a simple person to see everybody at once.

And so —

Today they almost have equality.

The names and the numbers.

They look forward to the day of the Choice, the Day of Meeting, the day when you can show yourself and look at people. Like manna from heaven.

And this joyful anticipation is expressed in the wild manner (according, that is, to the standards of the City) in which they slowly and ceremoniously make their way towards the House.

If we were to put torches in their hands (reliable ones that the rain would not extinguish) we could look down on them from the height of the House and watch the small flickering lights crawling along, like ants heading for their anthill, up on to the hill where the House awaits them. How merry they are, the simple people, how festive, how triumphant. It's the Choice — and that means they have hope. It's the Choice — and that means the chosen couple's happiness will also be theirs. And then there is the spectacle that awaits them after the Choice!

They walk in total triumphant silence, and more and more doors open wide just as the procession reaches them. And what justice — those who have emerged last become the first as they move along, and those who emerged first are the last, so that there should be no confusion or crush.

Put torches in their hands and you will see an immense tree, with the roots of its trunk disappearing into the doors of the House, and its crown spread out across the entire City, and the tree keeps growing, and its branches appear too large to fit within the walls of the City.

But this is an illusion — make them go back and hide in their burrows, and there would not be a soul left on the streets. Only the street-lamps. The Rain. The Canals. The Stone. Cold, dark, silent.

But nothing of the sort will occur on the day of the Choice, the people are still walking along. What then is the point of these branches which will not fit within the town boundaries? To remind us that they are an illusion. There are exactly as many people as there are spaces and numbers and living units in the stone quarters. And the immense size of the procession is also an illusion, which contains exactly as much truth as the assertion that the earth does not move. But it is difficult not to believe the evidence of one's own eyes. I understand all this, and yet still there are so many torches that they will tear the town apart, and it will burst asunder like a balloon.

“Woe unto me, woe unto me, my brothers..” But it won't burst, even illusions have their limits, and in any case they are most reliably constrained by reality.

Like the magician fire, the wide-flung door of the House silently swallows the tree flowing into it, it is insatiable, it can swallow more than this if the need arises. Let us leave the winding torso of the tree with its blazing flames to burn itself out on the street. And let us watch from within as the crowd enters the City's holy of holies. Here the equality of the street comes to an end once more: out there they all stride with a strict and regular step up the hill towards the House, all wearing cloaks, carrying torches, in the rain. But in here it's the City once again.

For this is no mere hall, it's the City in precise miniature, turned inside out, only instead of houses, cells and apartments there are seats, and they are all numbered too. A semicircle of rows descends on three sides from the entrance towards the stage. How comfortable the rows are, the aisles between them are wide, it's easy for anyone to walk down, find his number and take his seat without inconveniencing anyone else. At the very top and on downwards are the places for those who have a number, around the stage, beyond the wide band of an aisle, are three semicircles of seats for those who have a name. It's dry and quiet, there is a light-blue dome overhead, and a bright yellow light at its centre. So bright that it is best not to look at it. The light makes the blueness so pale that it appears almost white.

The hall fills up silently and slowly, as though wine is being poured into a chalice, first on to the bottom, and then up the sides. First the names, down on the bottom, around the stage. The stream flows in at the wide doors. Not slowly, not quickly, filling up the chalice of the hall, which, if it were enlarged and then put together with the other hemisphere to create a single form — the City above and the hall below — would form an entire earth spinning around its own axis, the point where the Official, the Great One and the Chairman of the Commission of the Choice are presently sitting. If you were to form this earth in this way and analyze its structure you would soon be convinced that a number really is all that a person in this hall possesses. Everything is exposed here — who is worth what, who occupies what place, how many numbers he has moved up during the year. The obviousness even extends to a subtlety such as the fact that the last of those who have a name and the first of the numbers are separated by a bottomless abyss, and in the hall this truth is expressed

by a broad aisle — one might call it a moat — which would be obvious to a blind man. Try jumping over this trifling obstacle! How could you possibly do it? You could spend all your life until Departure without ever making it across this space, which is no more than about two metres wide in the hall, plus of course the tears, the labour, the skill of the Face-Maker and, when it finally comes down to it — destiny. If you want to take a closer look at them, do. There are now ten minutes of the greatest collective freedom. The people sitting on the stage are silent and everyone in the hall is thrown back on his own devices.

Ten minutes till the Choice, ten minutes till the ball.

The merriment is at its height, everyone is watching everyone else in silence, seeing who's where now, and what's happened during the year. It's all there to be seen. And there's nothing wrong with showing yourself to others, the only thing that matters is whether you've moved up or not. Well? Then, of course, God forbid that they should mix up your number. It's fine if they've moved you the right way, but what if it's the other direction? And so those who have stood up attempt to move up a row or two, where it's nice to meet people who until recently were with you, but have now sunk down quite a bit. The whole hall is a chalice and, of course, the highest place is the very lowest seat, but "low" is a word with the opposite meaning to its real significance here. Here all is illusion and convention, but they know the forms of this convention off by heart, like their multiplication tables — and no one would make any mistakes in those. They stand in small groups in the passageways, between the belts and sectors of the rows of seats, talking quietly, half-audibly, in serious and respectable voices, and the numbers have already mingled, and a Five Hundred seems able to insinuate himself quite freely into the Four Hundreds. And

there's One Hundred and Thirteen, bubbling over down there on the frontier — look where the rogue's got to, he's bursting with energy, and twisting his face so far out of shape that at times it actually seems as though it belongs to someone who possesses a name, and he is only here by accident, in fact it's quite impossible to understand how and why he came way down here in the first place. As if he's just come over to see some old, forgotten cronies of his and will soon be gone. And quite certainly no one — apart from those who know him personally — even imagines that after the ten minutes of freedom, he will go back to seat One Hundred and Thirteen, to his female partner One Hundred and Thirteen, who is sitting there, like about half of the hall, waiting for the proceedings to start. All of female One Hundred and Thirteen's thoughts are focused on the spot where their gods are sitting, where the outlook is determined by their view of things, and she moves her lips in a daze as she calculates her own destiny. She has no time for the idle chatter of the tiny man who happens to be her partner. She is so absorbed that she has raised her shirt above the regulation level, crumpling the hem in her sweaty palms. And male One Hundred and Fifteen, sitting two numbers down from her, has stretched out his hand to touch hers. Then she comes to her senses and drops her hem, and squints at him so cuttingly that he is convinced his feelings and his guess-work were quite unfounded, and goes off to join the group where the eyes which have long been his are waiting for him — from couple number One Hundred and Twenty Two. It's interesting to stand here like this. There she is, and he stands opposite her; he has studied her and she has studied him in detail down to the last patch of skin, but for everyone else they are strangers, and a dozen numbers around them are discussing the latest news of transfers, and future prospects, and mistakes,

and how so-and-so was unlucky, but it won't last long, he's only moved up one number all year, and of course that's not real growth, but then others don't even have that much. And then you hear someone remark that you can't really measure people against others. And One Hundred and Thirteen is boiling over with excitement, he's acting as though he's the group's official informant on what's going on down there, where the others are... He raises his finger, as if to indicate that in a few days' time he will be down there too, it's really only a matter of days, and over the last year he has moved up twenty numbers but that's not his limit, and his face has a higher degree of likeness. The cunning dog has learned to hold it so that you can't tell, even a professional can't tell. Ah, if only the break would finish now and he could go down there, where all his thoughts are directed. Wait a while, my little friend, you have a train-load of time. You will be down there soon enough. And for the present you have your brilliant prospects to look forward to — going way down there and chatting on equal terms in a grave and stately little group. Perhaps you think if they have higher numbers — lower ones, that is — then they talk about something different. That's another illusion. It just feels as if you've not moved at all. The theme's the same. Future prospects. The same eternal, oppressive concerns — if only they had a name. God forbid you should give yourself away, let them know that you should have the right to go down as far as you like, right down to the front row... All these One Hundred and Fives, One Hundred and Thirties, Two Hundreds and so forth — tall and squat, fat and thin — they'll all start going on about how they should be sitting down there in the front rows, and how they are only up here temporarily, in the first place, and not for long anyway, in the second place... Flee to the front rows, flee, thirsting for peace,

they, thank God, have no prospects, but they do have this peace, they have no goals to strive towards — listen to what they are talking about, and they're not talking about anything, except maybe women, but they're so experienced in that area that really... and about work — what's there to say about that, they are doers, and everything's behind them now, they even have names, something those higher up in the hall can't imagine even in their wildest dreams, because it's possible to change one's number within the ranks, but as for crossing over into the front rows, people only manage that once in a blue moon, unless you count the women — and they're not people, not in their own right, anyway — but so that even this should not spoil people's lives, they conceal it and record the person who has moved over as always having been one of them, who was punished by temporary deprivation of his name. As much as to say that there is not and cannot be any natural movement downwards, that is, in the only correct direction. Just as the rain cannot cease or the sun — even if it were there in the sky — move from west to east. That is also just. Everything in this City is just. Here justice has very likely reached its ultimate limits. There is a goal, but it is unattainable, so that it should never disappear from a person's life and leave it meaningless. What about the names, you ask? Well, they fit the pattern very well without any further goal, and this is justice too — people like that are necessary (as a fact) for a goal which exists not tomorrow or the day after tomorrow, but today. Do you see how cunningly it all fits together? But quiet now, the ten minutes are almost over... One Hundred and Thirteen has darted back to his place, grimacing wryly, as if to say he won't be sitting there for long, and the Muse, who was talking with female One Hundred, has also set off back to her seat.

The Face-Maker, having taken a final look at his work, has set off, white as chalk, to join the Muse, afraid to look at the Great One. And the latter has no idea whatever that this perfectly ordinary Face-Maker may bring down the final curtain on his career. But then, even in a world of order, theoretical miscalculations occur, and then, of course, they are rapidly embraced by the theory of justice.

XX

Quiet... Sssssh. The hall falls silent, like a sea that has breathed water up on to the sand in a strong frost which has instantly transformed into ice. All around there is nothing but dead, cold, stony silence. The light in the hall fades, grows dim and shadowy and finally disappears, and now there really is only one face. Without rows or numbers, a face that looks and creates and chooses. There are three figures on the stage, and they are approached by the first couple, who will today become the Principal Couple — for all their own participation in the actual Choice no one ever doubts its justice, or the fact that this couple will be the Principal Couple. The viewers in the hall are divided into those who know the couple personally and those who don't. Each one who doesn't know them shares the same face, he depends on the legend, but each one who does know them, alas, is alone in his knowledge and his attitude to the couple. Think of it — for instance, could male Forty feel the same way as everyone else about the woman in the couple, when yesterday for two whole hours he was whispering their secret words into that finely-shaped pink shell of an ear, and she was using those tender lips like a little girl with a basket, who wanders through the woods and gathers all the berries she comes across. And how many secrets, how many threads

there were stretching out from this couple to the people sitting in the hall. If we should lift the couple up towards the dome, the entire hall would hang dangling on these threads, and you would see that the entire City gathered here is woven together by these double or tenfold links, and there is not a single person who hasn't been with someone, and she, in turn, has been with someone else and bound him with a firm, strong thread.

It's a good thing that we can't lift up the main candidates and demonstrate that the City is so tightly inter-linked internally. It's a good thing because it means the people sitting in the hall can retain their illusion — that only the Principal Couple's friends are linked with them, and they have nothing to do with the matter. How should they know that they are also linked through their own friends, and everyone is linked with everyone else? Brrrrr. Alright. We've taken a look and that's enough; or perhaps you imagine

that you're not connected in this way with the entire world? Alright, it's time. They're here. Eyes on the stage, where the event they are here for is beginning.

Attention.

The couple ascend the usual yellow and black rostrum on the stage.

Then suddenly there is no one left but them. The light has been extinguished and only their faces are picked out by a ray of light in the darkness, then even that has disappeared, and now, on the screen up above them, their faces are shown side by side, huge and alike. It's not the head, only the face is visible on the screen, as though they've cut out a mask, and it's not important what colour the hair is, or even if there is any, and the contour of the skull has no significance. The faces are so broad and wide that they extend across the screen like a map of the two hemi-

spheres, except that the half on the right is just like the half on the left. At the top of both, in the north, lies the cold white snow-field of the forehead. In the south, below, lies the rounded territory of the chin, smooth as a bay in a sea-shore. In the west lies a delicate bluish ear, shaped like a field carved by a meandering river, and to the right, in the east, another, pink and transparent as mist in the light of the rising sun.

The space across which this territory extends is so immense that wrinkles seem like mountains, and the sweat between them like blue frozen lakes. Only the eyes enliven the wide expanse, but when they too are still, the earth and these faces seem to be as like each other as two birds killed with a single shot. Peeew — the sound shot through the hall like a bullet, and above the faces of the Principal Couple the Image sprang into sight. The face of the Image had been clearly visible before the evening's proceedings began, suspended, huge, above the entire hall, but then when they extinguished the light and illuminated the face of the future Principal Couple, the face of the Image was also extinguished, so that for a moment their eyes might forget its perfection and then once again see afresh the great beauty of this boundless expanse of harmonious and balanced proportions.

Now there is an ensemble, a trio — the two faces of the Couple and a third, the Image. Like dancers on the stage, in a single synchronized movement, they turned to the right. A pause. Following them, the hall merely shifted the pupils of its eyes to the right, like a conjuror moving a single black sphere from his left hand to his right. A pause. It was clear to everyone how good the work was, a perfect match. Any person out in the hall could do no more than dream of anything like it. If only the Great One had worked on him. How many thoughts skewed through their

minds like a skidding motorcycle and span off into the blue distance.

“Aaaah...” the entire hall let out a sigh in which there was envy, and hatred, and compassion, and complicity, and the substance of a dream... Surely it’s not possible to decipher absolutely everything?

The likeness coefficient figures have lit up. The new illustrators work like clockwork. The first figure is minus point zero three, the second is minus point zero two. Our Face-Maker could never even dream of such a thing, not even with his latest figures. His heart sank suddenly like a mouse darting into its burrow, and it seemed about to shatter like an egg. But no, it held out, and then the con-juror shifted the pupils of their eyes again, to his left hand, as all three faces shifted to the left. What is this? The mouse has re-emerged, the egg has returned to its shell, although by this time it might already be a chick. The Muse gagged. The couple’s friends turned cold, the others blinked as though a hand had been raised to strike them. The light sprang up on the stage, and the projections of the couple were extinguished. Only the incomparable Image was left.

The Great One could not believe his eyes: in the first place, the likeness coefficient had been minus point one, and in the second place, under the right ear he had seen the huge, enlarged image of a crude scar. It could not be — he remembered having painstakingly tidied it up, thinking at the time, as he finished off the neck, that he could have done even more with the face, if he had the time. The Great One glanced at the Official and saw fright and puzzlement on his face. No doubt his own face expressed the same, since the Official was a mirror. The Great One recalled the previous evening and transferred his gaze to the Chairman. He was calm and impassive. Perhaps it was a

misunderstanding. Perhaps there was nothing to worry about. The illustrators over there were reliable. And now, when the second couple appeared on the rostrum, everything would fall into place. But no, everything is not all right. The hall is in a state of agitation. Lots of them have a likeness coefficient as good as that. Why shouldn't they be the ones? They've never seen anything of the kind before. Something has gone wrong. Nobody understands what as yet, but something definitely has. The Muse clutched the Face-Maker's hand. The Face-Maker leaned forward and seemed to freeze. It was his Couple now. The scar was obviously added after the operation. It was not the Great One's doing. What for, wasn't it enough that the Face-Maker's couple have a higher likeness coefficient than the first couple? Extra insurance... And what if that wasn't it? What if he didn't do well enough, then his victory would only be a victory for them, but not for him. He hadn't been able to do everything he should have, perhaps he shouldn't have tried it at all, how could he prepare the Couple, with his figures? It was impossible! His head began to spin. Was he really entirely unimportant, and his craft, and his ability, and his sacrifice — of his peace, and his life, and the Muse... And those deadlines he had met by doing the impossible. Halt. Stop tormenting yourself so soon. The Hundreds are up on the rostrum. Their faces are already being considered, they spin like weather-vanes on the screen. Once again the conjuror juggles with the pupils of all the eyes. Once again the trio follow the music in an orderly, synchronized dance. One step, then the second... Ah, how beautiful the Image is. One more...

Figures.

Figures.

Figures, speaking clearly to the hall, and even more clearly to the Face-Maker! Each likeness coefficient is down

in the hundreds, but he didn't do his work that precisely, his figures weren't that good. The Great One and the Face-Maker had calculated the outcome before it became clear to everyone a few minutes later. The Great One looked down from the stage at the Face-Maker, whom he had taught without any great faith in his exceptional talent — although he was reasonably gifted — but had taught him nonetheless as though he was an unusually talented person. And then this! In order to eliminate any possibility of misunderstanding, the Great One squinted, so that he could stare into his pupil's eyes more easily. It couldn't be! The Face-Maker turned his eyes away. The whelp! The Great One's lips twisted in a grimace of disgust. Alright, it wasn't all over yet. He transferred his squinting gaze to the Official. His face expressed confusion and astonishment. The Great One believed in his confusion, but he could not believe that he had no part in what had happened. He could not! And this thought slowly stirred in the Great One's brain like some ponderous bird that had always been there, but which in the twilight he had taken for a bush, because now there was light where there had been the tenderness of male friendship. Although his brain believed it, he still did not feel it, but that was no longer the point, his blood took fire, and the bird that had been exposed by the light began to move, flapping its wings, and now it felt cramped there inside and his chest breathed it out... The Great One loved a fight, that was how he became the Great One. What was he so surprised about? He'd done worse himself to get where he was. He knew how to fight then, and how could someone who once knew how to do something ever forget it? A well-fed lion won't break a goat's back, because he always has fresh raw meat. Why should he? But just let the lion get hungry... No pouncing, though. You have to close your eyes still more firmly and hide behind the curtain of their lids, so that the

others can't follow your movements. Eyelids are most convenient. Aha, now the Official is getting just a little bit worried, but not so it's really obvious. Here come the coefficients — minus point zero two. Oho, better than his control figures. That's not possible. But it doesn't matter now what's possible and what isn't. The job is an insignificant detail of the past, the craftsmanship means nothing in politics. There are no laws in politics, there is only losing or winning. The festival continued. The principal, the most significant moment had arrived. The moment of superimposition. All the masks were turned in profile. Each one was suddenly illuminated in its own colour. Yellow for her. Green for him. Red for the Image. And now — watch closely. The viewers' hearts stopped, ceasing to fulfill their responsible function of sound-projection. The music stopped. And now there was no air to breathe, but no one was breathing anyway. Well?

Can anyone breathe hanging head-down in water?

Can anyone breathe with his head in a noose, dangling in the air, even if the air has not disappeared?

In such cases one person drowning another advises him: pretend to be a fish when you reach the bottom, before you choke.

Well?

How else can we fill in this pause? Are they really fish? Maybe they have gills in reserve, sewn under their skin? No, damn it, I can't carry on like this any more. And I don't understand how they can. Aha... that's the squeak and the creak of the first heart. And... now what's happened? They've all breathed out... Pheew... The figures on the Coincidence panel match. For an instant it was dark. Then the light came on to reveal the Official, the Great One, the Chairman and our couple — now the Principal Couple. My God, I've never seen such wild, intoxicated, terrible merriment; for a long time

they were proudly and triumphantly silent in their sense of fulfillment. In the first place, they had determined their own destiny. because once in their life anyone might be a candidate, but not, of course, a member of the Principal Couple. Things went so far — only please, don't let this frighten you — that someone's heart actually began to race — unthinkable! — and beat twice instead of once. It was just like when a person is hurrying on his way somewhere and he simply stumbles and falls flat and that's the end of it. No applause, no rustling, the unthinkable has happened, the second couple has become the Principal Couple. The Principal Couple of the Choice. That's it, the thought flashed through male One Hundred's mind. That's it, that's right. His nostrils trembled and flared slightly, like the nostrils of a dog that has scented game and then found it. Female One Hundred was stunned, she still did not know how this would all end, and the hall was silent, also not knowing how to react to what had happened. The impossible had occurred before their very eyes, that is, it seemed as though it still might not happen. And then the Official glanced at the Chairman. The Chairman rose calmly and smoothly, went over to the first and second couples and gave them permission to take their places in the hall. How pitifully they walked, like children after some serious injury. They don't walk well anyway, and now their clumsy legs have been damaged too. The hall too was like a toy train with a broken spring, stranded with its little carriages gently squeaking.

XXI

The Official cautiously allowed himself to assume that things were developing approximately in the right direction, and his caution was most appropriate, for now the Great One rose to his feet.

He waved his hand.

The illustrators obediently fulfilled his command, and the illuminated figures went out.

Everything was as it should be: they obeyed him. The Great One ascended the rostrum. The Great One was calm. He'd run through worse plots than this in his head.

The Great One bowed his head.

The way a man who is unarmed and surrounded by enemies bends down to tie his shoelace and rises with a grenade in his hand. The only trouble is that when a man loves a fight, his entire mind and will are transformed into energy, and the simple little question "what for" is entirely squeezed out by the desire to beat and to conquer. It can no more find any space for itself than a cat can live in a rock, even if the cat is small and the rock is as big as a cliff — for inside there is no empty space, but...

Stop, Great One.

Why do you want this superiority, you know what it will cost. It's Departure. What does it matter if your pupil takes your place? He is still your pupil, and your operating technique will remain here in the City, the names that you have created will continue to occupy the front rows, nothing will change after all; you made the City, your people run it, that's your Official who jerks the puppets' hands, heads and destinies, at least that's what you think, and there is some truth in it. Depart, but leave yourself here in them. And you'll become immortal. Look into your pupil's eyes, full of confusion and shame — his sense of shame will make him faithful to you and your memory. Stop, sit back down, for now you've raised your hand not just against yourself, but against your cause.

The cat thrust its head against the rock, and the pain didn't matter, but there was no way in. It went off, hanging its head.

The Great One raised his head, and each person sitting in the hall heard the Great One's thoughts in his own more or less complex fashion.

The hall's ear grew as huge and all-hearing as the dome, the hall listened to the Great One with all its ambition, aspiration, envy, intemperance, fear of losing and desire to hold.

Their minds refused to believe what they heard — for it turned out that his couple was not like the Image, but like the Original, which was concealed from ordinary mortals, and no one could behold its face. But it had been revealed to the Great One when he was allowed access to the Original. And the scar that the Great One had traced on the Couple, running down from the right ear, was like the Original's scar. For only the Image was permanent and fixed — the Original was alive, and like any living person he could suffer pain and receive scars, the contours of his face could change.

Their minds refused to believe what they heard.

See now what you've raised your hand against, Great One! Against permanence, against the pillars of your own house. The Image is the law of the City. Destroy it and allow changes, and the stone will crumble to sand, and the rain will wash away the sand, and there'll be nothing but desert left, and the water will invade the desert, and this place will become a sea.

It would be good if the Great One could hear this. But resentment has blocked his ears, and his sweaty hand is already winding up the toy train, and already its tiny wheels are jerking spasmodically in his hand.

My God, what kind of idea is this about the Original? How much of it is true and how much of it is self-defense? And yet, if he should prove to be right, it's the end of our Face-Maker and our Muse — and the Hundreds, and the

Chairman, and the replacement illustrators. It seems to be all over, and the Great One has out-played the Official, although, as God can witness, the Official had no part in any of this. And on the subtle calculation that the illustrators, aware that they were doomed, would probably want to curry favour with him, the Great One gestured with his hand for the illustrators to show the true likeness coefficient. But the unfortunates were too cowed, and excessive fear is harmful in such matters. No one had told them how they were to behave in such a case, and they lit up the same figures as before — fear like that makes the mind stupid. Now they felt that doom was even more certain.

And the little clockwork engine set off, spinning its tiny wheels breathlessly, like a shadow of the one set in motion by the Official. The hearts in the hall began to race — there were the figures, they knew everything now. The hall stood and burst into applause. At moments like this you only believe the figures, not the person who just a moment before was the Great One, but the Official and the Chairman, who stood facing the hall and returned the ovation. And for a long time nothing could be heard above this expression of unanimity. Although, if you think that everyone was quite unanimous, you are mistaken — there were others too. It wasn't a question of their believing the Great One rather than the figures, they couldn't give a damn for the Great One, the fact was that they had accumulated too much hatred over the years of sitting stuck up there without changing their places, and having the last choice of the women, and wearing the worst colour of cloak — although what really made black ones better than white? God alone knew, nobody could tell you. Probably nothing but the fact that they were worn by the ones with names. And these people, who had waited for too long, suddenly could wait no longer, in the way that a balloon is

silently deformed as you squeeze it, until suddenly — bang! The little train skidded on the rails.

“Glory to the Great One?” The people in the back rows exploded into the air like rockets, they burnt on for a while, the fire delayed for a moment, and then the stars flared out, lower and lower — “Glory!”

And they stood up as they shouted, it seemed as though the entire hall would rise to its feet, but rockets are only rockets after all. The Official bided his time until they burnt out, raised his hand — and they were caught standing in the light, like a thief when the owner of the house turns the light-switch. They froze motionless, and suddenly all their enthusiasm disappeared. And now a group of people moved in unison along the rows, removing by force of persuasion those who were standing motionless, caught in the light. When he saw this the Great One came to his senses, and his resentment passed. At long last he heard everything his mind had been shouting to him. He went limp.

He allowed them to take him away. Before the stone crumbled into sand, before it was too late.

But the Official is in a hurry — the wound where the pus has flowed out has to be cauterized with a red-hot iron. His mind is also working busily, but he has no resentment, he is calculating. The Official has a task to complete, this is no time for emotions. After the Great One has tried a trick like that, calculation alone is not enough, inspiration is required, and it came: no operating table, no corrections by the Face-Makers, those who wish will occupy the free numbers now.

His lips are already forming the words, and each person in the hall is beginning to understand. The places are free, they can be occupied by force, and they’ll set the face right later. And immediately the light blinked out, leaving nothing but a broad beam on the stage, covering it precisely.

So what is happening in the hall?

It's as though no one sees and no one knows. And really, how could anyone make any sense of it? Out there — imagine about five hundred dogs, hungry, fierce and strong, who have been shoved into a cage which is stout and narrow, and where the floor should be there are snakes. From boa constrictors to vipers. So what happens there? Surely it's clear enough? Only one odd thing — there's not a single word spoken. And in the front rows there is silence. They don't appear to hear a thing. Only the unfortunate, wretched couple who aspired to become the Principal Couple have been led out from the front row (what were they guilty of?) by silent people. Everything proceeds in a calm, cultured fashion. The way things are in a cinema when the film is on and the usherettes are showing the latecomers to the free places. In total darkness...

XXII

Now our Hundreds are up there on the stage. He's grinning so widely his face is splitting open round his ears, and female One Hundred's hands are trembling as though she's a vestal virgin who has sinned standing on the edge of the pit into which she's about to be thrown. Above their heads the likeness coefficients are simply too good to be believed. Meanwhile, in the hall they are busy occupying the free seats and they've forgotten all about the existence of the Original. But who could know more than the Great One himself? On the other hand, perhaps not all of them have forgotten, but they can't be bothered with all that right now, they mustn't miss the chance to change their number. Well done, the Official, that was a fine move he thought up. His fingers are still nimble — if we can compare a brain

with the fingers and the hall with an instrument — and they played a great tune... So far the puffing and the groans are muffled in the darkness as though it was a pillow, they're like summer lightning in the distance, glimmering like northern lights beyond the horizon. The Muse's heart has shrunk within itself at the victory, as though someone has laid a rose against it. The Face-Maker feels anguish instead of joy — but never mind that, no one ever trusts their first feelings, tomorrow they'll wake up fresh and everything will be different.

And now for the final, concluding act. The Official makes the announcement, then leaves the stage and takes his own seat. Up on the stage only the rostrum is illuminated now, the light has narrowed. Our couple stands there. This is the beginning of the Model Lovemaking of the Principal Couple for this year, the couple who have been given the names of Husband and Wife.

The Wife's knees are about to give way, but the Husband holds himself erect in his triumph, in a success he could never have dreamed of, even though he foresaw the whole thing. And now, to the accompaniment of heavenly music combined with snake-dog conflict it begins, and gradually everything, even the music and the puffing and panting and the groans, fades into silence.

The little train moves along quietly, braking as it pushes against a heap of arms, legs and heads. And protruding from all its windows there are faces, eyes, breasts, arms.

Yes, the Great Moment! The City waits for it for after year, and every time it is granted its moment of pleasure. An important detail. The Choice has been made, but now, in this too the couple must be no less perfect than their faces.

XXIII

I'm sorry, I must take a break here. The train has only braked, it hasn't stopped. Everything's in order. Silent people have already carefully gathered up the remains of arms, legs and heads, like birds gathering crumbs from a table-top, and they seem to have carried them out of the hall. Have I no right to become distracted? Have I no right to take a break, to go out from this mysterious mechanical butchery into the fresh air? Into the rain? Yes, into the rain.

How bad the weather is outside, how it oppresses the heart. From here, from anywhere, the outlines of the houses are distant and uncertain. Behind me is the hall. In front of me, below, is its enlarged other half. Where shall I go, where can I take a break and draw breath — there is nothing to breathe, nothing at all. Breathe the rain? But you're not a fish... choke on the bottom of the river — no don't, pretend... How oppressive it is. What do I care for them? Every day I have to go back there. How I'd like to stroke a cat right now — mrrrrr! Can you feel it curving its furry shape under my hand? Push my lips into its fur. And that's the end of it? Nothing else to follow? Ah, the fur is wet. And I feel sorry for the cat, all of my life I've felt sorry for the cat, so why do it? I was ordered to, I was, seriously. When you're not free, there's no point in tormenting yourself when you have to do something wrong. But you remember it. And even if it didn't, you'd still have killed it. It's only a cat, isn't it, and there's plenty that aren't cats heaped up back in the hall there. But not me. And not you, and that's a comfort. Microbes die in the crater of an active volcano, you can't do anything to help them either. But they live there. Go on back inside. The microbes won't understand your language. Microbes haven't got as far as

words yet, so why are you standing out here in the rain? They'll start without you, and you'll miss all the fun. You won't be able to help anyone — every day you go back to the same place, and every hour too. But maybe I will be able to help? No, not these ones. They've already set out on their journey. All that you can do (they're not traveling, they're hurtling downhill with a fierce scraping and clanking of iron) is to describe their journey, to teach others the lesson not to ride like that and not to get on to that train. And that's all? Isn't it enough? What good can you possibly do by sitting there thinking and being logical when the carriage is already flying down the incline? Don't be stupid. The fur is wet, and your lips are wet. What can you do — never kiss again? Then what's the point of living? Why bother to live then? Is it time now? It is.

XXIV

The light became thicker. Music began to play. The Husband and Wife stood up on the rostrum. Immense bluish-white transparent sheets of glass were lowered down on all four sides around them, and instantly the couple grew to ten times their size, magnified so that everyone in the hall could see them, even from the very highest point of the final row. The two figures standing on the rostrum were equally clear, equally visible.

“Get ready.”

The voice speaking was not indifferent, the Official seemed to have a frog in his throat. The Muse trembled. She put her hand on the Face-Maker's knee. He put his hand on her breast. They held each other even tighter and froze absolutely still.

Light as the birds soaring in the indoor gardens, the Husband and Wife moved apart. She curtsied. He bowed

with solemn restraint, then suddenly strode up to her and tore off her shirt with a single movement of his strong, slim fingers. Her exposed, magnified, white nakedness flared up, striking everyone in the eyes, the heart, the body, as though an electric current had run through all the people sitting in the hall.

Phheee-ee-ew — they all breathed out in the hall. And then froze motionless. Up on stage the couple bowed once again, then a second time, a third, a fourth and finally, separately, towards the place where the Official ought to be. That was the ritual. The Wife walked up to the Husband, went down on her knees and slowly pulled off his shirt. It slid down, rustling gently and gleaming in the light. Then the light blazed bright red and the bodies became even more huge, so that every wrinkle and shadow, every fold of skin could be seen, even the little hair growing just above her right collar-bone. Without getting up from her knees, the Wife fell back into a prone position, motionless, absolutely still, waiting... Immense, like the hall itself. The Husband stood there with his arms hanging down. The Official's voice spoke again, questioning this time:

“Are you ready?”

The Wife nodded.

“Begin.” The Official breathed out the word and as he did so his fingers felt the Wife's skin, they still held the memory of its coarse, slow, sustained note, and the memory emerged as droplets of sweat on the tips of his fingers. The Official wiped his fingers on his handkerchief. Something was taking place within him above and beyond the range of his will and his mind. His Husband and Wife looked really handsome...

“They really are good-looking,” the Face-Maker said to himself

“Well, well,” thought the Muse, “all the times I’ve seen them and I never even imagined they were such a beautiful couple. Why on earth do they avoid each other?”

The illuminators wiped the sweat from their faces. Everything was as it should be. Now at least they had time to draw breath.

“I’ve never seen her look like that, they must have swapped her with someone else,” male One Hundred and Six thought in amazement. In ten years he had studied every last detail of this body. In reality it was older than this. But male One Hundred and Six said nothing. He merely tensed up as he remembered the sensations he had experienced from that skin.

“My God!” Female One Hundred and Fourteen felt as though any moment something would burst inside her. Every evening for more than ten years she had stroked the face of male One Hundred, that hair, those shoulders, she had even loved them, but she had never seen him like this. “Oooh,” she groaned, and immediately slapped her hands over her mouth.

Now it was all beginning, and now it began. One steaming-hot, immense red carcass moved up close to the other. The entire hall could probably have fitted inside those huge bodies. Teeth sank into the skin of a shoulder so that the blood ran. “Ooof!..” the hall gasped.

And now, no longer separating themselves from each other, they turned over, rolled over and over, and their hands began frantically tearing at skin and hair. They growled, snorted and tumbled, huge, like a field swarming with locusts. The pink light was replaced by green, and then by purple — the colour of harmony. The rostrum began swaying from one crest to another like a boat in a storm, and they clung tight to each other. Their embrace and their pain were stronger than ever. The trembling lump of meat

was dashed against the side, their heads struck the deck then they rolled away, tumbling over and over, but there was no power that could separate them now, not even death, they had reached the pinnacle of their lives — the Principal Couple of the City, Husband and Wife, covered in blood, with lumps of flesh torn away, growling, weeping in their hatred of each other, cursing each other, they were happy, and in the midst of this bloody mess, this movement, blood and pain, both of them somehow found time to think about all the others they had seen and the ones they would have liked to have during all those long years spent at work, in the corridors, in the Hall...

“No more... no more... Now!” — it hung in the air, louder even than their growling and screaming. Male One Hundred and Six had lost control, and immediately female One Hundred and Fourteen leapt to her feet, shrieked and sank her fingers into the hair of the people sitting in front of her, and then several others joined the two of them.

They were excited, a single push, a single shout would be enough to bring the entire hall to its feet.

The way the tiny flame of a Bickford fuse vaporizes TNT.

But the Official knew his business very well.

“Lights.”

The lights came on.

“Stop.”

The couple stopped.

They stopped still, covered in blood and sweat, and he merely raised his head slightly — the poor gladiator.

The second time in one evening — it was too much. The first time was already something unheard of in living memory in the City, but this...

Once more he would have to throw the rowdy bawlers under the wheels.

There weren't so many of them this time, certainly, but something had definitely gone astray in the management of the carriages. Would he be forced to run the wheels over the entire hall? No, this time the sobering-up was instantaneous. Everyone retreated back into himself, and only the poor victims of their own lack of restraint were led out of the Hall, glancing around at those who remained and the figures lying on the stage. The sheets of glass were already being raised again, and instead of the huge, red, steaming heap of flesh, all that was left on the stage was a couple of half-strangled worms which were difficult even to see. Was it all because of them?.. Glancing round as they were led away, the arrested regretted making their outburst for such a contemptible reason. Silent people dragged the reduced human puppets off the stage.

The festival was over.

Time to get their cloaks and go home. But there were some who no longer had any cloaks or any homes to go to.

In the same identical rows, but this time without torches, in the darkness and the rain, the tree began pulling its roots out of the hall. Withdrawing roots-first, it crept out of the House. But the previous elegant structure was gone. Not a trace left. And the ones who had managed in the darkness to grab a number that was a bit better were not all that happy, either. Even though a different house awaited them, some had red-soaked rags wrapped round their hands, and some had a bloody pulp where there used to be an eye. So what was there really to be happy about? The tree limped downhill after the streams of rainwater. Only the front rows had really had a good time, if you ignored that worrying moment during the interval. Even though they hadn't been able to sit

through the full show, it hadn't been too bad. They were professionals in such matters — it really hadn't been too bad.

The regular intervals between the people walking along the street were disrupted now, some of them had no hoods pulled up over their heads, some fell down and were helped to their feet. The light in the streets had paled, the street lamps were white, the walls radiated heat. The rain lashed down. The water in the canal was stained that inimitable heavy, dull colour by the greenish streams flowing into it.

But that will soon be over.

And soon it is over. That is what the rain is for, to wash away everything that finds its way into the drains, the blood that sometimes falls on to the stone from injured hands and torn cheeks and the simple tears — naturally belonging to the women. Women are more sensitive to what happens to other people. In a certain sense they are even a more advanced race than their male counterparts, that's why they never really match up, or hardly ever at all. The rain keeps falling and the people trudge along drearily, regularly, quietly. They disappear into the bright apertures where the doors stand almost completely ajar. And gradually they all calm down, which is probably also only fair and just. Night is approaching, and at night peace visits us briefly even in the most troubled times, more troubled than these — but then who has the right to judge which times are the most troubled? And what about insomnia? The happiest of people and the most miserable all suffer from it, and sometimes they sleep soundly — that is true justice, the fact that in the final analysis the world is inexplicable and unexpected. What surprises were possible in this City of ours, after all— and now just look!

XXV

Our Face-Maker is now the Great Face-Maker, in his new house. The Muse is wearing a new house-coat. They have already looked round all the rooms and sat for a while in the garden, he has held her hand like a yellow bird in his own hand, gently and protectively, and she has gazed affectionately into his eyes, unsettled as water still rippling from a cast stone. What happiness it is not to be constantly puzzling over how to move up one more number! There is no place in the City higher than the Great face-Maker.

What about the Official? The Official has a different profession. The Muse understands that it's different. She moves closer to the Face-Maker, and then she begins to feel sick. She writhes, clutching at her belly and barely manages to get to the sink.

The Face-Maker understands how she's feeling — she's remembered the Hundreds. The Muse weeps, the tears flow and she pukes, the stream of yellow liquid lashes down on to the white surface of the sink. In their happiness they had drunk a glass of wine, but it isn't the drink that's to blame. The problem is the interval in the hall and the bright light — her brain has retained that bright flash, it is still filled with revulsion, and in order to make it disappear, her brain has taken the Muse and turned her inside out.

It's easier for the Face-Maker. After all the skins he has stripped, all that blood and fear, those scalpels and patients over the long years, he isn't likely to be affected, but he still understands. He strokes the Muse's hair and comforts her and explains that if they hadn't interrupted the model love-making, she would have arrived here happy.

And even for them everything today would have been better and nicer than usual.

The Muse calms down. Gradually. The face-Maker leads her to the bed and undresses her. The Muse is still breathing heavily, but more calmly now, because her brains have been cleaned out, and she is already thinking about the Principal Couple, feeling sorry for them, and feeling sorry for One Hundred and Six, who was so brave. Could the Face-Maker possibly be as brave as that? Was it possible at all to behave bravely in the City, where bravery was virtually equivalent to Departure... Bravery was probably when the rain gathered together on the ground, and then rose so high that even the House, standing on its high place, was under water, and then the Face-Maker swam down through the water to find the entrance to his own house, swam along the corridor... The Muse's eyelids stick together, the Muse's thoughts slip along the corridor, trying to find a way in, but there is no way in, and the Muse's soul flounders and chokes, beating against the closed door through which she has only just swum out into the corridor, and above the door there is a red sign: "No Exit". But no exit is needed, the Muse turns and pretends to be a fish.

The Face-Maker is too excited to sleep today, everything is still whirling around inside him like a carousel — the figures, the astonished face of the Great Face-Maker, the carcass of female One Hundred spread across the entire hall, sweaty, white, yellow on the outside, his own fear, the calm brown eyes of the Official and the rain, as brown in the canal today as those eyes.

Until the outlines and the original meaning of all of this become blurred, it is pointless for the Face-Maker to go to bed, it all has to disperse and settle and be forgotten in his memory, it has to cease existing today and be transformed

into what was (or perhaps what never was), so that what actually happened can be intertwined with dreams and they can swap places and then there'll be a confusion with which he'll have to come to terms so that it will leave him alone until the morning or until some new days that he hasn't lived yet — let it surface once like a fish in the middle of a mill-pond, and smack the water with its tail and say it's time, and the fish will turn into a Maelstrom which has a certain number of metres and a certain number of centimetres to its black, gaping maw, and the Maelstrom will set him whirling and whirl him round the circle the set number of times. The maw is sucking him in. Stop, stop, it's not that kind of confusion, it's success, victory... Just the beginning? Even so, it's victory, and victory needs to be defended, so he'll have to do a bit more work while the Muse is sleeping — his scalpel will trace its lines on cardboard as thick and heavy as wood, instead of on skin and muscle, before going to bed he will paint in its contours and the Trojan horse will smile at him with its wooden eye, and the sea will draw back to release the serpents without which neither success nor victory can ever exist — and there is no other truth. How many of these pieces of cardboard he has accumulated in his lifetime, but if not for them, how many muscles would have been torn, how many unnecessary fears and pains there would have been. Perhaps that was why the Face-Maker had been able to perform the operation so quickly, why his fingers had not known a single day of rest as they hastened to trace out the serpents, laying out their curves under the wooden hooves, or else without the horse, just on their own. The confusion grows calmer, it hisses and slithers away into yesterday, into a dream. He can follow the same way, but not too soon, only when morning is near, when the rain lashes harder and faster at the stone roof. But that's later, in about three hours, and in the meantime...

XXVI

So many housewarmings in the City, so many happy cripples after today's festival. The most fortunate of the fortunate, the One Hundreds, have already come to their senses. Beat a cat as much as you like, it still comes up good as new. The Husband and Wife are already sitting in their new garden, both of them steaming-pink, tender, happy. He is hastily downing wine as red as blood, not even getting all of it into his mouth, so it flows down over his chin and drips on to his chest (the Husband is lounging backwards), and then on down across his hip, and then into the sand of the garden. People must be jealous of their quiet happiness. What of the Wife? She's even pinker and more tender — women feel everything more strongly — and she's downing her own drink, a red, thick, warm, slightly salty wine that also escapes her lips and flows in narrow streams on to her breasts, then drips down like icicle-water in the spring, filling up her navel until it overflows. Half an hour goes by like that. Then another half-hour. It's good. It's good, and somehow it isn't. She's rested. And it's the usual time, her time. Now all of the time is hers. The Husband and Wife are a professional team. Nowhere to hurry to, no need to get up in the morning. She feels like going somewhere, but maybe just out of habit. She has to give her husband it first. She looks at the door. He intercepts her glance and closes his eyes — the Husband is no formalist. What's the problem, let her go if she wants to. And he'll take a rest as well. They make their rules now. Whatever way they live is moral.

The Wife gets up, opens the door, throws on her housecoat, they're all in the same house now. She presses six doorbells at once, one door opens. Tall, well-built, just the job.

“Wife?”

“Wife,” she holds out her hand and smiles. Of course, everyone knows her now, from the birth-mark on her shoulder to the dimple beside her collarbone.

“Chairman.”

“Pleased to meet you.”

“Of course I know you.” The Chairman’s eyes are mischievous, professional, still not calm after the performance. There really is something about the names. They’re not the same as the numbers. Here everything is more pleasant, respectful, noble. Must be a different kind of people. That’s it, and it doesn’t matter if there’s a bit less pleasure in it, there’s more style, it has that subtlety only the names have. Eh?

An hour later the Husband got lucky too, but not straight away. At one door the man of the house opened up, and he had to apologize. At the second door he found just the thing — the Joint Chairperson of the Commission. Mind-blowing! These women in men’s jobs possess such fire. And steel. And God knows what else, too much to mention it all. And above all, it all happens so seriously and thoughtfully, so furiously, like nothing the Husband has ever seen before. The first time with a Name. Nothing more to be said, it’s all in that one word — name! He’d never dreamed of anything like it in his wildest fantasy, never dreamed of it, invented it or anticipated it. The Husband staggered as he got to his feet. What, after the model lovemaking, again... What a hungry bitch, the Husband shook his head in admiration at her skill — wasn’t it perhaps too much for one man, even if he was the Husband? It was hard to believe that all this time beyond the wall the rain was still falling and somewhere in the night someone else was busy somewhere else with some other business. It seemed to the Husband that tonight the entire City was awake, enjoying life together with him.

XXVII

Alas, not so. The Duty Commission had already been at work for over an hour on the former Great Face-Maker's woman when the Official appeared in the doorway of the office where the woman had said that he sent her to the Great One with the single clear purpose of extracting information, which she had done successfully and then transmitted it to the Official. The Official looked at the swollen, pounded face of the woman and frowned. He didn't like it when the face which he also bore became so ugly. That alone would have been enough to justify Departure, but the Official was, of course, as far as possible humane and just, and only after the woman had erupted in the face of his strange questions about whether she had slept with the Great One and answered him with near-obscenities and a request to let her know what other ways there were to extract information from Great Ones — it was the only state in which everybody spilled out everything, no matter how clever and sophisticated he might be, because the brain was out of control — and that everybody slept with them, even if it wasn't part of their job and she couldn't see any reason why she should be forbidden to do it, that the Official was once again convinced of the cunning and unreliability of women, and he immediately launched into a speech that was probably longer than any he had ever made in his life. The speech made clear to every single member of the Duty Commission, in the first place, that he wasn't interested in what everybody did, there was a law forbidding temporary coupling, only permanent coupling was allowed. Form a permanent couple with someone, and then take your chances if you wanted, only, of course, just don't get caught at it, and in the sec-

ond place, he had set her to find things out, not to sleep with the man. In the third place, and probably most important of all, his speech made it clear that he was astonished at the tone in which she spoke to him. The Commission might perhaps have understood the first transgression to some degree, because the gains from her action were quite clear, but as for the tone in which she now chose to address him — at this point the Official simply spread his arms wide in a gesture expressing amazement and hurt and dismay, and even something like sadness; he couldn't bear rudeness in people, especially when it was intentional and sincere and of course (the Official lowered his head) he remembered the reasons why the woman of the former Great Face-Maker had spoken to him like that. And now of course, after that tone of voice, there was nothing he could do to help her, even though that was the reason he had come, and now he was leaving to think things all over, to come to some kind of conclusion concerning all the people he came into contact with even in the line of work. And he left. The woman of the former Great Face-Maker fell to the floor and twisted and writhed there and set up such a great howling that the investigation was halted and in their unanimous and collective wisdom — oh, how well they understood the Official's noble sadness — they sentenced her to Departure. Two members of the Commission took by the arms and carried her out of the office.

XXVIII

Things were even more simple with the Great One himself — the Great Face-Maker knew better than the Official where his furious ranting and raging had left him. Even the Official, with his swiftness of mind, could

hardly have expected such an outcome to the Choice, and now he was too busy with his work to guess what might come next, he had no time for that. In the very best case, the Official's mind would only have time to work out his own fate, and he probably wouldn't get that right either.

During an earthquake there's no time to worry about the order of the household and finding yourself a clean shirt, you just have to get yourself out through the window, naked as the day you were born, and be thankful if you land on a well-clipped lawn.

But the Great One had not thought only of himself, he had lived beyond his own narrow interests after he had grown to his full stature, and there was nowhere higher left for life to take him.

Unity was more important than his own head.

Your cause is more important than you are.

The life of all is a magnitude which remains unchanged when your particular volume of meat and milk is deducted from it — assuming, that is, that you weren't suffering from the plague.

Had the Great One always understood this? Not always, but certainly since he had begun to live beyond his own narrow interests.

“Well?”

“I got carried away!”

It can happen to anyone — a fighting spirit is like fever in childhood, stronger than your own reason.

And afterwards?

Afterwards the person recovers his senses and recants what he said, and asks for his recantation to be noted down in the minutes, and he himself requests Departure. Provided, of course, he's an intelligent person who regards his cause as higher than his own interests — if it's the Great Face-Maker, for instance. Does the Official under-

stand such exalted arguments? Of course not. But since this Departure suits the Official just fine as a way out of the situation, the Official agrees even though he doesn't understand: it's less bother.

The Official is not the Great One, he can never understand what the former Great Face-Maker is feeling now. At this moment the latter is like a man who has somehow found himself in a house of high rank and accidentally tipped over a vase, then tries to catch it in mid-flight and knocks over a stand of crystal-ware, and finally, as he stands there surrounded by all that scattered porcelain and crystal silence, only carries on breathing at all because he wouldn't like his dead body to cause his host any more bother — like a father who doesn't know his own strength who pushes his own child and then sees him go tumbling down the stairs, like someone you suspect of something, who can't bear the suspicion and sets a belt around his neck, and as you remove it you already know that he wasn't guilty after all.

It was no vase the Great One had smashed — it was the unity and the faith of the City. And what did his recantation mean, now that the words spoken no longer depended on the speaker? And what good were the futile efforts of a man smothering the flames on the chairs, the table and the divan, when the fire was like a flood that had filled the entire house and the roof was on the point of caving in?

The Great One's conscience was writhing like a worm on a hook, and he was repeating the worm's movements. But the Great One was not suffering because of those who had been given Departure for supporting him, or for those who had been torn to pieces in the attempt to seize a higher place: faith had been shattered into a thousand fragments, and each piece was as different from all the others as death is from life. It isn't just that the Great One

is ready to recant, ready for Departure — life is painful to him now, and he feels only one desire, to make an exit from life somehow — the way a wild beast will come rushing out of a burning forest straight into the arms of the hunter. The way a fish leaps out of poisoned water in order to die on the land.

The Official comforts him. The Official loves him. The Official understands him. The Official weeps over him and strokes his head like a mother caressing a son who is distraught over the loss of a favourite toy. It doesn't matter now how everything looks to each of them or what they might say to each other — the toy can't be glued back together, no matter how much they want it to be.

The Great One suggests a public Commission in the same hall, with his own confession. The Official is convinced that the slightest reminder of what has happened will be fatal to the City. The Great One nods — that's right.

The beast comes running out of the burning forest.

The bird comes flying out of the burning forest.

There stands the hunter, gun in hand, and he looses both barrels into the burnt fur and the scorched feathers.

But the Official was kind, he personally walked with the Great Face-Maker to the door of Departure. The Great One embraced him. He sympathized with the Official, for he knew better than anyone else what he would have to go through. If only he hadn't pushed him so hard, better not to have pushed at all, then the forest wouldn't have caught fire, and he could have taken Departure differently.

The Great One would have taken Departure like the autumn forest falling into sleep, dropping its leaves in slow, lazy indifference, like a bird dying on the wing, without folding its wings away, like water dying when it is calmly covered with ice, like grain dying when it becomes bread... like the founder of the human race dying when his time

come, leaving the imperfect wheel of life behind him to turn regularly, creaking monotonously through the centuries, like a wheel that is not imagined but actually made by hand, and yet it carries man safely along a well-worn track.

He would have died the way the ice dies in the spring, he would have died in the wisdom and peace of the Great Face-Maker, almost the only person in the City to live to see a natural Departure.

The Official looked at the Great One, who had already stepped on to stairway. The stairway shuddered and began moving downwards, the doors opened, there was a glimpse of the blue dome, and then the doors closed again, leaving only the steps of the stairway hurrying on downwards and on through the stone.

That was one more worry off his shoulders, now he could be himself for a while. The reason the Official had started the entire blaze was behind him now, there was no Great Face-Maker. The whole business was finished, he ought to be glad.

But just you try feeling glad when you find the shoe that was lost after they've already sawn off your leg. Are you happy now, Official?

XXIX

The Official, poor man, came home, sat at his table, sank his face into his warm, white, slim hands and sat there without moving for an hour, or perhaps even longer, and during that time many thoughts raced through his head like horses galloping across a meadow. And as many decisions as there were riders on the horses faded and disappeared from his memory. Probably it was the first time there'd been so many in all the long years of his

difficult service, a service which seemed unnecessary to some, but was actually not only necessary (the Official laughed at the memory of the naive expression in the Great Face-Maker's eyes), but essential to the safety of all, and only he understood why — the warring boundaries of the human spirit and flesh, to which no proper limits could be set, would not only give rise to dissent within a man, not only would they destroy him, which might at least be lived with and accepted, but they would destroy the City itself. The Official had always reacted calmly to a man's attempts to escape his influence, to do what was forbidden by the law and justice, and he had not even always sent him to the Commission, he had not even always accepted the Commission's decision — one example of that was our own Face-Maker. But when it was a matter of the City! Then the Official forgot the very meaning of the words magnanimity and humanity. Magnanimity had no plural form as far as he was concerned, it could only be applied to a single individual. In this sense (damn the former Great Face-Maker for being so tricky) everything had turned out well: only a few hundred numbers had been actively involved in the revolt. To a certain extent they could be regarded as a single individual, and everything had been fixed — that particular plural individual had already been given Departure. While the City was snoring and sweating and seeing its prophetic dreams, the sinners' poor souls were pursuing each other through the air, like balloons full of height, hurrying through the rain from here to there. And their bodies? In a City where it is always raining, how could that be a problem? Everything is soluble — including the body.

And so, on the one hand, this plural individual had disappeared, but on the other, it was quite obvious that the words and actions of this individual extended beyond the

bounds of Departure: they had not been dissolved, they had not disappeared into the canals, flowing rapidly down from the hill and out of the City, and in order to put a reliable end to the action of these words, he would have to appoint Departure for all who had heard those sacrilegious words. Infection is cauterized with a red-hot iron in order to leave the body healthy, but the problem now was that everyone sitting in the hall had heard, and that meant almost the entire City. While it was undoubtedly possible to destroy the cause which was leading to the destruction of the City, it was not possible to destroy the entire City, because the Official's existence and the law were justified in the very name of its preservation. But the City would have had to be destroyed in the name of its own preservation. Of course, none of those who didn't even have a number had been in the hall, but they had no concept of the City's trades or the basic obligations of its citizens.

And so, either what was would remain — which meant himself, the Official and the City, minus that plural individual, but then the law would be transgressed in the course of its own fulfillment — or the entire City would be exterminated, that is, the law would be fulfilled in the course of its own transgression.

XXX

Ves, it was a vicious circle.

The Official stood on the border of power, power over people. But he himself was subject to a superior force, a force higher than his knowledge and his ability to control himself. A force which easily overpowered his refined intellect, the way fingers crumple a piece of paper, the way an elephant's foot crushes a sleeping python lying in its path, the way buckshot rips a sparrow's tiny body to shreds.

But unlike many who stand on this borderline, he knew of the existence of this force and dealt with it extremely cautiously, and when events occurred on this border territory, he was in no hurry to act, and he didn't act out of conscious deliberation, but out of his feeling for this force. He hadn't made a single mistake for many years now. But today's event required more than guesswork — it required some assistance. A man can drive his car, despite the fact that the body-work is dented and full of holes, and the whole machine rattles and shakes like an old cart: he can keep going when the air hisses out of one of his tyres — slowly, but he can still keep going. But when one of the wheels goes rolling off to the side and circles on the spot before it settles down on to the surface of the road, even though the engine may still be working, there's nothing to be done — he has to stop.

And now the Official stands frozen over a wheel that has come adrift.

The Official needs help. But help is expensive, it is a sign of your powerlessness.

Those above us do not like to perform our work for us. It's better to find someone else capable of doing it for himself.

Help has to be paid for.

But what with? With a name.

That's acceptable.

With Departure.

The Official is not prepared for that.

Even he, who controlled the life of every person living in the City, was terrified at the thought of Departure. The Official was prepared to agree that this was a terrible failing for someone who bore the Name of Official, more than a failing — a weakness, more than a weakness — it was pitiful. But what person living, even the most eminent of names, was not pitiful in some way, at least sometimes? And anyway it was the only thing he could do. God alone

knows what should really have been done, but the Official was only the Official. Like a tangled mass of string that comes free when you pull one end, and you can wind it into a ball, all these tangled and confused thoughts in his head suddenly untangled themselves and formed themselves into a clear and simple decision. After all, when for so many years he had served the supreme power, standing on the border between that power and the City.

Between the law and the person...

Between freedom (or rather, in the Official's view, permissiveness) and the Law.

He had the right to venture this step, one unknown to himself or his predecessors.

Yes, yes, his thoughts sped along, only He-Who-Stands-Over-All knows the truth, in the final analysis, even if the outcome is the worst possible one, the Official still has an option — just himself and the non-numbers, and Departure for all the rest. Although this would break the law, it would not destroy it, because he — the Official — and the Law were one and the same in this City. And now life was simpler and easier, and the thoughts, like rows of awkward figures, were already forming in his head, like birds hurrying on their way south through the sky in autumn, calling to him to follow. And the Official took fright again, for this was doubting his faith, why should he listen if it was enough to know that he existed? And he changed his mind again, and began once again to run through the option of destroying the City... and he submitted totally to the cogency of the idea of preserving himself and sacrificing the City, without breaking the Law. And something happened to him, perhaps intuition, perhaps illumination, but the thoughts were not part of him, and he picked off each bird with a precise shot, and finished each of them off with the butt of his gun, and he even stood and watched for a little

while to make sure they weren't moving any more, and they weren't. Then the body performed what reason had just rejected in such a cruel fashion.

XXXI

Now it must happen. How much fear, how much doubt the Official has gone through. An ordinary inhabitant of the City could scarcely have borne it all, but then the Official — at least this was the way he had finally formulated it for himself, and convinced himself of its truth, and was quite sincere about it — was concerned for the inhabitants of the City, and this had protected his sanity from exploding into space, the way a meteorite explodes and then falls.

But what business is it of ours how a man deceives himself in order to make it easy to do something vile or dishonest which saves him at a particular moment — we know this technique only too well. The answer is simple, we must do it, and we have to feel, in the first place, that this is voluntary, or this is noble, or this is not for our own sake, or we were forced to do it and are not to blame, and in the second place, there is no other way out, and in the third place, we are doing all this in the name of some good greater than the evil accepted and employed by ourselves.

The Official was able to do this better than the others, and he really did have no other way out.

XXXII

Blasphemy was the name for what the Official intended to do. To hear Him-Who-Stands-Over-All, to receive the truth at first hand! Of course, the Official was closest of all to the border of Him-Who-Stands-Over-All,

he even actually stood right on it, but to hear meant to cross it, to set foot for a moment on alien territory, where the law was different and unknown to anyone, where each step and each breath was unknown, where perhaps the body, like a scrap of paper, is instantly consumed by fire and reduced to ashes, where there is nothing to breathe, from where, perhaps, there is no return, and if there is, then will you be the same, what form will you have?

Mysterious alien life — is your name death?

Is your name fear?

Is your name emptiness?

Do you exist?

The Official suddenly began to shiver, as though his body had become a shadow on a wave, and a wind had swooped down on the water, and the shadow was shattered and twisted by the rippling surface, and it shattered into drifting fragments, and the former reflection ceased to be visible, and only certain lines, which did not even resemble a human being, were spread over the water, driven by the wind.

Yes, his body had become a rippling image; in just the same way one can pour out the sand from a glass — only a moment ago there was a precise form, compressed inside the glass into a strict, perfect cylinder — and now there are only a few small yellow heaps mingled with the grass, which has bent beneath the weight of the grains of sand falling on it, but is drawing itself upright, for the wind is blowing the grains from each blade.

The border between body and thought has been passed.

Does fear drive a man to that place?

Curiosity?

Profit?

The Official crossed the border in order to survive. Flesh and bone no longer hindered his thoughts. Thought

was diffused, like the light of camp fires through the rain. Here, beyond the limit of its own power, it could not speak and ask questions, but it could hear what was audible to it, or rather, apprehend it — for it was not in words. Bushes in the darkness, which could be taken either for a man or a bear. Or for fear. Or for salvation, or something that had no name, for it did not exist in knowledge or experience, but he could touch the branches, and feel their rough bark washed by the rain and realize that something living had frozen motionless beneath his hand, that if it would not help, neither did it conceal any threat.

But now thought became looser. The Official attempted to hold on to this bush, but there was nothing to grip it with, and then there appeared a sensation of height, cold and loneliness, which had always been there within him, but was only now known for loneliness.

The height was also divided into territories, beyond the border of loneliness it was warm, steam drifted in the air, white and yellow, it smelt. There was no border in the smell, but there was a customs-post there — without any border. The feeling of hope in salvation was left to lie on the shelves of the customs-post, like confiscated foreign currency and weapons. And yet the movement still continued.

Consciousness, like the soot from a lamp, slowly took wing and drifted away behind his back.

It seemed as though nothing could happen if there was no means of apprehending the surroundings. The body is washed away, feeling is left behind in the customs-post, consciousness is nothing but the smell of burning, one more step and it is the track of a rocket across the black sky, it is gone!

No-thing!

Nothing?

None of those things which merely hinder listening, hinder understanding, hinder seeing.

Clarity was independent of everything, there was nothing left. And now the Official existed in general — he would have ceased to exist if it was as simple as that! Simply because there is no limit to human possibility, to what a man will do to test his limits and see at what height (or what depth) a man ceases to be a man, and who he becomes at this limit, and then beyond this limit. But the Official was all why, this was not a test, and not just idle amusement, and it wasn't done out of excessive strength or pride: need and fear can do what is beyond truth and strength.

Shoot an arrow into the sky, or fire a heavy bullet straight up above your head, and somewhere up high height will come to an end, for an instant the arrow and the bullet will hang in the air, and like an over-ripe bunch of grapes, like a shot bird, it will fall to the earth beside you.

One instant — and the Official was suspended on high, beyond the border of his own self and facing the border of Him-Who-Stands-Over-All.

There it is. Help? Advice? Command?

The whole messy business was for his sake. He had wagered his life for his sake. He had gone beyond his wit's end for his sake.

So today the one-minute coded transmission will contain twenty printed pages. But there is no means of hearing, of apprehending, let alone of comprehending. He seized it with his future memory, like an apple seized with a leap. And then there was emptiness, what he had seized, or been given; and then thought, like a snowball made of sticky snow, gathering sensations and memory, came rolling back. Not like an arrow or a bullet, falling like a stone

through the air, but down an inclined staircase, narrow and dark.

The steps were badly chipped and scattered with shards of broken wine and acid bottles that glistened briefly a dark green mouldy colour, and where his shoulder should be there was a sudden blow, and blood came, and the pain struck at thought, and his ripped shoulder tumbled on over the step, and its edge came up against the sharp blade of a scythe protruding from the wall — and now the pain of the regained body flooded the brain just as sharply; a rusty knife was thrust into the empty space where an eye should be, and the knife twisted, because the speed of the fall was great, and the Official still had no eye, he felt it on his palm, which had squeezed it together with a fragment of glass, and the acid splashed up and burned the eye and the wound; his body was growing heavier, and hurt all over, it was gathering inertia and constantly impaling itself on knives and scythe-blades, glass and rusty iron hooks, smashing against protruding stones, and as it tumbled down it was acquiring form, and the eye transferred itself to its slashed socket, and his spine began to be where it is in living human beings, and the Official even felt himself growing accustomed to this falling — but then the staircase came to an end, and his body somersaulted and jangled like a bag of coins, and lay on the floor. The Official raised his aching head, and the Official saw with his eye that he was sitting at a table and his body had its previous form and nothing about it was changed, and he would never understand the fact that life had left it, and he would even fight, more than once, to survive — but that no longer mattered.

The Official had become merely the executor of a quality which had previously been absent in him, and now, with his memory — which was no longer future, but

past — he recalled that out there, before he began to fall, he had received a message without deciphering it. And he had no present memory, for nobody has such a thing, present memory is a descent through hooks, broken glass and knives, an uncontrolled and defenseless descent.

XXXIII

Ves, the Official had become an executor.
Why this strange turn of events?

It's not so very strange — having betrayed himself and transgressed his own limits, even for the most important of motives, a man will never return to his former condition.

Betrayal is irreversible. Betrayal is one-way motion, and even when it moves backwards, it's still forwards, only under the delusion that it's backwards. For a man moves not only in relation to the earth, where he can walk in any direction with an accuracy of a degree, or even a minute, thinking that his road is the only one. Lucky man, walking in his ignorance, when in actual fact the main road extends throughout space relative to eternity. The earth is a fraud, she has our heads spinning in confusion; we walk along — as we think — in a forwards direction, but in fact going nowhere: what deceit and power of illusion there is in the tiny spinning globe beneath our feet. The road leads forward, up and down, but the blood within runs independent of our road, and our road, independent of the countries of the world, leads round a closed circle to death.

Melt a tin soldier and try to cast the former figure into its old soldier's shape. The same shape, the same word. But if you've overheated it, then the colour's different, and the elasticity, and the whole thing has changed. If we are to be really precise — even the bubbles of air inside. What

can we say about a human being, if this is true of a lifeless tin toy?

The Official, having discovered himself through pain, became an executor — you could say he now had a new biography. And a new fate. But I think that an executor is, after all, more of a participant in the events that concern all people than a ruler, a commander or a rebel, who all bring destruction, for entirely opposite reasons, to everything around them. But then they are also participants in everyone's lives, tragic participants, while even the very best of non-participants are not subjects of life, and consequently not of attention either — they are manure, or mould, or worms who see themselves in the mirror of their own imagination as dark-eyed knights.

And what executive act had the Official to perform in his new function and his old position? If he were to recall to consciousness what he had apprehended out there on high, before the fall?

He had to test our Face-Maker's readiness for work of which the Official knew nothing, but which he was obliged to carry out.

And where are the twenty pages of coded transmission, if there is nothing but this test? Instructions! For an executor instructions are a more serious business than a command or an idea.

For an idea without a command is a fantasy. And a command without instructions is unbounded amateurism, stupidity, senseless freedom, the opportunity to act as you think best, according to your own understanding, but always within the law. But when there are instructions... And with his past memory the Official began to decipher, recall and learn each line of these instructions, which our Face-Maker will bear the full weight of in saving the Official.

XXXIV

And so the City, which might have already ceased to exist, awoke early the following morning: the new beds had been well tried, watered, scattered and crumpled, and life continued along in its customary rut — the way a car that has skidded out on to the grassy kerb on a corner creeps backs into the two ruts on the road, the way a passenger train that is about to smash into a row of oil tankers after the points have clicked over at the very last moment goes hurtling down another track in another direction, and the passengers sitting calmly in their seats will never know how close they came to death, and only the driver's hair will turn gray that night.

And this is still not the final station.

The Muse rose calmly in the morning and began to shake the Face-Maker because it was time for him to be going to work, but he had only fallen asleep when it was almost morning already and he didn't want to return to the worries of this world. He wanted to finish what he was saying in that other place, where he was standing in the hall in front of the inhabitants of the City and speaking — he couldn't say enough about the sense of faithfulness to his chosen path that he had carried in his heart since he was a child, and everyone in the City could experience happiness in any position that he or she might happen to occupy. For happiness lay within us, and the people sitting there before him should not imagine that he was simply repeating what the evening broadcasts said — everything in the world looked the same from the outside: intelligence and cunning, nobility and self-interest, coercion and desire. But that was only from the outside. It wasn't just a matter of different cities where there was or there

wasn't a limit to immortality. It was a matter of what was inside us. All he had to do now was to wake up and he could convey all of this to everyone in the waking world. He tried to force himself to wake up, in order to reduce this mystery to the form of a slogan and change everything in this City, to manage it without any revolt, so that even the Official could understand him and become a different person — there, inside himself. At this point the Muse finally managed to bring him back to this world and he left his solution behind, and tried painfully to recall it, wrinkling up his forehead, that was just like every forehead in this City, and screwing up his eyes that were just like the eyes of the Image in the Hall. It seemed to him to be more important than his own Majesty, more important than the fact that the Muse was staying at home today, because now she was obliged not to do anything. Her very life was her work, for it consisted of service to the Great One, and every glance and gesture would be taken as a word by those around her. Even more important than the fact that today once again he would hold a scalpel in his hand and his eyes would be fixed on the exposed muscles of someone's flaming red face.

XXXV

The Chairman had other things on his mind when he got up in the morning feeling rather ill. The Wife had only gone home when morning had almost arrived. She had her freedom now — she was the Wife! The joint Chairperson had put in the same amount of time too, in fact an hour longer, but she felt nothing except tenderness and a pleasant, entirely wakeful fatigue. As though she had been keeping it inside herself through all those years of stern work, and now her turn had come and everything

had come splashing out, but there was still plenty left over, enough to last all her life. She was ready now to live her life without ever closing her eyes or folding her arms — if only it wasn't for her work. When she let the Husband go home she had cried and kissed him all over — there was a meaning to life. He didn't really want to leave, either — they had found each other — but the Husband didn't have to be told the meaning of obligations. It was funny, yesterday he'd been afraid even to look at her. How many of them she had sentenced to Departure, more of them than he'd had women, but he... And now she was kissing him, down on her knees, weeping. There was some kind of resolution in that.

But the Husband had never been bothered by that kind of nonsense before, and now it meant absolutely nothing: it was her business how she felt about him, why she felt one way and not another, like all the other causes and reasons in the world. The Husband felt that he was tired, and it was time for him to go home, because now for the Husband going home meant going to work.



THE TRIAL

I

The entire city has already crept out into the streets and redistributed itself around its places of work for the day, so that in the evening it can unredistribute itself and creep back home again. In fact it's only an illusion that it becomes any different when it's dressed, business-like and at work, in reality it's still just the same old hands and the same old hips, the same old cheeks and the same old hair, the same old lips and the same old eyes — they may all have been turned inwards for the time being, but they're all still the same. Even now, just try scattering them around their bedrooms again and you'll see soon enough that there's nothing else to them at all: the very same life that existed yesterday — in public it's turned inwards and hidden, at home it's all out on the surface. Unfortunately, it would simply be too much to expect for it all to be permanent and unchanging — there are periods when everything gets jumbled up, when people lose all definition inside themselves and on the surface, and that is how the Face-Maker, instead of sitting in his office, surrounded by helpful, silent, inwardly concealed hips and hands, now finds himself walking along a corridor. He himself has no idea whatever as to why this is happening, why he is being led along like this by the man on his right

and the man on his left, but that is hardly surprising — after all, he wasn't present at the moment of contact between Him-Who-Stands-Over-All and the Official, and he doesn't know that at this very moment the Official is involved in an attempt to save the City's life, or more precisely, to save the Official's life — at least that is the way the Official sees things.

They had come to fetch the Face-Maker in the same way as they came for him once before after an operation the previous year. Only recently he would have hunched his shoulders, tensed up and pulled his body in tight around himself, but now he rose lightly and nimbly to his feet, as though he simply felt like going for a walk. He washed his hands without hurrying. He looked at his own face in the mirror and ran his hands over it. He rinsed out his eyes. He went back to his desk, poured himself a little water from the jug and took a few sips. Then he got up again. The Commission might be serious business, but he was the Great Face-Maker now.

Ah, how lightly, precisely, unhurryingly he places his feet as he walks, for, indeed, who in the City has his body under better control than our Face-Maker? In any case, it's quite impossible for him to walk in any other manner. They say that face-makers never make more than one mistake, and that's why his steps are as precise as a cat's, he walks over the soft carpets as though with every step he is preparing to spring and the only reason he doesn't is that there is no victim. Has he forgotten the corridors of the Commission? No, he hasn't forgotten them, but surely he didn't walk along them like this then? Things are different now, but even so his heart might easily stall within him at any moment, stop beating for a second and then start hammering afresh at the air with its wings. Right here, the Face-Maker remembers, there was a door, and now there's

the beginning of a new corridor leading off to the right. And now to the left. The men walking on his right and on his left move in a respectful manner, also like cats, but of course, like cats of an inferior breed and obviously no longer in their first youth, already just a bit flea-bitten. Finally, there it is in front of them — the door. And above it is the name — Chairman.

The Face-Maker entered the room alone and the occupant sprang to his feet to greet him. That meant everything really was all right. Last year he hadn't got up, he hadn't even bothered to look up, and when he did eventually look up, he kept his eyes narrowed so that his soul couldn't be seen through the crack, and the face that had been such a close likeness of the Image was instantly unfamiliar, even alien. But this one got up to meet him, gave him a seat, then sat down facing him and spread his feet on the floor. His eyes were a bit red — that meant he was tired. It wasn't important to the Face-Maker just why he was tired, but showing such politeness even when he was tired — now that was important. He became even more sure of himself and once again his voice became soft and velvety, not like the rotten, squelchy falsetto that had been prepared to come slithering out. He set aside the voice that had been prepared and released another — his own voice, or perhaps even a bit more impressive.

“What can I do for you?”

The Chairman didn't even have time to answer. The door opened and the Chairman jumped to his feet — it was the Official. The Face-Maker rose to his feet too. The Official nodded to the Chairman without even extending his hand and then, smiling, dashed across to the Face-Maker and embraced him, as though the Face-Maker was the closest friend the Official had. The Face-Maker responded awkwardly and clumsily at first, then he laughed and

squeezed the Official in return, perhaps even tighter than the Official had squeezed him.

“Oho, what hands you have! Sit down.” And then to the Chairman: “Give us something to drink.”

“Water.” The Chairman poured out two glasses and handed them across.

“Thank you. And now you can go.” The Official nodded. “What hands you do have, after all.” The Official eased his shoulders up and down. “You almost overdid it. You should come and join my people, you’d be quite invaluable over there. How do you manage to work with a scalpel with those iron fingers of yours?”

As though he’s talking about one thing and thinking about another, his eyes flash and then go probing to and fro shamelessly inside you, like a thief who has permission for his stealing.

“Are you ready?” At last a question that means something. The Official rapped his knuckles on the low table, set down his glass, ran a hand over his face from top to bottom.

“For what?” the Face-Maker also tapped his fingers on the low table and, ah — what fingers they were, twice as slim, and so beautiful to look at.

The Official gaped at him in such apparently genuine astonishment that the Face-Maker actually believed in his surprise. The Official gathered up his smile like a tablecloth from a table, rolled it up, tucked in the ends and spoke through the tight bundle with his hard eyes narrowed to slits:

“There’s a little job that needs to be done, I’m just not quite sure whether you’re up to it.”

“In what area?”

The Face-Maker readied himself to listen to the Official’s intonation, he didn’t believe a word the Official said, but the intonation was different, he could probably trust

that. Of course, the Official was no novice at such conversations either, he could probably even put the Chairman to shame when it came to driving people into a tight corner. But not the Face-Maker. Perhaps he really wasn't the best face-maker in the City, but the Face-Maker had spent a lifetime preparing himself for more than just work, and after the Commission he'd learned his lesson so well that he remained on guard even in his sleep.

"In yours." — Don't ask any more questions, don't try feeling at my intonation, it has no pulse. — He smiled, lie a wolf yawning. "In yours."

"Are you deceiving me?"

"Half and half."

"Which half?"

"Either of them."

After that the conversation moved on to the Muse and how the Face-Maker was such a lucky man and so on and so forth, and how yesterday the Muse had been the first lady at the evening of the Choice, and how the Official had admired her and probably everything would work out fine and the Official chuckled as he said that he himself would "serve as his messenger boy". Out of all of this idle chatter the Face-Maker registered nothing definite internally. He knew well enough what these good relations were worth, this happy, open, jolly attitude had been tried out on him often enough at the Commission. The Official was a virtuoso performer, of course, but the model was still the same.

But now this is closer to the point:

"Do you know how they got on to you at the Commission that other time?"

The Face-Maker says nothing, listening, concealing his own intonation.

"It was my doing. You accidentally moved my partner from my pre-Official days back down two numbers, and

that was enough for me. So it was me that started things between us. I owe you.” The wolf yawned again.

He’s probably lying, but what’s the difference? If the Official didn’t think the Face-Maker or the Muse were needed any more, he’d condemn them to Departure without so much as batting an eyelid. Just as long as they were still playing his tune, he must be needed. The Official stood up and embraced him again.

“Alright, if we talk all day there’ll be no work done.” He called the Chairman, who came in. The Official kept his arms round the Face-Maker’s shoulders. “If so much as a single hair on his head...” this time without any smile, not even a wolf’s smile, or perhaps this time he’s pretending. The Chairman watches — he wouldn’t want to miss anything, after all, or it would be like in that old joke: “We’re not going to arrange Departure for you, we’ll think of something worse.”

“What could be worse?”

“We’ll keep bringing you back and organizing it all over again, and again and again till the end of your life.”

No, the Official and the Chairman had lived so many years together, now, they’d worked and joked together — naturally with considerable caution exercised on the side of the Chairman. The Official had never once spoken in quite this manner. This was no trick. He smiled.

“Of course, d’you think I don’t understand?” But he doesn’t understand why the Official’s bothered about a single hair on the Face-Maker’s head if the Face-Maker’s carrying a load that would crush an elephant.

“Well then,” the Official says before he leaves, “it’s up to you to decide, don’t just carry on playing the fool, you’ve got to do a bit of work for your Name.”

The Chairman has lost the thread now, and the Face-Maker has nothing to feel particularly happy about either.

Just what kind of little job is this? The Face-Maker has to be prepared for it, too. That hair on his head business was a pretty convincing sign for any one who heard it said.

He tensed himself, sweeping away the cold patch that was creeping down his spine with the power of his will, as though he was melting away snow with fire. He was prepared to bear anything, but so far there was nothing to bear. The conversation had to come first. General information that everyone, including, of course, the Chairman, was well aware of. Even including the fact that the Great One's pupil had traveled uphill faster than a downhill bobsleigh. The Commission — what needed to be said there, the Chairman knew better than the Face-Maker. The questions about the Muse whistled past his ears like bullets — pee-ew, and they were gone.

No matter how hard the Face-Maker concentrated, no matter how hard he tried to control himself, he still clearly gave away something he didn't want to reveal, above and beyond the words that he spoke. But how could he understand what it was, if he himself didn't even know when it happened? A master craftsman knows his trade, and no one could ever doubt the Chairman's mastery.

It was a pity when the Chairman stood up. It was already the end of the beginning, he had no more to ask. The master craftsman hardly even seemed to have begun working, he was just coming to grips with the job. He'd been just about to pin the Face-Maker to the wall like a butterfly and then squeeze himself down to the size of a flea and climb in through the Face-Maker's eye and down deep inside him, down to the bottom, where his soul lay in its shell. He would have found out everything that the Face-Maker himself did not know, he would have seen everything, written everything down: but more than that, simply out of curiosity, for his own amusement, he would

have slit the soul into two halves with one stroke of his sharp little knife and poured the yolk of the soul out on to his palm or on to a microscope slide.

And now they would part, and the Chairman wouldn't be able to pin him to the wall. Instructions are just the same as traffic-lights for a car. Whether you feel like it or not, you brake.

"Come into the other office, please. We'll take a look at what your compassion's like."

The Face-Maker remembered about compassion, and he smiled with one corner of his mouth. Yes indeed, how was his compassion doing nowadays?.. As a person with a name, wasn't he supposed to be devoid of that particular quality — after all the people who had been taken from behind their desks before his very eyes, after all the people who had squirmed and screamed and wept under his knife, and all the other things as well... Work and compassion, life and compassion were incompatible. Otherwise, who would have any right to live?.. As for half-hearted compassion, compassion at the level of mere sympathy — that was a game others could play at... The Face-Maker was really only aware that compassion of that kind actually existed from the terms of the law forbidding compassion. Perhaps when he was still a child, or during his first years at work, or that time at the Commission, he might have been a little bit upset when he was peeling off the skin from the face and the patient was crying from the pain, unable to close his eyelids — those red and juicy eyelids — or when he was listening to the screams of the person who had gone into the office of the Commission ahead of him, and when he had gone in and seen him sitting there with his mouth open and a trickle of blood running down over his chin. But now — now they could put the entire City in that chair in front of him, and he wouldn't shed a single

tear from either eye, he wouldn't even blink, he could be perfectly sure of that, the Face-Maker reassured himself, as he stepped out towards the next office. Take yesterday, for instance, after they turned on the lights and carried out all the hands and heads and hundreds of people were just left sitting there in the chairs, what had he felt? Tenderness for the Muse and joy that the operation had produced such an enthusiastic response from the hall. He was like everybody else. The Face-Maker walked on feeling calm, even happy.

II

The door opened. It was a wide door, extending half-way across the wall. It moved away from him like a kitten moving across a carpet, nimbly and noiselessly, and it closed just as noiselessly. The arm-chair, please. The person who greeted him was wearing dark glasses, and his hands were as slim and flexible as the Face-Maker's own. The Face-Maker always paid particular attention to people's hands, and these looked as though they might also be no less skillful than his own. The Face-Maker somehow felt more sure of himself. As a test of what a man could be sure of, a good pair of hands was no small matter, they helped him to feel calmer when he needed to be calm. The chair they sat the Face-Maker in was soft and comfortable. He felt even calmer. He felt the warm, light pressure of fingers touching the skin of his hands, his neck, his forehead, and he even felt as though he could simply doze off. He hardly even felt the belts as they were fastened round his body.

The hands brought him a piece of paper. On the top was the initial data. Female One Hundred and Five — face and weight normal, corresponding to the number. Everything

corresponded to the number. Condemned to Departure. One Hundred and Five, thought the Face-Maker, that's a familiar number, and then suddenly he remembered: of course, she was that friend of the One Hundreds. It was her the Husband used to go out to visit before he had a name. The Muse had talked about her so much and said how female One Hundred and Five loved male One Hundred, and sometimes she missed him even more than the Muse missed the Face-Maker, and in some ways the Muse would even like to be like her. At one time she had even known her herself, but then she'd fallen outside the range of the numbers it was possible for the Muse to associate with. In fact, at one time in the past she'd been her very closest friend. She'd been brought up with her... — Aaaagh!

What a repulsive scream, even muffled, the Face-Maker thought with a grimace. He turned his head and the door slid open quietly and gently, as gently as tiny snowflakes dropping on to the palm of your hand. The two men who had brought him to the Commission an hour ago were dragging female One Hundred and Five along by the legs. What a repulsive face, beaten to a pulp, a mass of bruises and blood, a face with almost no skin left at all. The head was hanging to one side, but the woman was still screaming. Something inside the Face-Maker squirmed ever so slightly. Quiet, now, he thought. Right — the silhouette of the body is quite normal, with the hips just a bit on the full side. They've already ruined the face, and now she can hardly even be recognized as One Hundred and Five. How rapidly a person's destiny can change, the Face-Maker thought with deliberate force. But then, how can you call it destiny — she's been condemned to Departure. He wondered whether it had been the Commission's idea or the Official's to show him precisely female One Hundred and Five.

They tossed female One Hundred and Five on the floor. They lifted up her head, and the woman began to stir. She groaned. The man standing on the right took hold of a scalpel and slashed open one of her legs from the bottom to the top. She jerked and screamed. Quiet, now, thought the Face-Maker, tensing, I myself open up the neck and the cheeks. Quiet, this is nothing more than a test for compassion. You can stand this — it's nothing, the Commission's at work every day of the week. And what about yesterday? In the hall. Enough to drive you insane. But you just thought about something else. His hand twitched very slightly.

The person conducting the test leaned down towards the Face-Maker:

“Is there anything you would like to say?”

The Face-Maker shook his head and pressed his hand harder against the arm of the chair, and then immediately felt afraid he might have moved too abruptly and if the Tester didn't notice, then the machines and the sensors might.

At this point the man standing on the left picked up a scalpel.

A fine job they do, the Face-Maker forced himself to think, professionals. No doubt about it. Then he noticed that he was having difficulty in forcing himself to think. Am I really not able to remain calm? After all, my testimony has no effect whatever on her destiny. Exactly the same thing would have happened whether I was here or not. And if I don't hold out, there won't be any new work, any Muse, maybe not even any me.

Probably that was what betrayed him, the fact that he thought about the Muse. The thought that she had once known female One Hundred and Five somehow got jumbled up with the thread of thought about the pointlessness

of interfering, and they wove themselves around each other, and what came out was that it could have been the Muse, his own Muse, and not female One Hundred and Five. But once again the Face-Maker took himself in hand, and his hands didn't even tremble. Well done, he thought, and the idea that he could survive it all after all must have been what fatally relaxed his will — he was too quick to assume that the victory was his.

The woman didn't scream, she just clenched her teeth as the man standing on the left raised the scalpel to her right eye and then supported the back of her head on his hand and lifted it up. If the Face-Maker had not already experienced that sense of relief and victory, he would probably have taken this in the same way as all the rest — after all she had already been condemned to Departure. The Face-Maker jerked quite involuntarily, breaking off all the sensors and throwing the chair over on to its side. He groaned in a low voice as though he was suffering from some dull pain, and he clutched at the belt in an attempt to tear it open. Then he felt a hand on his shoulder.

“Stop it.” He looked upwards sharp as a knife, a wolf with all his fur standing up on end in his fury, and he saw the Official standing over him. But now there was nothing in front of him, no table, no woman, nobody at all.

The Face-Maker went down on his knees and burst into tears, his voice a pitiful howl, and he couldn't give a damn for the test, or the Official, or the City, or for anything else in the world. There was only one thought swirling and skidding around in his mind, like a car that has fallen into a swamp — It could have been the Muse. It could have been the Muse. The Official placed his hand on his shoulder again. He squatted down in front of the Face-Maker.

“I'll come when you've finished with your howling.” He unfastened the Face-Maker's belt and went out.

The Face-Maker lay there for a while, then he got up and set the chair upright. He sat in it and closed his eyes. His head ached, but it was empty, there wasn't a single thought in it, except "It could have been the Muse". Then that thought was squeezed aside in his mind as another came creeping in like a cowed, guilty dog: "You didn't pass the test, not even when nothing depended on you." The Face-Maker opened a door and released a bird into the emptiness: Damn you all, you and your tests. Curse every last one of you — he began to laugh. He got up. He lay down on the floor. He laughed and his tears ran down the way they do after the anesthetic, when the feeling's coming back to the face. He stood up, hammered his fists against the wall and gradually became calmer, and now there was probably only a single thought left in his head — I couldn't hold out, but I don't give a damn, at least now I can feel I'm my own man.

"Feeling better?" the Official asked, glancing in at the door. "Or not yet? It'll pass off all right." He went out. And soon the Face-Maker actually did feel as though it had all passed off. The Official appeared again, in a jolly mood this time. "Congratulations — you passed."

"Don't lie to me, d'you think none of it means anything to me any more?"

"Look at the board."

The Face-Maker looked up and he saw the text light up above the door: Assessment — Positive. Normal.

The Official put his arms round the Face-Maker's shoulders.

"You see, that means everything is in order. Now you've got something to celebrate," — the Official held out a glass. "Here, drink to your victory."

The Face-Maker drank without even feeling the taste, and he suddenly felt safe and at ease. The test had obvious-

ly been conducted according to rules he didn't know and his natural reactions, which contradicted the City's normal standards, had been assessed positively. All he had to do, without any faking, without any attempt to show on the outside what was not there on the inside, was just to be himself and believe in himself, and he said to the Official:

"I thought the trial was already over at that point, and you know, I really have no wish to be tested any further."

The Official nodded, he was pleased at the Face-Maker's words. The warm-up really was over and done with.

"And you're a swine," he said to the Official, "vile, despicable scum."

"That's right," said the Official, as though he was terribly pleased at the Face-Maker's words.

"Well," he said, "and what else?"

"What else?" said the Face-Maker. "If you ever end up on my table, I'll do exactly the same to you as those butchers did to female One Hundred and Five."

The Official was simply delighted at this.

"My God," he said through his tears, "if only you knew how your words touch my heart, how very dear you are to me. How beautiful a sincere man is, even in his rudeness, there really is nothing higher than sincerity."

This caught the Face-Maker on the wrong foot. He'd prepared a great many things to say about the Official, about the City and about the general vileness of this lazy, indifferent mechanism of laws and the injustice of Departure. But when he saw such happiness on the Official's face, the words stuck in the Face-Maker's throat, and he lost momentum. He fell silent and retreated into his own thoughts. He recalled his first Commission and the Muse, who could have been in female One Hundred and Five's place. He made no attempt to say anything else to the Official.



By this time the Muse was already waiting for the Face-Maker. The normal working day was coming to an end, and she was walking back and forwards across the room, from one corner to the other. As she waited, she remembered the first touch of the Face-Maker's elbow against her skin, she remembered how she loved to take off his cloak. She reorganized the events of the day, then put them back in the old order. She sat down and folded her legs up underneath her. She watched every minute as she counted it, and if a minute was a cat or a dog, she would surely have forced them to run faster. The Muse had definitely made up her mind to go back to work the next day. She could even do that if she wanted. Today she had realized that she couldn't go on spending the whole day and goodness knows how much longer as well just waiting around like this. When the door opened and she went dashing towards it, she saw it was the Official. She wrapped her housecoat more tightly around her and pressed her hand to her lips, and suddenly she felt something running across her palm — she took her hand away and saw blood, and she dropped her hand again. But why blood, she thought.

“He's alive, and all is well,” said the Official.

The Muse was grateful to him for saying that straight away. She put her hand to her lips again and then took it away again. She had bit her lip. But when had she managed to do it, and when had she begun to worry like that? She never used to do anything of the kind, even when she was waiting for him after the Commission she hadn't been that nervous. She wiped her hand and then pointed to an armchair for the Official.

“Why isn’t he home, why hasn’t he come himself?”

The Official gestured sympathetically with one hand as he sank into the armchair and fed her three reels full of talk about the difficulties of his new work and in general about the importance of the first few days in a new job, especially after the events of the previous day. Yes, yes, the events that she herself had witnessed — and the consequences, which would continue to make themselves felt for another few days. Everybody had to pull together to put everything back into shape, there were three times as many operations to be done as before — there were a lot of changes going on and he, the Official, would not be able to leave his office at all for several days. And of course, the Official immediately agreed that the Muse needed to work, and that an exception could be made so that she could return to her old job, only, for God’s sake, she had to be careful, because any annoyance or disagreement would be taken to mean. He couldn’t even imagine how they might be taken, and after all, it wasn’t possible to explain to everyone why a woman would want to stay on at work after such a vast advancement in her fortunes. The Muse agreed with him, and her mood became pleasant and happy. Tomorrow she would go back to her chair and once more she would submit “The Immortals” to close monitoring (the episode that had been postponed until next week because of the recent events) and she was already wondering how many points the members of the viewing panel who were still alive would award — and the new ones as well, of course.

Everything’s fine, she tells herself. But no matter how hard the Muse tries to dispel her thoughts, like pigeons swirling high into the air they sweep back down to the dovecote, flapping their wings noisily and cooing as they settle themselves down. Why isn’t he there really? And

why has the Official come, and is what he said the truth, and can she trust him, even though she believes absolutely that nobody in the City can be trusted — but then that's the way a woman is made, she wants to believe.

But that's enough of the Muse — the Official is up to his eyes in all sorts of problems without her.

IV

“Are you ready?”

A The Face-Maker had only asked whether it would involve any experiments on other people, and he had relaxed when the pleasant woman had shaken her head and said, of course not. It was just that the warm-up couldn't possibly have been carried out without an additional subject, since... The Face-Maker had grimaced — enough.

“Where will it be, here as well?”

The woman smiled and explained that no, it wouldn't, and she led the Face-Maker into a room which he remembered being in from that other time during the first Commission. The same lamps on the walls — he'd noticed them before, a human hand emerging from the wall, holding a torch. The fingers seemed so slim and vibrant, that at the time he'd taken them for real fingers, he'd thought the hands were genuine hands, and they'd told him that the hands were really genuine, but since at the time he hadn't believed a single answer from anyone, he hadn't believed that either. Remembering his question, he asked the woman whether the hands were real. No, said the woman, it's not living tissue any longer. It was strange that the reply was a matter of indifference to the Face-Maker, he was already living in the knowledge that knowledge of what is true and what is false changes absolutely nothing in life.

Enough, he broke off his own train of thought, it's time to concentrate. It's time. What was the content of the first trial, and how was he to behave — should he be natural again or entirely the opposite? That was the most important thing right now.

“Come this way, please.” The woman pushed open a glass door that was virtually invisible, it was so transparent.

Suddenly there in front of the Face-Maker was a cube which only a moment ago had been invisible to him. He wondered why he hadn't noticed it sooner — after all, the torch and the hand at the junction were slightly distorted where the boundary line of the cube cut through them like a fine thread.

“I'll explain the most important points to you. If you begin to feel unwell, then you should... see over there, on the right of the chair — it seemed there was a chair and a panel of switches inside the cube — press the red key”. The Face-Maker sat down and fastened on the sensors. She showed him how to use the key for halting the Trial... but the problem there is — and the woman raised her finger in a mocking childish gesture.

“What's your number?” the Face-Maker interrupted her.

“Forty-One,” she said with a smile, then smiled again, this time without any words, filling out the pause — did the Face-Maker have any other questions to ask? — and then she continued with her line of thought. “The point is that we have to wait for as long as possible before we press the key, and you should only press it when you feel that you are losing consciousness. The result of our trial will depend on when you react and how long you can stay in the chair.”

“And that's all?”

“That’s all. You’ll have nobody to deal with but yourself.”

The women went out. She closed the door and sat down on the far side of the cube at the control panel. Then she disappeared from the Face-Maker’s view.

The walls were less transparent now. On one of them an object traveling at incredible speed appeared, moving straight at him, ponderous and inexorable, closer and closer, until he could see it was a train with a headlamp protruding from its forehead. The floor was trembling under the Face-Maker now, and he felt a laughable desire to stop the trial already. He even reached out one hand with a smile. It went rushing past him, almost touching his body, the wind lashed painfully at his arms and his neck and stroked his face, but the Face-Maker didn’t even flinch. He understood the Official had meant it when he said not a hair of his head was to be harmed. What if that was really just another deception? What if he and the Chairman had just been acting out a game, what if... but now the walls had begun to move in on themselves, they had turned black, and although almost nothing seemed to have changed yet, the air had begun to press against the Face-Maker’s body the way it sometimes did when it was raining. The walls moved closer and closer, soon they would close in completely. No, somehow they must have come together without touching him, and he was left in some kind of air bubble — the switches and the “off” key had been squashed flat and thin, like the smoke from a match that’s just gone out. The Face-Maker was calm, but even so he raised one finger before immediately lowering it again. Maybe that was all part of the trial — the fact that it was impossible to put an end to it. He’d had cases like that himself, when a person had lost consciousness on the table, and the Face-Maker had never stopped his work —

there were revivers to deal with that. A few hours later the person would be up on their feet and quite well again — not actually quite as well as before, but that was a mere detail. He had no right not to make the fullest possible use of the operation time, he couldn't possibly waste it by giving the patient a break. There were always thousands of people in the queue, they were waiting for him, and the Face-Maker's every minute was already divided up among the inhabitants of the City. But it wasn't like that here, he was the only one they were working with here, he was the only one who would be able to carry out the work required after he had been through this trial. Or perhaps he wasn't the only one — that would mean yet another deception. The squashed bank of switches fell to the floor, clanged once and lay there. The Face-Maker decided not to bother asking why they'd taken away the switches, in the final analysis that was no tragedy. Still it was a pity that he couldn't see the woman's face, perhaps he could ask, but then he changed his mind again — the walls of the bubble had burst into flames, he could distinctly smell smoke, and the bubble had begun shrinking. The flames were already right up close beside him, and he was enveloped in fierce heat. His body broke into a sweat. "Future causes" — that was what he thought it was called. He laughed. A man being burnt on a fire sweats in order to restore his body temperature to normal, and for just a few seconds he is able to do it. There were no switches under his hand, his fingers clutched at the chair and he gripped it tight, then his fingers opened again. He sat there calm and relaxed. The tongues of flame crept closer to him across the floor, climbed upwards and went out, while new ones sprang to life... Suddenly his brain began to register alarm signals. It wasn't the fire, it was the smell of burning, not the tongues of flame. Somehow, somewhere he sensed where

the main danger lay. He shouldn't have taken everything so lightly, it was all mere camouflage. He shouldn't have paid any attention to it at all. He should have simply prepared himself for the most important thing to come. Some kind of animal had slithered into his throat, it was tickling his throat, scratching at it and preventing him from breathing. The Face-Maker began to feel sick, he stroked at his own throat in an attempt to squeeze the animal out, to force it out into the open, and a stream of liquid came spurting out of him, gleaming a cloudy yellowish-green in the light of the flames. He felt a bit better, and then again he was choking... Wait: asphyxiation begins when there's no oxygen in the air, or when there's no air entering the lungs. Coloured circles whirled and span inside his brain: what was the answer to the riddle? If he could find the cause, he could fight it. Curse the damn flames — there was nothing left for him to breathe. His throat was clear, but there was something wheezing inside him. Suddenly a suspicion flared up and the coloured circles scattered into a thousand fragments and faded away to nothing — they were pumping out the air from under the cube. Calm down. Stop breathing. Not a single movement. There's still some air in the bubble, it's up at the top. You have to get up. Now you can take a careful breath. He felt a feeble stream of air enter his throat. The wheezing inside him stopped. Aha, you were right. Higher. You can get higher by climbing on the chair. But then they'll notice that you're on to their game. Never mind that, when it comes down to it you easily could have done it unconsciously, but then climbing on a chair is already an action of thought. It's even harder to breathe now, but there's no more hysteria. And most significantly, for some reason the thought of the next trial flitted through his mind — there must be no hysteria there either. He felt almost certain

that the trial was not all that difficult, and the whole point was (he could drag it out for as long as necessary) that he could halt the trial at any moment, when he felt he couldn't breathe any more... but there were no controls any more, the key had been flattened. That meant his thought was no longer controlled by it. It was painful to breathe now, but still he would go on standing here for another minute. The Face-Maker began running through the various possibilities. Move to the right and there was a wall. To the left — a wall. Backwards — a wall. Upwards? He reached up a hand and it was burnt. He pulled it back and tried to lower his arm. He couldn't, it was held fast. He tried with his other hand and the same thing happened. Never mind, he could stand there just as well with his arms up. At moments of disaster you have to think and act instantaneously. He tried to sit down and he managed it. But there was nothing to breathe. He tried to stand up. No. Hands up in the air and can't stand up — the red circles began spinning again, everything around him was black now, not a scrap of light anywhere. It was only now that he realized the fire was gone, it must have stopped ages ago. Remember: fear disengages consciousness, and consciousness seeks contact with fear, it's like an anchor or a harbour for a ship in a storm, it's like... Wait, the brain isn't taking any part in solving the other problems, of course, this narrow concentration that can lead to destruction is fear. Now it's the end. Now you have to stand up somehow. It's time. Halt the trial. The non-existent stop key is stuck. No response. The wall's just as dark as ever. As though they've welded him into the chamber, or into a diving suit, then lowered him into the water and cut off his air. His heart stopped. His lungs hung like limp sails seeking wind, and only his brain kept working for another instant. In that instant, he heard himself begin to rattle,

then he struck his head against the rattling sound and went tumbling smoothly all the way down to the bottom, and he hardly really felt anything at all, there was no more than a fleeting shadow of feeling that some force was ripping apart his lungs, his brain, his heart — the pieces were all flying off in different directions and there was a light approaching him at great speed.

Aaaaaaagh, creaked his body.

V

The Muse opened the Principal Couple's door. She was still in a higher position than them, although, of course, the gap was not as great as it had been before — a fact she was reminded of soon enough. The Wife was not home and the Husband was extremely glad the Muse had come. He immediately started babbling about how glad he was to see her, that life had been so boring because she hadn't been to see them for so very long, that the only thing he had were his feelings for her, but he had never dared to touch her, because there was a such a distance between them, but now it had been swept away, and even though her position might still separate her from him, he wasn't just any old One Hundred any more, now he was the Husband, and he kept going down on his knees, leaping back up, trying to embrace her, weeping. The Muse stood there in total and absolute confusion, like someone who was walking across a plain and has suddenly found himself at the bottom of an abyss. She had often seen the Husband when he was calm, crushing birds, telling her the touching story of his tender feelings for female One Hundred and Five on pain of absolute secrecy from the Wife, who was still female One Hundred then, and the Muse couldn't set their old relations aside so quickly and

re-orient herself to this shift. She could never have said that she found the Husband repulsive or even unpleasant, no, she liked him in a general human kind of way — or perhaps that was another little falsehood she had permitted herself in order not to feel any sense of shame for these visits. The Husband, emboldened by the Muse's silence, was already embracing her. He'd already hung himself on her neck, and her knees had begun to give way. Probably that was what roused from her state of amazement — the way a car will spin its wheels for a while when you step on the gas, and then instantaneously accelerate away. She went down on her knees herself and began laughing, and then chuckling and guffawing — she chortled so loudly that the husband leapt to his feet and began straightening out her shirt in his fright. The Muse tumbled back on to the floor and roared and roared with laughter. The Husband took a startled step backwards. The Muse went on laughing. She had just imagined him lying there.

“What an idiot, what an idiot. Why did I ever bother talking to you, if you simply didn't understand a single thing I was saying?” That was how the Wife found them when she returned, the Husband pressing himself back against the wall with wild staring eyes and a face blotched with red, the Muse stretched out on the floor, peeling with laughter. The Wife took it all in immediately. She screwed her forefinger into her forehead.

“As they say in the City, bite off more than you can chew and you'll choke.”

The Husband suddenly rushed at her.

The Muse stopped laughing with equal suddenness and got to her feet. Her eyes were still filled with tears of laughter and revulsion. Without even bothering to look at either of them, she went across to the door.

“Please don’t think that I’m in the least bit offended or that I’ll tell the Face-Maker anything about this.” She didn’t bother to wait for any answer.

Very often we don’t really need a reason to do what we’ve wanted to do for a long time, but don’t, because without a reason it seems awkward. The only answer she heard behind her was the resounding smack of a hard slap to someone’s face. Whose? Judging from the double sound, both his and hers. It was followed by the scream of a cat that has just been stepped on with a hob-nailed boot.

VI

The Face-Maker was lying in water. He opened his eyes and couldn’t immediately understand where he was. It was like an aquarium in which they keep fish. The Face-Maker looked at his hands. Everything looked okay. The fingers? He tried them and they worked just fine. Sitting and watching him from behind the transparent side of the tank that ran right in front of his eyes was the smiling Official.

“First class.” He said, and raised his thumb. “Fifty per cent above the norm. With reserves like that, we’ve doubled all the basic indicators for you.”

“I don’t want any more of this,” said the Face-Maker.

“Of course.” The Official had never expected anything else.

He, the Face-Maker, was right. There was no point in getting himself into this kind of state. It was all voluntary after all — the Face-Maker simply wanted the job he had been waiting for all his life, a job that was impossible unless he’d gone through the trial. But enough was enough. Afterwards, if he felt like it, if he changed his mind or came to a different decision or a different conclusion, then

he could continue with the trial. The Official helped the Face-Maker climb out of the water. He undressed the Face-Maker. He rubbed him dry with a towel, and he did it all himself, on his own. He brought fresh, dry clothing and again carefully, very carefully, he slid the Face-Maker in through the wide sleeves and the wide neck. He sat him in an armchair. He poured water for him, scooping it straight out of the aquarium. He drank half himself, then gave the rest to the Face-Maker. He certainly needed it — his throat was completely dried out, yes, he needed the water, and he thanked the Official. He chuckled to himself, the only clear thought that still remained in his head now was that he'd exceeded the control figures by fifty per cent. It seems a man is still a man, no matter what you might do to him. He had his name — the Great Face-Maker — and the Muse, and the prospect of new work, and... he'd almost croaked (if he really was still alive, that is) and yet for all the monstrous ugliness of the definition, he was delighted, genuinely delighted at the idea that his personal figures were actually fifty per cent above the norm.

In much the same way a man who has lost his wife and son in an air crash might be delighted in his hysteria that at the last minute he decided not to send his cat off with them.

In much the same way a man burying the woman he loved might be delighted that the coffin is so fine and dignified, scarlet and elegant.

In much the same way a man who has lost his arm might be delighted that he still has his cufflinks.

In much the same way a man who has been walled up by an avalanche in a cave where nobody knows about him and he can never expect to be rescued might be delighted that he is still alive, until he remembers that to die from hunger is far worse than to be crushed to death.

Maybe the rocks will fall away, maybe they'll dig you out, maybe they'll remember about you, but until they do dig you out the main thing is that your loved ones mustn't know the position you're in, or else they'll suffer because they don't know what they can do to help, and that will simply be unnecessary suffering, and you have to explain to them that things are not that bad yet, this is still only the beginning of your life without bread and water and you're ready to survive as long as life can maintain its hold on your body, you're not afraid of hunger, but time is still stronger than you are, you know that too, and the only thing you can try to impress on the one who loves you is that everything is all right and nothing has happened and life is carrying on as it should.

The Face-Maker lies on the bed and smiles, he tells the Muse about how well things are going at work — the new laboratory, the office, the new duties and the remarkable people. And how he couldn't come home any earlier today and yes, of course, he'd sent the Official, the Official ran errands for him now. Why was he breathing so heavily? Because he'd been in a hurry to get back to her. Why were his hands so weak? That was tiredness too. The Face-Maker tries to protect his Muse. He's a noble individual. The Muse is noble too, she takes good care of the Face-Maker. Not a word about the unpleasant part of the visit to the Principal Couple, but of course, by all means she mentions that she's been there. Everything's fine with them. They're still just as nice, but something in them has changed, especially in the Husband, and she doesn't think she's likely to go and visit them in the near future and later on there won't be any time. The Muse is intending to work, because waiting is so very hard, and she's fed up of visiting people, and she's very concerned that the Face-Maker gets so tired. The words tumble over each other,

they gather together into flocks and arrange themselves in straight lines, like an arrow-head of birds that has launched into the sky. The Face-Maker is overcome by drowsiness. He really is tired.

And now they're washing the dirty laundry together in a thawed patch on the frozen river. The dirty water runs down and the ice-cold linen cuts at their hands, and the Face-Maker needs his hands, but he feels sorry for the Muse and he squeezes out the cold heavy sheets, his fingers turning red in the wind as the water runs back into the thawed patch, and all around them the sun is shining on the blinding white snow. They are surrounded by the black marble headstones of graves, that is by houses, and below them in the drain a long, thin ribbon of yellow is winding through the current, and sometimes its tiny curls cling to the side of the channel for a brief moment — female One Hundred and Five is on her way out to the outskirts of the City, mingled with the rain, and then on further still — perhaps she'll even end up in this little stream where the Muse is washing her laundry. At last they have both fallen asleep. Words... Words... Nothing but words, yet see how it helped. To hell with it all, curse the lot of it, all the pains and troubles of the world, all the horror of this black stone, of this rain, of this laundry-washing. The cold. Female One Hundred and Five's eye. The Husband with his eyes goggling in lust. Their care and their deception in the name of protection. It helped. In their sleep they see dreams, and perhaps they're not actually as terrible as this life, perhaps they're even better than it is, because she needs to have her head lying on his shoulder, and he needs to have her head lying on his shoulder. How he wants her to sleep until morning, and what does he want with any trials anyway, there's nothing else he needs at all. But the choice is already behind him. The Face-Maker has no way out.

When the train's flying along, just try getting out — it'll just plaster you along the wall of the tunnel.

The plane lifts up its head and goes slicing through the sky like a knife through butter — get out if you like, there's the door. But the very idea's enough to set your shoulders twitching.

The choice is behind you, and even the night is only granted to you for a couple of hours out of kindness, but any moment...

They came for the Face-Maker when the night was scarcely half over — that was what the job was like. The Muse agreed that was what the job was like, only now she can't get to sleep again, and she's already beginning to wait for the Face-Maker, and she's happy to remember that this morning she's going back to her "Immortals".

When the Muse has something to do, it somehow makes the waiting easier.

Not a trace is left of the Face-Maker's thoughts of yesterday. He'll go through with it, because if all there is to live for is to keep your place among the Great Ones, what's the point, if you've already made it, and only dead people Carry on living without a purpose.

VII

They get ready. The Official is there beside him. When the Face-Maker came in he was already there. When he could have got any sleep was a mystery. The Face-Maker's in the water. It's really quite pleasant, the water's warm, about twenty-five degrees. It's no problem for the Face-Maker to tell the temperature of the water or the air. It was well worth going back home as well. His thoughts are quite different now, and his sensations are different, morning thoughts and sensations, even though it's still night.

Yesterday's events have already been pushed aside somewhere to the very outskirts of his brain, they're wreathed in mist now, nothing but a silhouette against the dawn, a fleeting half-shadow, and somehow even the terror seems beautiful. And that feeling again — he was right after all to have wanted more than anyone else, one stage was already behind him now, and it was scarcely going to get any harder from now on, he wasn't a machine, after all, they had to take care of him. They were training him for his work, not trying to turn him into a cripple. The water was pleasant. The idea of "pleasant" and the word "trial" once again provide some kind of familiar impulse. The Face-Maker is splashing in the water now, snorting as he swims and shaking his head about, and already on his guard, the way a cat might seem to be just lying there, with his eyes closed, dozing, but all the bird has to do is come within range of a single leap. And when they fasten the sensors to his body, he manages to experience the contact an instant before it happens, so the reaction scale stays at zero.

Meanwhile, the Official carries on talking about the Face-Maker, about how marvelous it is that the control figures have been exceeded, and he honestly doesn't really know what to think about it. In passing, the Official explains that he's there all the time, and this is a trial for him as well, and it's still impossible to say who's suffering the most and what the consequences might be for the Official, because he and the Face-Maker are like communicating vessels, sharing a single destiny, and God forbid that the Face-Maker might not survive it all, there's no way to guess the exact limit... They're trying to guess it by putting ten control groups through the trial in parallel with him, and they've had to replace all the control subjects twice already, but he still doesn't have enough data for what he needs, and in order to protect the Face-Maker, the others are one trial

ahead of him, but very often the controls are no help in explaining how the Face-Maker behaves or what he's capable of. And that little deception the Official permitted himself with the red key wasn't actually his own idea, it was an improvisation of the trial manager's, and the Face-Maker would soon see that was really the case, because the trial manager was only material for conducting the experiment, and now the Official would deal with him in the same way as he had dealt with female One Hundred and Five. Even though he understands everything perfectly well, for some reason the Face-Maker begins to feel a certain liking and trust for the Official, for there is not a single word in what he says that arouses any doubt or revulsion in the Face-Maker. We are basically made very simply, no better bait exists for us than nobility, sympathy and magnanimity, and we climb on to the hook ourselves at the very first word of kindness. Once again the Face-Maker attunes himself to the Official's words, and at this moment he realizes that the wall of the aquarium has turned dark, and his head has already been pushed down into the water by a lid that is just as dark, and then he realizes that he is under the water... The very first thing you have to do is to stop breathing, while your head is still working. You have to think about the fact that the Muse is waiting for you, and that you have to come home this evening and tell her something that will cheer her up, such as: I had a very good day today. He even begins imagining how the Muse will press herself against his cloak, and how she'll start to cry, because she understands anyway, only she doesn't want to upset him, even though maybe not everything's all right at work, but then, what does "all right" mean when she can leave any time she likes, she doesn't depend on anybody there, for the Muse leaving doesn't necessarily mean being given Departure.

There's nothing left to breathe. Nothing but a little mouthful of water. Yes, yes, maybe, the reaction was unconscious, a reaction of trust that went beyond reason — it was intuition: he simply had to transfer his body into an unconscious state, almost to die. To stop breathing and hold out was not easy, but he would hold out. He wasn't a man at all, he was nothing but dead tissue that had been put into the water, he was a striped robe that had been thrown into the water, he was a bird that the Official had already crushed in his strong fingers. There was the pink foam already, and there was the film glazing his eyes. No, he had to wait for the Muse. Muse, I have to wait for you, you live in fear now, yesterday you saw the way the scalpel went in. Oh God, now his body was swelling up and he was being drawn upwards, but no, it was ice, a thawed spot on the river with a thin crust, he simply had to hit it harder with his head, that was all — dark, fragile, half-melted spring ice, right, here we go at top speed, with the head. Again and again, like breaking through a wall with your head. It's broken, he's alive, a gulp of air and then no more. Another layer, another one — blue, he can already see the sky, he can already see the tree up there, like in his childhood, another thin layer and then it looks as though he really will be able to breathe. His head hurts, there's something running down his face — his brains — but he needs to hit it just once more. That's the sky up there, get on with it, then, you freak. Okay. It didn't work there, so now try here. Ah-ah, a black shape, so you can't do it here, it's the bottom of a barge, that's happened before. Female One Hundred and Five is waiting for you. Stop. This is really hard now. It's harder for her, of course, but you're a master at sewing up an eye so that it sees your fingers and your body — the barge has gone past. Hit it.

It was just somebody's joke. It wasn't the bottom of a barge at all — just the soft vague mushy form of an in-

verted house. But then why the feeling of the blow? In order to bring you round, so you know you're still alive? What a good thing you spent the night with female One Hundred and Five, she loves you so much. But then why is there a woman lying beside you with the hem of her shirt pulled up, laughing? It's the Muse. Why is the Muse lying there and laughing? Of course, how could you possibly compare with her — she's the Great Face-Maker's partner, and what would you want with Great Women anyway? They're all old, because while their partner's clambering up the ladder, they grow old with him and they have dangling breasts and bellies that hang in folds. One Hundred and Five, my own little smooth one, I wouldn't change you for anyone, do you hear me, I don't need anyone else at all.

The body slowly sinks to the bottom of the aquarium, turns over and remains lying there with its mouth clamped tightly shut and its eyes closed, motionless and lazy, with its legs spread apart and its crushed arms jutting out in different directions.

Is he ready or not? Should we wait, or might we wait too long? The Official pressed up so hard against the glass that his face seemed to have fused with it, and if the Face-Maker had seen that image, looking as though it had been squashed flat by a caterpillar track, he would certainly have been filled with compassion for the Official, the same compassion that the Official attempts to win from everyone, even the people he processes personally before Departure. He sincerely wants people to understand his pain and just how difficult it is for him to be the instrument of God. Unfortunately, in the present case, unjust though it may be, the Face-Maker is unable to satisfy this permanent craving, for there is no Face-Maker, there is just a striped robe swaying at the bottom of the aquarium, rip-

pling its long blue sleeves with the white stripes like a fish rippling its fins, without the slightest relation to the Face-Maker.

VIII

The night continued but the Muse couldn't sleep. She got up and there were strange thoughts in her head, not like any she'd ever had before. Yesterday evening with the Face-Maker they'd set out the previous day on the chess board and recalculated all the moves as they played them through once again, not rushing things, but taking everything one move at a time. And the difference had been demonstrated quite clearly between thinking slowly together and thinking alone instantaneously.

But sometimes (and perhaps not so very rarely for the Face-Maker) the instantaneous decisions were absolutely accurate, the only possible ones. The Muse didn't need to be told that was how things sometimes were, because she herself was like the Face-Maker in this way. But afterwards, later — and there was a certain satisfaction and unhurried inspiration even in this — a new decision could emerge, and sometimes three moves were all equal, as though uniqueness had tripled itself without becoming any less convincing or real.

It was probably really a great happiness — living every day as hope. Just a little bit higher, now. And all those times when a day replayed over again, the way they did it every week, had helped the Face-Maker and the Muse to behave more kindly, more generously and magnanimously, and at the same time more intelligently. And even in the most specific of actions there was scope for inspiration, and then it became the only possible one, because some detail or other made it more

unusual than the most intelligent decision reached in advance.

But now the Face-Maker had withdrawn into himself, probably because there was no Face-Maker any more, there was only the Great Face-Maker, and beyond that for her, the uninitiated, there was only the Day of Departure, and that was by no means the best thing to look forward to, push it away, as far away as possible. There was no need any more to resolve every day in a new and different way, everything had already happened anyway, what else could happen? Now there was nothing left but ordinary weekdays, which were all cold and empty, and the only concern remaining was not to lose what they already had.

The Muse must be nothing but a stupid woman after all, just a dumb bitch. She can't even begin to imagine that everything's just beginning. She regrets all the good times that are past and she shakes her head as she thinks about all those gray weekdays, and every now and then she gives a little shriek or a groan, but why, God help her, she doesn't know herself. Just now when she went over to the shower she was very nearly sick. What's going on? She always used to love the warm rain rolling down over her body. It's like being out on the street, only you've got nothing on, and the rain is just as strong and it kneads at your body and the steam rises from your skin, as though it's earth thawing in the spring, and your entire body becomes light and fluid, and you can raise your hands, throw back your head and close your eyes and stroke the falling streams with your skin. But today as soon as she even went close she almost puked.

Okay, if there's no way, there's no way. The Muse sat back down on the bed and pulled on her housecoat, her hands stretched out on her knees, tired and feeble. She tried to get up. She felt she was about to faint. She stood

up. It all seemed to have passed off now. No, you have to go to work. It's time. Too much idleness and waiting and you won't even be the Muse any more. It's time.

She should at least splash her face with water. The nausea rose in her throat again. Okay, damn the water anyway. She got dressed. She went out early, in order to leave behind the alarm that was growing inside her here, in the house.

Probably when you've overeaten — too many rooms, too much quiet, too much waiting — you just have to open the door and get out. And then think about home again when you're at work and long to be there, but you can't go. And then the longing for quiet will return, and you can love it once again. And everything will pass off, she decided, all by itself.

The Muse went out into the street, and the rain embraced her in its usual manner, tensed her body and drove her along, pressing her down towards the earth.

IX

Lord God, how infinite is the space you have placed between “too much” and “too little”. Like meat — too little fire and it's raw, too much and the meat's tough, you have charcoal instead of reddish flesh... Or like coffee — if it's boiled, if the foam has risen beyond a unique, mysterious point, then it's spoiled, and if the foam hasn't reached that point, the taste is wrong too. But no matter how infinite (or tiny) this space may be, there is still a way to squeeze into it, like settling yourself into an armchair, and then to stretch out your legs and take a breather.

And that is what the Official does. Eyes turned inwards, eyelids lowered, hands on belly, legs — long ones — stretched straight out, feet collapsed outwards. From time

to time, like the pointers on weighing-scales, they perform circular motions, as though somewhere inside himself the Official is placing something on the pans of the scales and his feet are showing whether the weight is excessive or trivial. A coarse mechanism, the human weighing-scales, without any divisions or precision. But what does that matter, when you're taking a breather that's quite good enough. The dressing-gown is striped white and blue, and through our half-closed eyelids we observe it keenly. In general it's the stuff of fairly ordinary life, the usual week-day. What person condemned to Departure has not endured harsher trials, only to come to an end, to break off abruptly on one of them? Not everybody survives even the Face-Maker's operations. But on the other hand, it must be said that the Face-Maker is being treated gently, because this is not just a trial, it's training as well.

Today, to put it in more precise terms, was a "happy trial". It contained the meaningful element of "what for", it wasn't simply meant to keep on bending someone until they finally broke, so it wasn't important to wonder whether he would survive or he wouldn't, because in every person there is a point beyond which he will break, like a rubber ball under a steam hammer, like a bird in the palm of the Husband, like a copper pipe in a vice, the rubber insulation between two wires — squeeze, press, stretch, and even the most flexible...

Aha, it seems the dressing-gown has begun to stir. Raised its head. No, it's gone still again. Still too early.

In his many years of work the Official has observed so many of these people condemned to Departure, that he has become able to tell in advance at almost exactly which stage in which trial a person will come to his end point.

The Official stood up and approached the glass. He actually felt sorry for the man lying there. A humiliating kind

of word, that: sorry. Or perhaps it wasn't humiliating, if he assumed that it was himself lying there on the bottom and quietly flapping his blue-striped sleeves to and fro?

The Face-Maker just lay there, not even existing, not knowing that as from today the time allowed for the Trial had been halved. There was unrest in the City. They had to move faster. It was an order.

X

The Face-Maker didn't feel them lift him up, lay him out on the table, put the mask on his face and pump the water out of him — the pleasant, warm water at about twenty-five degrees, the temperature that he could tell simply with a touch of his fingers — then put an instrument on his chest that made his heart move and cover the Face-Maker with a sheet, so that when he came round he wouldn't get a fright and take the top of the table for the bottom of the aquarium.

And about four hours later, exactly at the time when the Muse went to work, the Face-Maker began to come round.

"My gills hurt", was the Face-Maker's first complaint.

What came after that made even less sense: when the familiar eyes of the Official appeared leaning over him, he stirred his fins and wanted to get up, but they wouldn't let him. The Official wasn't really there. It was a woman he'd never met before.

"I'm your doctor," she said. "In fact, I'm actually the Joint Chairperson of the Commission."

"Joint Chairperson," the Face-Maker took the name in with unexpected understanding. That means their own people are dealing with me. It means so far nothing's changed.

Then he complained about his gills again, and demanded that they move the instrument cupboard in his office from the right side to the left. Because the flames had to be on the right, and although the cupboard was transparent, it prevented the flames from roasting the patient's face properly. And the patient (the operation was in full swing), was not just anybody, it was the Official.

He asked for something to drink. He took a sip and was immediately sick. His organism simply rejected the water. You can't give a dog a piece of poisoned meat twice.

The Face-Maker couldn't remember what had happened to him the previous night. The last event retained by his memory was leaving his former office. Then how was the Official tied up in all this?

His memory began reeling back to an obvious absurdity — the combination of the Face-Maker's office and an operation on the Official. The Official's happy-looking face emerged out of the fog.

"You're a woman," said the Face-Maker, "the Joint Chairperson — I know you."

"Of course," said the Official, "definitely a woman, most definitely. An excellent idea," said the Official, "a woman. A broad, to put it in simple terms." And the Official winked at him and looked around him in fright. "And every broad," — it was clear that the Official was telling the Face-Maker a terrible secret — "is the Official."

At this point the Face-Maker finally realized that it really was the Official standing in front of him, and from that moment his memory slipped back into place, the way a dislocated joint slips back into place in the skilled hands of a doctor.

"I'm ready," the Face-Maker said immediately, and he tried to get up. He tried to help himself by pulling on the edge of the blanket that was covering him, and the blanket

shifted, but the Face-Maker was left lying there. The lower edge of the blanket stopped exactly at his knees.

“Of course you’re ready,” The Official-Broad had never for a moment doubted his unusual capabilities. She picked up the Face-Maker herself and stood him on the floor. And then she said: “Walk!”

The Face-Maker began to fall. Then suddenly his body remembered the feeling when the Face-Maker was standing in front of his own desk after the Commission, and his knees had suddenly begun to give way, and then the Face-Maker had laughed and told himself: “Don’t be stupid, you’re perfectly alright!” He repeated the phrase, and just like that time, it helped. Because the Face-Maker took a step, clutching the blanket, and moved in the direction of the armchair, so that everyone would simply understand that he wanted to sit down for a while. The way it is in boxing after a powerful blow: so that your opponent won’t know that you’re feeling groggy, you carry on throwing seemingly perfectly correct and logical blows, and you even move about, although your head has gone soaring off somewhere like an artillery shell and is spinning round and round over there with the rest of the world. And then, still spinning like a billiard ball, it comes back to its pocket, that is, to your shoulders. Your opponent is astonished when you thrash the air in a place where he no longer is, and it must be said that this astonishment or sympathy for you may often not go unpunished. You’ve already managed to gather your wits, your head is sitting there firmly in the netting of its pocket. And you...

The Joint Chairperson is humane. The Official even more so.

“He needs a rest. He needs sleep.”

An injection. The Face-Maker falls asleep right there in the armchair. And he doesn’t hear the Joint Chairperson

telling the Official about her night with the Husband and both of them hooting with laughter. It doesn't bother the Face-Maker in the slightest.

XI

What, tell me, could possibly bother the Face-Maker, the finest greyhound in the City, as he rushes around a long, long, circular road, as fine a track as any you could possibly imagine — uphill or across a ditch, downhill or across a vertical wall, and his stride is easy, his body stretches out, and every paw finds a foothold in the air, and they move the body along like oars in the water pushing along a boat. A single jump. A hop. Run on. A leap. A jump. And it doesn't matter if there is a shot to the right or to the left, and somebody's shadow has twisted in the air. Up ahead, to the side, beyond the bend there is a popping sound, a squeal, a brief struggle, then rain and more rain. His body stretches out on the air, seeming at least twice as big as the Face-Maker himself, it seems about to expand even further, and his paws shoot out ahead of him like arrows from a bow, they fly on, his belly scrapes against the air and grows hot from his speed. Speed, there is nothing in his head except speed, because he knows the condition of success is more speed, faster than speed itself, use the road to define your possibilities and ah! How well he pierced the air, how well he has leapt that ditch without even noticing it. Ahead of him around the circle almost all the days have begun to spin and fuse into a single leap, a single flight, and the only thought in his head is — faster, faster and you'll win the race, just one more circuit. Only one thought, and somewhere up ahead maybe not even one, maybe he's forgotten, maybe a barrier will appear (or maybe it won't), just like that, out of no-

where, right across the road, and then — stamp on the brakes, stop dead as if you're suddenly rooted to the ground, until they lift you out, because... but what is this "because", what is this knowledge, this caution, when the Face-Maker can feel it — just one more effort and there it is! It really is — more speed, more, more, teeth bared, saliva flying through the rain, the goal — there it is across the road, howl! howl! and sound the horn — and that's it already, bigger and faster than he imagined it, smoothly now, even higher and more thrusting and more ineluctable — onwards to victory! And he flew on through something white, light, rising gently into his face all at once from around a bend, without even feeling the leap, or anything at all: could that really have been the barrier? Everything inside him lit up brightly in joy, it was that easy and he hadn't been expecting it, and now there was nothing left around him, everything was light, and everything was flight, only the light was somewhere there behind him now, and everything was still there ahead of him; with his paws jutting out and his triangular face with the teeth bared in a spiral along the throat on the outside of the crushed, broken animal, like a raw, fresh hide pulled inside out, his body flopped down on to the grass in the rain. And then skidded on by force of inertia, without stopping.

"It's time." The Official is shaking the Face-Maker by the shoulder.

"Stop it." The Face-Maker answers by rubbing his face with his hands.

And instantly the dream evaporates from his memory. Has something really been happening all this time, has it happened or not? Why is his body shattered? His hands? His fingers? As nimble and flexible as usual. That means everything's in order. That means really not a single hair on his head... That means part of the trial is already be-

hind him, and perhaps the greater part... But could it really be the greater part? And immediately a new steel ring clicks into place in the chain of the conversation. Find out from the Official — what comes next?

“Will you go home now or shall we carry on?” What freedom, the Official has even leant down over the Face-Maker, as much as to say, whatever you wish.

“No, whatever you want to do,” the Face-Maker said, baring his teeth in a grin.

“It’s really quite an easy trial, perhaps even the easiest of all,” was what the Face-Maker heard the Official say.

Well, of course he would be strong enough for an easy one. He wiped his face with a hand that he had dipped into the water and his eyes began to see more clearly. His hands touched the skin, and they began dancing such a lively dance, that if you were to put a scalpel in them.

“Well then?” The Official winked. “Shall we get down to work? Soon there’ll be real work to be done.”

There will, thought the Face-Maker. What are all your doubts by comparison with that... Yes, the Face-Maker is in no fit condition, of course, to carry on listening to every intonation in the Official’s speech, to listen and compare and study it like the detailed map of the circulation of the blood in the body which he knows off by heart and which probably, even during the test for compassion, even at the most terrible moment, he could have imagined quite clearly; he even remembered that when the scalpel entered the leg he had seen in his mind’s eye which muscles had been damaged and which had been destroyed. In just the same way he had heard every word and every phrase not just as certain signs possessing an external meaning, but as material for a reply to many questions, as signs of what was invisible to the eye. But now he was deaf, now all he could access was that external level of the sign, its pri-

mary meaning. Now all he heard was that there would be work to do, and that was the end of it.

What condition the Official was in, the degree of falsehood or inaccuracy in his information, the Official's attitude to him at this particular moment and his attitude to him in general, all of which only yesterday the Face-Maker would have extracted instantly from the words he heard — it was all inaccessible to him now. But then what attitude could the Official have to him? His personal attitude was one thing, and his working attitude was another. Oho, thought the Face-Maker, I may be falling a long way short in analysis and knowledge, but I still seem to be thinking in the same old way.

“An easy one? All right,” said the Face-Maker, “I think we can manage just one more easy one for today, and then take a breather.”

XII

The Joint Chairperson sits the Face-Maker in an immense copper chair and fastens on the sensors. We've seen this before — it's the usual beginning, but then, of course, it's not entirely usual. The tall, white room is usual, but this is the first time for the copper chair with the high back and, just look, there are curtains that close right in front of the Face-Maker's nose, like in the theatre. Again he finds himself alone. Bright light. Confess, now, you were really scared when that wheezing began, and what if it had been glass again, you hate being inside glass now. But you shouldn't be thinking about such nonsense. No doubt repetitions are possible, but only on a different level. Anyway, never mind, let's try getting a bit more comfortable in this chair.

Aha, so now the Official and the Joint Chairperson have gone, we're all on our own. But then how do I know?

Just because I can't see them, it doesn't mean they're not here. Think! Think! Reason. Aha, so here's a model... If I'm not here, then everything that surrounds me will not be here inside me, and if it's not here inside me, that means... To judge from my thinking technique, the effects of the shock clearly haven't passed off yet, but then, on the other hand, I can already think about the impossibility of the complete perception and analysis of the information provided by the Official. How's my brain coping now? Better... It feels like it's beginning to move, like a car starting from a standstill, like a stone falling into an abyss, like a dog from under a wheel. My hands? Wiggle those fingers, each one of them fastened tight to the armrest with a ring of copper so wide that you can still wiggle them. Still, it's not that easy.

The Face-Maker felt his fingers come away from the copper with some difficulty. It wasn't because of fatigue or cramp. Inside himself he could feel his fingers quite as well as during his very finest operations. Could everything that he had been through really in some sense help him and even prepare him to some degree to tolerate excessively heavy workloads? Perhaps there really was some wisdom in the sequence of the trials, perhaps the Official himself really was dependent on the outcome of the trial? Stop. The dog dug all four paws hard into the sand and came to a total standstill. Small blue sparks had begun passing between his fingers and the copper. No sooner did his fingers come away from the surface of the armrests than they were forced violently away from the inner surface of the rings. An invisible spring unwound from his fingers and struck him in the shoulder. His shoulder swelled up. It hurt. The Face-Maker grimaced — that was the first time he'd been hurt externally. No reaction. It hurt, but even so, it was easier than the trial for compas-

sion. In general, it's quite useful to experience pain yourself, because afterwards, when you're fixing up your patients, you're protected against compassion by your own pain. In this case it could be regarded as payment for pain inflicted, and that's fair as well — for some reason he recalled the fact that the operations, even for those with a Name, were carried out with almost no pain-killers, so that the results would be valued all the more highly, and for half of the second and final part of the operation the face was already fully sensitive to pain. Probably it was really painful; he wondered what degree of pain he would tolerate himself, after a lifetime spent causing pain in the name of the patient's improvement. Generally speaking, almost every one of those who had acquired a name or a high-ranking number, and especially those whose naturally-given face bore little resemblance to the Image, had something in their heads, will-power, for instance, but you also needed to have a body that would tolerate repeated Operations of Likeness, and there were people who had operations almost continuously in order to keep on moving up the social order. Brrrr... What was his pain, the Face-Maker's, compared to that! A rough stone with pointed edges tumbled down the Face-Maker's shoulder into his belly. Aaaaagh — but the scream was somewhere inside, because the stone, or perhaps it was nothing but a ball of glass splinters, began revolving even faster, and the pain moved higher, into his throat, his eyes, his brain. I can't take any more — I want to keep my eyes... And externally — yet another layer of thoughts concerning the scream and the pain and the blood. The blood flows with every word, and the pain is the very simplest thing that they have in this trial. The upper layer is already soaked in blood, now it has flowed down into the lower layer, and everything down there is screaming and there are other

thoughts above them, this is still not all there is, I can have more, I can have more. We've all had a name already, or perhaps we will have one, perhaps the sweat springs out on the palms of our hands when we want to listen to music... but now you can't deceive it any more, you can't weave any more spells with delirium, it's got you now, and the glass has exploded and every fragment is stuck there inside you, but thank God, after an instant it has come flying out. Now it's shaking the walls, the walls get bigger and smaller in turns, like a pendulum, the sheet of paper on the table is as big as a cathedral, and then it's no bigger than a speck of dust, and your heart is swinging to and fro beside it, and the splinters have moved over there, and so has the Mu-u-ussss... I'm not swaying, it's only the glass that's swaying back and forth like that, my eyes aren't swaying. Is he screaming? Ah, I've already screamed, you're wrong if you think that I haven't screamed, I can scream inside myself. And up here, at the beginning of my throat — all right, on my tongue — there's a small featherless fledgling, but it's not a bird. Squeeze it for me, Muse, ask someone, Muse, ask someone else quickly if you can't do it yourself. Let him squeeze it, let him hold it, let him crush my scream, let everything be wet with blood, only stop these walls from moving, I can't stand my foot growing so huge that it steps on itself, I don't want to be crushed by my own foot, ah, my bones are already crunching, stop this bird, this splinter, it's only blood and... But I thought I hadn't held out, I thought I hadn't held out, the walls came together and choked each other, the big ones and the little ones, and the sheet of paper, and the foot turned over on it, and my head cracked under my foot like a nut, where did I get such heavy feet from, very odd, that, when I walked here I moved so lightly.

Very odd, that, I walked here, and now I'm sitting here, and the final splinter's got stuck somewhere close to my

throat, I have to spit it out, that's all, and then I can open my eyes. What else? There's no pain, somehow. And my fingers don't hurt. They're simply shaking. What a pity I haven't got any head. But then a smashed head is less important than my fingers. How lucky I am my fingers didn't end up under my feet and get cracked like nuts, but then they probably wouldn't have cracked like that, they'd have broken more quietly. Go to the Muse after that, and she wouldn't understand that you used to have beautiful slim fingers, so you wouldn't be able to go at all. That's interesting, now, a squashed head pronounces "o" like "I". And "f" from the side, like "I", and all the other sounds, like a car under a heavyweight press, from the side, like "I". And the eyes see everything differently — a house looks like a sheet of paper, and a sheet of paper like... it doesn't see that at all. The blue sparks don't hurt at all — it's actually quite beautiful, it's even good for me in some ways. But then this trial is good for me too, this trial... stop, but you said, thoughts covered in blood. This is a trial in blood, and it's not over yet. They promised you it would be easy, and now you can see it really is. Ah, you idiot, and you were so nervous about it, as if there wouldn't be anything more difficult than this, as though everything would come to an end and there wouldn't be anything at all any more. There will be. And it will never come to an end. The trial is endless and eternal, just like work. Hang on there, a trial for work? Yes! And eternal? His deliberations entered a layer which contained the knowledge that this was still not pain and the thought of blood, as though the bloody rag had rung itself out and turned pink — of course, you fool, first the trial, and then work. And then work. A trial for work.

XIII

“You’re looking well.”

The Face-Maker hadn’t noticed the curtains parting. He hadn’t noticed? The sheet of paper trembles, it’s not moving, but it’s only half at rest.

“Your four hours are up and you look just fine. Of course,” — the Official shook his head and pursed his lips — “I have to tell you that you were right at the lower limit of the norm. The only thing that evens things up a bit for you is the fact that you came out of the trial yourself, which is something even you haven’t managed before. And so, you were saying you’re ready for the next one, there’s only...”

“I want to go home.”

“Home? Now just you listen to me, there’s no question of going home at this stage, we’re all in a hurry and everybody wants to get this over with. I’ll tell you all about it later, as a friend.”

“As a friend,” the Face-Maker smiled heavily, like a corpse, “perhaps, as a friend, you’ll take my place in this chair?”

Then the Official explained to him as though he was a child that even if he did take his place, that wouldn’t change a thing, because it was the Face-Maker who had to do the work, not the Official. With his capabilities and professional experience what he should be doing was getting on with his own job, and if the Face-Maker was interested to know whether he’d ever received a dose of these sweet pleasures, then yes, he had! And it was hard to say whose figures were higher, although, of course, that had been a rather different kind of trial, it had been more psychological in nature, but then, who could say what kind of

pain was the worse, moral or physical, and he, the Official, couldn't understand, that's right, he couldn't understand the Face-Maker's tone or what he was saying. And if tomorrow it turned out that he could help the Face-Maker and take his place in one of these trials, then he, the Official (the Official pulled himself up to his full height and seemed to change into someone the Face-maker didn't recognize) would certainly sit in that chair — and then he laughed: I'm joking, I'm joking. I won't sit in it, except perhaps for the sake of friendship. See what an act I've just put on, I'm just playing the fool. But you note that the Official has stuck close beside the Face-Maker all these days and has no intention of leaving, even though he, the Official, has a lot of things to deal with, even on an ordinary day. He has no intention of leaving and he's going to spend the entire trial here with him, the Face-Maker, and by the way, one of those who were tried to the limit and thanks to whom the Face-Maker can now chat with him, the Official, and ask to go home, without bothering to wonder how many lives his success and his salvation today had cost — one of those people, who no longer exist, was a genuine friend — yes, yes, a friend of his, the Official's, to whom he owed this very face (the Official's finger prodded cautiously at the skin of the cheek slightly below the right eye) and his name. And he, the Official, owed his friend much more in his life than he owed the Face-Maker, and he should have been there to see the last few seconds of his friend's life, and at least lend him a glance of support, if not halt the trial, but!.. He had stayed here with the Face-Maker, and not because the Face-Maker was dearer to him than his friend, but because the truth was dearer to him, and today the truth and the Face-Maker were one and the same. And perhaps he was suffering in his heart just as much as any other man, perhaps in his heart he was still a man too.

The Official lowered his eyes and the corners of his lips and grunted like a piglet, and a single tear crept down across his cheek and fell to the floor. Strange, thought the Face-Maker — it fell on the floor but it didn't burn through it. The blue sparks touched his hand again. He didn't even flinch.

“You're talking me round again.”

“It's just that we have to hurry.” The Official dried his eyes, for at this moment his eyes had swollen up and another drop had fallen, like water dripping into a toilet bowl.

“I want to go home.”

The Joint Chairperson pressed herself very hard against the Face-Maker and unfastened a sensor. The Face-Maker stood up himself, and he felt infinitely light, so light he could probably have flown — he had no body at all. He set down his right foot, the one he had crushed himself with, and flinched at his own thought. His leg was trembling, and so was the other, but it felt light, like a broken arm when the plaster is removed, lighter than the other one.

“Take me home.”

The Official gestured hopelessly. The Joint Chairperson brought cloaks for herself and the Face-Maker.

And then his consciousness was abruptly switched off. When the Face-Maker came round, he saw that he was lying in a strange room and the Joint Chairperson was sitting opposite him in an armchair and watching him. She was wearing nothing but a dressing-gown. He looked at her, then at himself...

“Did we do it together?” the Face-Maker half-asked, half-stated.

She shook her head:

“In the state you're in, people die, they don't sleep with anyone else.”

Then the Face-Maker tried to pull the blanket up over him, and with her help he managed it.

“Of course, if we had, you wouldn’t be pulling up the blanket now.”

“I wouldn’t be pulling up the blanket,” said the Face-Maker, “and you fasten your robe and close your legs.”

“Anyone would think I excite you. At the Commission every one of your female patients has told me that when you lean down and press your chest against her on the table she starts to go wild, and there’s no need for any anesthetic, but you always act as though you were made of wood.”

“D’you think I don’t know all about that? But when a woman’s aroused she forgets about pain and she doesn’t get in the way of my work.”

“I wouldn’t get in your way either.” She dropped her dressing-gown to the floor. It lay there at her feet, and it looked as though she wasn’t standing on the floor, but had risen above it, and she might fly away altogether, and she had to be held.

“In order to make love, I have to feel love.”

“That’s all very fine for you, you have a fine life altogether. Unfortunately, the most I can count on is sleeping with someone just for the sake of it. I’m sorry.” She bent down to the floor, pulled on her dressing-gown and fastened it. “I simply didn’t know that your heart is so pure and virginal: it’s like goat’s shit that’s been lying in the sun for a week, like a knife with the blood of the murdered man wiped away, like a gob of spittle that’s been spread across a face. A thick scum for which everything is going well and which can make love, so it seems, only if it loves, and then exceptionally, and will never permit itself to lower its face to a face lifted up to it. What do you know about us here, who spend the night slaving away after the nightmare of the day, watching souls and bodies twitching

in agony before your eyes, when the foam covers the lips and the arms break and the tears and the blood come out with the eyes and fall on your eyes in the darkness, flow into your mouth and trickle across your belly and your arms, and you twitch together with them, and it goes on not just for a day or an hour or a night, but for all your life, and in the meantime you're rocking your well-adjusted spinal column regularly backwards and forwards — go on living in your repulsive state of holiness. It's a pity we have to take care of you, or I'd be the first to stick a piece of rusty old iron into you, not into female One Hundred and Five, but into you, like a knife into a rubber ball, with my own hand and then twist it there with both hands, so that at least once the blood would come gurgling out of you, and the life with it, and you'd die slowly — the way people die when they've been badly beaten and then dumped somewhere, unable to do anything about it." While she was speaking her eyes opened wide and large and then they began to spin, as though someone was waving a torch in circles right under his nose, and there was a smell of burning wool and scorched flesh.

The Face-Maker trembles violently, his pain returns, the pieces of glass come flying out of his skin and they scratch the hand clutching at his heart, the floor has turned upside down, and the earth has followed it — and now the Face-Maker is falling upwards, clutching at the door-handle, and overcome by fear at the thought that he might not be able to hold on. The Face-Maker pulls the handle towards himself as hard as he can, and his hands rip off...

The blanket has been thrown off on to the floor. She is lying beside him.

"If only you knew how wonderful you are. If only you knew how wonderful you really are," — and the Joint

Chairperson weeps and weeps, and she caresses the Face-Maker with her strong, sensitive fingers.

Now the Face-Maker is flying again, in order to come to his sense in his own bed and not know whether anything happened or it didn't. Because he's dressed and he's lying here, in his own bed. The Muse isn't here yet. She's at work. But how does he know that she's at work? How does he know that She's at work? The question is asked in turn by the Husband and the Wife, standing there in front of him, and the Official and the Joint Chairperson, and the Chairman asks disapprovingly:

"But how do you know that she's still at work?"

"I don't know," the Face-Maker confesses quite sincerely, "I haven't got the slightest idea. I know that..." Stop, stop, stop. What about the trial? They haven't told him anything about the result, have they? He goes back to the office himself. After feeling lost for a while, he manages to find the door he entered the first time. Inside it's quiet, there's nobody there. But then, out from behind the curtain, the white curtain, a woman appears. She knows, of course, why he's come. She asks him to calm down. She'll tell him everything. They warned her that he was bound to come back. The results of the trial were within the normal range, except that it was ended by his deliberate return to consciousness, but he already knows that, because they've already told him. And the Face-Maker is surprised that she knows all of this so well. Perhaps he really has been told everything already, for instance, the fact that the Muse is still at work.

"Didn't they tell you about where I'd been after the laboratory, at home, at my place or somewhere else?.." The Face-Maker watches her face, as though he's thrown a stone into water, to see whether there will be any rings on the surface or not. If he's thrown it into a bog, there won't be any. Not a single ring. Not a single excess sound.

“At home.”

“Thank God for that.”

He believes her, but perhaps that’s because he wants to believe her. Okay. He stood the test, and that’s more important than anything else. It’s not worth spending the rest of his life wondering whether he slept with that woman or not. He stood the test, and that’s the certain truth. But why does he think he stood it? He didn’t really do too brilliantly, if he had, his heart would ache differently. Differently? Wait, what data have you got on what happened? Memory. But why couldn’t it be a dream? So she removed the sensors, and she pressed herself against me harder than usual, or perhaps I imagined it and all the rest is nothing but a dream too. But is the other version possible? It is. The wall sways, It sways again. God preserve us from not knowing something. But what do you need to know for? Simply in order to know what really happened and what is happening.

XIV

Today the Joint Chairperson wouldn’t even see the Husband. The Muse came home a little later than usual. But one event has nothing to do with the other. The Face-Maker also came home, in the company of a female laboratory assistant. He could hardly make it. He went straight to bed and was half-delirious again. He half-slept, and the Muse walked around quietly, looking at him in a way that was new.

Maybe I should give it all up, thinks the Face-Maker. Move back down out of the Great Ones to my old name. But no, not now I’m already on the way. You can’t stop a landslide half-way down the mountain. Or maybe you can stop it, and you can choose a different mountain. Go on

then, choose one. But for me it's not simply a mountain, it's the only mountain. It's the reason I'm alive. And instantly there was no more delirium.

"I don't want anything else." The face is fierce, harsh and sinewy. The Face-Maker has never called out in his sleep before.

"Hush, hush." The Muse stops him. "I'm not arguing with you. You said yourself that whoever suffers is right. You're suffering. That's the main thing, and everything else has to be measured against that. And against the fact that we have seventeen years of life together behind us. The fact that you're suffering is in one pan of the scales, and the seventeen years are in the other. Or the other way round, the fact that you don't suffer is weighed against the seventeen years, and whatever is heavier, more important, more enduring is the truth. And no word means a thing if it is smaller than life and less real than life."

The Face-Maker grows calmer and forgets that a moment ago his face was not the Face-Maker's face, but his brain has already been wound up and it needs movement, and he begins thinking to himself about their seventeen years, now that they've been tossed into his thoughts and they're jutting out there as obvious as a wall right in front of your eyes, as obvious as a vast moat in front of a horse, as obvious as a flame in front of a moth, and the Face-Maker's thoughts halt in front of this wall and start running on the spot, like the wheels of a truck that's stuck in the mud, you take stock of the situation, then take a break, take stock, take a break and then step on the gas again, and the lumps of mud go flying out from under the wheels, and the truck sinks lower and lower, until you can hardly see the ribbed black rings whirling around underneath there, and there are hardly any more lumps of mud, and the truck seems completely motionless, even though in-

side everything's humming and whirring, and there's more energy being spent than on running along at top speed. But it doesn't budge, and there's so much energy being wasted, and the wheels of his thoughts carry on spinning.

XV

My Muse, you were faithful to me when I had nothing, no skill, no experience, no ability, when I was still a student trying to learn what can never be learned. You told me then that you were right and I shouldn't study. But I learned what could not be learned, and you said that you had been wrong. You were faithful to me when I forgot about you, when I stopped thinking that I was living to serve you, that everything I did was only for you, not for others, not in the name of some idea I had invented, not in the name of the salvation of these little people. I killed myself within myself in order to serve you, but it didn't happen straight away. You were faithful to me when I lost my way and forgot that people really do need help, that people really are waiting for the appearance of the one who will save them, and they believe that there is some power on earth that can change everybody's life some time. I hadn't realized that yesterday's experience of error makes them no longer capable of believing even in the truth; they're right, you can kill a lot of people and a lot of things, but you can only believe in resurrection once, and that's already happened, and they don't believe in it any more. What should I do, I wondered. If people don't need you and if you don't believe in what can help them, or you believe that it will only help for a certain time — two thousand years or a century — and then everything will be confusion and chaos again. And then I thought up a funny little idea: I hid the most important

thing away inside myself and, no longer hoping ever to reveal it to the human race, I began to serve you, the Muse. Perhaps when they saw you, the people might understand something, perhaps one happy person means far more than any words about happiness, perhaps one person who has found peace means far more than any words about peace; and I began to think that this was the truth. Be faithful to me, Muse, or else how shall I help people if I can't save humanity through you!

The Face-Maker said all this to the Muse because what was happening to him today was making him feel like a beast facing a row of yawning pits that had just been uncovered in front of him, with sharpened stakes thrust into their bottoms, and a row of traps with their jaws gaping wide and sprung ready to close, and crossbows pointed at his face and wire nooses curled up in the grass like snakes. All of this could be seen, it was all separate from him — and it could all be avoided and overcome. But the trouble was that this was the path that had to be followed, and there was no way the beast could fly over it through the air, all he could do was to shout to those following behind him; “Turn back, go and cut down the trees, but don't follow me”, or he could bar the way of those who were following and fight them, in order to turn them aside from the road, because the gaping pits had not been opened for them yet, and the rainbow-shaped cross-bows had still not been set up for them. The Face-Maker revealed all this to the Muse, because tomorrow he might not be able to say what he had said to himself, or say why he was crying the way people who are bound hand and foot cry over a child which is being worried by a dog, when all that's needed is a good kick to make it creep away, baring the teeth in its mad muzzle. Any day, and therefore any trial, held power over him as well. All these endless weekdays that tugged

at him the way hungry wolves tug at a living bird, and the spine cracks and the feathers fly and at any moment the torn-off head will cover the eyes behind the clenched jaws like a shroud, and the body will give a final couple of flaps with its wings and become still between the teeth. But he's still alive, still alive, and so much is behind him now! Not simply a lot, it's an entire piece of life, the usual — or almost usual — life of an inhabitant of the City. Perhaps he isn't a bird at all, but a worm who has been set on a hook and is not twisting and squirming because of the metal point inside him, but out of his concern for humanity, his understanding of its woes, because humanity itself is squirming on a bent spike, and it can see how it's tormenting its own like — by squirming itself and simply by being humanity itself. His thoughts tried to change direction, like a herd of stampeding sheep at the edge of a precipice, with the ones behind pressing the others on, but ahead there is the void, and the ones at the front, the ones who have nowhere to go, manage to hold out on the edge of the precipice, and they turn and run along the edge at the same speed, at the risk of tumbling in and down at every step.

Of course, he wasn't a bird and he wasn't caught on teeth that were about to close, he was a worm, a smooth, slithering, obsequious, repulsive creature, and if you pulled him apart you'd get your hands covered in shit, if you ripped open this huge white, fat, spongy body from the top of the head to the tip of the tail, although how can you tell where the head is and where the tail is without bending down close to this huge trunk of a body, let it croak there if it can't set itself free. That idiotic babbling about the Muse — that was all from facing that electric chair every day, from having nothing to breathe every day, from seeing scalpels pushed into eyes every

day so that the blood gushed out into a red wall-eye, like a geyser, like oil gushing up out of the ground into your face, into your eyes. Agh, you can't see, and you go back to the electric chair again, because you're obsessed with the idea of creating a new face that will save the world. All lies. Pharisaic jesuitry, and you know it. Take the Muse by the legs and smash her head against the wall, And then smash your own brains out against the same wall, so that they run down the surface, more beautiful than all the marble in the world, for brains are beautiful, they are the worlds of the stars if you look at them through huge lenses. Where are you, saviour, protect this worm, unhook him, put him gently to bed, say that I am losing my way and that I don't understand anything about pain. Pain is noble and things have always been like this and they will never be any different. There will only be this fire, this splendid curved hook and this fish that will swallow the barbed hook, and then a man will rip out the hook and eat the fish, and distribute the left-over and feed humanity, and in their gratitude they will crucify him, exalting him above themselves, and they will be saved by their sin. Worm. Hook. Fish. Man. Crucifixion and then the worm again. That is the entirety of history, and there has never been anything else, do you hear, you worm that looks as much like a Face-Maker as rain is like water, as much as an icicle dripping from the roof is like water. As much as fresh steam is like water. Oh Lord... What is the point of all this passion, if soon it will be morning again and the trial again. And nothing will change in anybody's soul, except perhaps that life will be a little kinder to others, think, think now... you little fool, you need the hook too, as if you were any different from the others.

XVI

And once again the Muse calmed him, for what he was saying was merely fatigue and the need for confession, the need to cry out his pain, to scream it out, the need for liberation, and that is not the only truth in a man, there is also work and its faithfulness, there is tomorrow, when it will be possible to do that for which the Face-maker has carved out his path and followed it, and though he may not have done it yet, and though time may propose the form that exists within him, the Face-Maker, or it may never happen at all, today at least, she, the Muse, is with him, and today she believes that his time on God's earth has not been wasted, and it was not mere chance that brought their lives together. The Muse speaks in such a way that he doesn't have to answer her, and he can close his eyes and listen to her, resting his over-wound brain, and he comes slowly to a halt, like a top in which the movement is becoming exhausted, like sheep that have unexpectedly exhausted their running. And putting his arms round the Muse and turning her back to him, the Face-Maker begins to fall asleep.

XVII

The streets are deserted at this hour, as though the rain has washed away every living soul and every step rings hollowly, like a single blow on a bell. The copper boot-tips clink against the granite, and the granite rings inside itself, but outside the rain rings even louder, faster than the eye can follow it smashes against the stone and goes swirling away into the stream. Ah, the rain of the recent changes has been thicker and denser, it's harder to breathe

now. The Official never used to feel that it was hard simply to walk along the street and breathe, but now he can feel it in himself. How many times in the night, since he became the Official, has he taken his own woman, his own partner, through Trial and Departure so that he wouldn't be dependent on anyone else and wouldn't be weak through her, so that she wouldn't get in his way at night when he thrashed about in his bed (that came with the name — screaming and choking in his sleep and waking at the sound of his own scream) — so that he could wake up calmly and there'd be nobody there, and he wouldn't have to explain anything to anyone, something that he mustn't explain, but which he couldn't refuse to explain either: how many times in the night had he wandered like this along these streets, but it seemed to him that the rain on them used to be quieter then. Or perhaps inwardly the Official used to be calmer and simpler, and he could hear the sound of his steps more clearly in the night, and he used to relax, the only person in the entire City with the right to walk the streets whenever the fancy took him.

Once there was a man who, during the first half of his life, when he was happy, used to come to a room in a house and stay there until the calm and the tenderness in his soul had melted and trickled out and settled on the walls of the room, so that it was comfortable, beautiful and quiet. And then during the second half of his life the man would come back to this same place when things were difficult and he was struggling, and the room would heal him and return what it had borrowed from him, and in returning it, the room saved him. That was how the Official had calmed and comforted himself during these nights — but now the scythe had run across a stone. There was no more peace in the night of the City; the rain and the quiet and the steps were all the same, but there was no peace. After the Choice

everything had shifted places, as though he had disturbed some invisible equilibrium, but where and how he couldn't tell. Maybe he should call on some old friends, wake up one of these who had survived, some female One Hundred and Two, press himself against her and then go to sleep? Then see the wheel start to turn the grindstone, and the sparks fly from the knife, always more and more of them, until the steel is about to come to an end and there's no more point in the stone whirling round, and now his hand's tired — the stone splits in two and the knife flies off to one side. The rain quenches the steel, and it hisses, and is covered in a blue sheen, and then his foot kicks the stone into the water, so that the flood will carry away the fragments... and his soul is barren and dead.

There is no need to go anywhere in order to avoid feeling even a moment's dependence on your weary longing and your former human attraction to living beings. The noise of the rain returned, it began drumming against his cloak as though it was knocking at a door, stronger and louder, more and more of it. And what does the rain care whether the cloak covers the Official, and whether he is the first citizen of the City, or whether every single inhabitant of the City depends on him — it lashes at his back, at his face, flowing as indifferently down his body, as it flows down the walls of the houses and the palace, as indifferently as it flows down the walls of the canals and along their channels and through the City, out there beyond its limits. The water is green and yellow. The Official thrust his hand into the water, and it burnt him. Of course, all that work. The canals were full. The water flowed along almost up to the very edge, on a level with the pavement. And still more work lay ahead.

The Commission was working round the clock. The laboratory assistant dipped his hand in some solution and

the pain eased. The Official himself became calmer as well, in some ways that kind of pain was convenient, it was probably even a better distraction than a woman. The Official stood up and put his arm round the back of female Fifty-Five, the same hand that had held the whetstone for the knife, he remembered and chuckled briefly: there she stood before him, all his, to the very tips of her fingers and toes, by right of duty and friendship — and she didn't know what to do. Sometimes the Official would caress her, and sometimes he would look at her, give a chuckle and strike her a swinging blow — not too hard, so she wouldn't actually fall. She stands there, not knowing what to expect today. But it's alright, he doesn't hit her, he doesn't caress her, his mouth just twists into a grin, like pair of a rusty doors that have crept apart — off you go. And she goes back to the chair at her desk, to doze until the morning — she might have as much as an hour left before the beginning of the Face-Maker's next trial.

XVIII

An hour before the trial the Face-Maker is sleeping and dreaming that he can't wake up, and he's struggling and hammering on the door and beating his head against it, because he has to wake up, and he only forgot for a instant how it's done. But any moment now he'll remember the secret, it was just the resistance of life that made him forget everything. And he has to wake up, he absolutely has to, because he might be late for the Commission, and he won't be in time for his trial, and he'll never find out what comes next. But the Muse has already woken up and jumped to her feet. She watches him threshing and flailing as he tries to wake up, and then she tries to wake him, and she slaps his cheeks and pours wa-

ter on him, and they've already come for him, and the Face-Maker struggles even harder out of his sleep towards the Muse. Now the Muse and the man who has come shake the Face-Maker together. Anything but that, don't let the Face-Maker become ill with sleep, or everything, absolutely everything will have been in vain — herself, and their success, and life — don't let him fall ill like that. The Muse kneels in front of him and weeps, but the Face-Maker is already snoring, he's already squirming like a worm cut in half, as though any moment he'll join himself back together again. Another shudder, then another, stronger this time — wake up from that accursed sleep! But there's nothing he can do. He just keeps on squirming inside and outside. The Muse stopped and wiped the tears from her eyes, and sent out the man who came for the Face-Maker. She lay down beside the Face-Maker and held him tightly in her arms, and first she began squirming together with him on the floor, and then she gained control of him and imperceptibly, invisibly, they grew still. She began kissing him when his body stopped moving, and she began caressing him, as the Face-Maker had often caressed her, she began speaking to him in the same incomprehensible fashion the Face-Maker used to talk to her.

“If you're standing in your own way, throw your body to the dogs, they could use a piece of willing meat.

“And then carry on along your way.

“If the road runs into a blank wall, don't argue with the wall, break your body indifferently against the stone.

“And then carry on along your way.

“If the earth crumbles beneath your feet and the wind scatters your shattered body with the earth, submit to his power.

“And then carry on along your way.

“If you're standing in your own way...”

The Face-Maker heard the familiar words as they squeezed themselves crookedly into his dream and tied their meaning in crooked knots before they settled down in his head like a dog that has found a home, like a cat after its long time away in March.

The Face-Maker woke up, and realized that the door in front of him was not a door, but a wall that only looked like a door, no point in charging it with your shoulder or beating your head against it, just take a step to the right or a step to the left, or turn back — and you're free. And the Face-Maker saw that he was not the only one standing facing this stretch of wall that might be taken for a door, and he shouted: move aside, the way out's close by. And nobody listened to him, because the people were deaf.

"But look, it's a wall!" he shouted for a second time, and he began dragging away the people standing close to him, and then he saw that each of the people standing there was clinging tight to his own door, because they were afraid of the void and of freedom, and the Face-Maker was unable to tear them away, and when he turned and walked away, the Face-Maker could still hear the dull blows of shoulders against the wall. That was exactly how he would have gone on battering against the wall for the rest of his life, if not for the Muse. He took a step to the side.

The Face-Maker was five minutes late for work. But nobody reproached him with such a tiny transgression, which might have cost another person Departure. Only when he arrived, the Official was shuddering with tension. The Official was in a hurry. The Official knew something the others didn't. The Official knew what the deadline was, and it was tomorrow.

THE OPERATION

I

Tomorrow — that means all the time in the world. Tomorrow is a whole day and a whole night, there's a whole lifetime before tomorrow, there's enough time to die before tomorrow. But on the other hand, no matter how much you cram into one day, it still passes, leaving behind it as much done as would fill some people's entire lives. Only don't think that if there's not much time you can skim p on something, or miss something out, you won't be able to explain afterwards that when you were building the house there was no time for the roof. People have to live, and with or without sleep, you put all you have into that house and spend all your energies, all your life if necessary, but give them a house with a roof, and on time, with doors that don't squeak and wake them from their sleep, so that they can sleep soundly. Let the rain keep on pouring down, but at least in your own home there must be a roof to keep you dry.

The Face-Maker and the Official managed things in time, without skimping, they did it all. One used the other to get it done, and the other just did it for himself. Everything living in the Face-Maker has been sponged away, he stands now with clear, calm eyes, his hands precisely controlled and no longer trembling, the light shines above

him, the scalpel in his hands is absolutely still, as though held not by fingers, but in a vice, and the vice is attached to a work-bench, and the bench has rooted itself in the earth and spins round with it.

He-Who-Stands-Over-All lies there before the Face-Maker on the table. The body up to the chest is hidden from sight beneath a white cloth, only the head is visible. What it is really like is hard to say, there is nothing to compare it with — in all his life the Face-Maker has never seen a head or a face like it. It seems to be larger than any human head, and the face cannot be compared with anything at all, it's not even a face, nothing more than the material for a face, inflated and swollen, as though it's not an operation that's needed, but the creation of an entirely new face. If he had seen it before the trial, the Face-Maker would have gone mad at the very thought of it, seized the semblance of a door and clung there so that not even the Muse would have had the strength to pull him from it, but now — put a god in front of him, and he'll raise his scalpel and calmly carve out everything that's required and possible, from A to Z.

However, decisiveness and preparedness are all very well, but the Face-Maker lacks knowledge, and therefore he is careful. An incision from above. Slowly. Not too deep. What on earth was this? He had only made the one line, and only removed two squares of skin, but the material of the face already looked different to him, he had caught a glimpse of something indefinable but familiar. The Face-Maker bent his head down closer, and it all disappeared again. Another incision, there where the eye should be, one square up — it was amazing, a cornea appeared under his scalpel and then disappeared again when he withdrew the blade. Careful. More careful still. Forceps. Incision. The corner's lifted, there it is, a cornea. Very

good, now the next square, a little higher — that's enough. That's already an eyelid. Now a square lower. The Face-Maker is not there, he is entirely focused on the tip of the blade. Amazing — he got the eye at the first try. That's real luck. Gently. A crack opened in the face, and the Face-Maker thought that some words emerged — what were they? He didn't recognize them, but he understood their meaning. A break was needed. The Face-Maker felt as though he had only just begun, and he could go on working without a break, and right now, the very next minute, he could do something really important, the most important thing of all. But in such matters He-Who-Lay-Before-Him remained He-Who-Stands-Over-All even at a moment like this. The Face-Maker moved away and carefully put down his scalpel. He attempted to recall the words he had heard and couldn't remember a single one. And he immediately felt that he was tired, that yesterday was still not over, that he had passed its boundary physically, but his soul, his thoughts, his sensations and feelings were still back there, where today would only come tomorrow, and only tomorrow would he take up his scalpel and approach Him-Who-Stands-Over-All and make his first incision.

Your real life is where you need to be most badly, most importantly, but externally you live where you walk, where you work, where you talk, where you are bound by obligations and the cares of the world. The Face-Maker sits in an armchair with his legs stretched out, his feet set like the hands on a weighing scale, repeatedly coming together and separating. And his face is calm, and his hands are still, and his feelings are there, in yesterday, which is actually today.



It was raining, and the field was infinite and empty as a marble wall, and the line of the horizon could not be seen, so that the Face-Maker didn't immediately realize that he didn't know which way to go, and that he had nothing to cover himself with, and he was hungry. At first he had the sensation that his body felt the rain differently, that his fingers had stopped feeling water and moisture, and his legs could scarcely support his body, it was too heavy for them — the way a man who has set an excessive load on his back walks along on yielding legs, realizing that in a few more metres he will have to set his load down, and there is no one around to help him raise it back on to his shoulders, and this load is his very life. But the greater part of the road was now behind him, he could breathe here, no one bothered him here, and ahead lay work and the Muse. And again the Face-Maker dragged himself along, through the pathless field, forwards.

But everything comes to an end, even strength and desire and limits. Even those who play games, hanging over a precipice, first by two hands, in order to astound their companions with their fearlessness, then by one hand, and then removing the four fingers one by one — even they reach a limit beyond which they don't have the strength to replace their fingers on the rough warmth of the stone, and they go hurtling downwards, aware for just one instant — between the sensation of intrepid security and their fall — of their own majesty and immortality. But the Face-Maker was not playing games, and therefore the one hand still voluntarily holding up his body continued to serve him, when from lying on the sour, newly ploughed

earth in the soaking water and mud, he raised himself to look, not forward this time, but around.

He saw that he was not alone: women, children, old men and men with bodies like children's — their faces identically shriveled, their eyes identically hungry and defenseless — were floundering in the sloppy mess. They recognized the Face-Maker, and they all came crawling over to him. Closest of all came an old woman, and she looked at him with her dead, sightless wall-eyes, and ran her dead, cold fingers over him, raised her blank eyes to the sky and said indifferently. "It's Him." They were all overjoyed, the way someone with a slashed belly might be overjoyed at being shown a healthy, pink-bodied child. Then the surface of the field floundered about once more, an old man appeared beside the Face-Maker and held out to him some bread and meat wrapped in a rag.

"Here, eat," said the old man, "we've been waiting for you, we believed in you, and now you have come to us."

The Face-Maker looked around, and saw the wild eyes of the children watching the bread and meat with tears running down their old, wrinkled faces, and the Face-Maker shook his head, even though he was already sitting on the ground holding the bread and meat, with his head raised to the sky, trying to catch the flowing water to assuage his thirst. Having spent all his life in ceaseless rain, it was only here that he realized what a blessing it is, and he was horrified to think he could have forgotten that rain is water. The Face-Maker shook his head once again and said:

"Your children are hungry, and you yourselves have nothing to eat." He could not take the last scrap of food from people who were dying of hunger.

"...And cold," the old man said to him, and he pulled the oilcloth from his own shoulders and held it out to the

Face-Maker. "We knew that you must appear among us, and we prepared food and clothing for you. Do not look at us, at our eyes and our bodies and our children, you must go on further, to a place to which we know the road and will never be able to reach, but if you take everything that we have, then you will reach it."

"Do not deceive us, you have to go," said the old woman, and she fixed him once again with her blank eyes, and he saw the joy in that face.

"But you'll die here, and I won't be able to help you."

"Yes, yes, we'll die here, and you won't be able to help us, but you'll get there, and we'll get there in you, and that is very important to us. Perhaps even more important than getting there ourselves."

"But I can't," said the Face-Maker.

"If we're bothering you, we'll crawl away, but we want so much to eat what you hold in your hands, even if only through you — we saved it for you."

Never, in any way, was the Face-Maker able to explain to anybody why he did as they asked. But sitting in the rain, watched by the people who surrounded him, he ate and cried, and the rain and the tears mingled on his cheeks and flowed down on to the earth. The Face-Maker could see the children dying as their mothers held them in their arms, he could see the mothers dying before his eyes, and he saw that the old woman with the wall-eyes, who had been so happy at his coming, was a young girl, and the old man who had promised them the Face-Maker would come, the only one who had known the time of his coming and known that it was inevitable, was still a youth.

"But I will not save you," said the Face-Maker to the youth.

"You will not save us," said the youth to the Face-Maker, "but you will see those who will surround you at

your destination with different eyes. You will understand this, and so will they, and you will not have to tell them everything — they will change and they will be happier than us for us.”

As the Face-Maker left, the black field was still floundering in the streaming rain, and several hands were raised in the air to wave him farewell, and one hand was motionless, pointing the direction in which the Face-Maker was walking. What he had seen, and the bread and the meat, gave the Face-Maker new life, and his legs bore him along firmly and quickly, ahead of him instead of empty space he saw the eyes of children watching his hands as they held the bread and meat and watching his mouth moving as it chewed the soaking bread and the tender-pink meat. And something began changing in the man's soul, and his eyes gazed more keenly in response, because he was beginning to see the earth with their eyes, and many eyes see further and see more than the very finest couple.



He saw a green meadow ahead of him, where the rain came to an end. The sun shone there, and he saw the beautiful clothes on the men and women, and he saw the beasts playing with them peacefully, and the Face-Maker began to walk more quickly, because he hadn't gone all that far, and he could ask these people to help their brothers who were still out there in the rain in the ploughed field. The Face-Maker was almost running, if a man can run uphill over sharp stones or up a sheer cliff-face. They grew closer all the time, and the Face-Maker had already prepared the words which would gather the people together, and then, having collected a lot of bread

and warm clothing, they would go to those who had sent him, and their waiting and their faith and his coming would not have been in vain.

The Face-Maker drew closer and became convinced that his eyes had scarcely deceived him at all: the women were young and lovely, the men were nimble and strongly-built, and the beasts were large, powerful thoroughbreds. But there was one thing that the Face-Maker had not seen from a distance: the beasts were not playing with the people, they were eating them, and what had seemed a game from a distance, turned out to be killing. One beast, noticing the new arrival, dashed up to him, licking up its hind legs in a funny manner, and curving its velvety spotted back, and he caught a glimpse of a white dress rushing to head it off.

“Muse!” cried out the Face-Maker.

The woman looked at him, and then the Face-Maker saw that it wasn't the Muse at all, but he saw that she was the one he needed and she was more lovely than the Muse. He realized this was his destiny and he had been making his way here to her, and the people in the black field had died for her sake, in order to save him, the Face-Maker. He rushed towards the woman, but before he could reach her the beast broke her back with a blow of its paw and with professional skill snipped off her head with two movements of its fangs, and tumbled it along in front of itself, kicking up its spotted, velvety, rounded hind quarters in a funny fashion. The body continued writhing on the green grass, and red spots appeared on the white dress, and the Face-Maker ran over to her and put his arms around her, and then the body grew quiet in his embrace, it grew calm and was still. Then the Face-Maker raised a heavy stone over his head and threw himself on the beasts, and when the beasts left their terrible games and, nipping each other

playfully, dashed off into the grove of trees standing on the edge of the field, the Face-Maker realized that these were only the beasts' children — funny, jolly, good-natured and pitiless in their naivety, like all children. And the Face-Maker also realized that there was no one he could summon to the help of those who were left in the black field. For a long time he laboured with his hands, his nails and a sharp stone to dig a deep pit, in order to place in it the bodies that lay in the field and cover them over with earth, together with their heads. The last one the Face-Maker put in was his destiny — he had not been able to match her head to her body. The beasts were probably herbivores, they didn't feed on human flesh, the killing was mere amusement for them. The mound of earth rose up, and the Face-Maker evened it off into a regular square, like the House. He finished his work, then pressed his lips to the earth, took his leave of her, rose and went on. And in his eyes the eyes of the black field were joined by the eyes of the green meadow and the eyes of his only beloved, whom he had seen and loved for only an instant. And the flesh of her body, was now living in his body. But this was only the beginning of the road, and it was paradise in comparison with what he saw further on.

IV

And it was truly like paradise when the Face-Maker finally reached his own city and began to knock at the doors of the houses in which his patients lived, those who owed him their future and their present, and they came out on to the street without fear of the rain or the law against congregating, and they were kind, and they nodded their heads in response to his requests for help for those who were back there in the black field, and

they picked him up, probably to help him, and all together in friendly silence carried him off to the square before the House. Yes, Yes, they agreed with him, they had to go now, straight away. They looked at him tenderly, the women stroked his hair, the men held the wings of their cloaks over him, because the Face-Maker was wearing a pitiful oil-cloth which scarcely covered him against the rain, and while his patients were agreeing that the Face-Maker's wishes were correct, and expressing their admiration at his nobility, some of them had already been into the House and brought out a huge roll of cloth for cloaks. They stretched out the cloth high in the air on four pillars, and immediately there was no more rain above them, it fell to the right and to the left, in front and behind, but where the patients and the Face-Maker were, it was dry, and the Face-Maker thought that this was prudent foresight, and the awning would be useful for the people his patients would carry back from the black field in their strong arms. He was overjoyed that the salvation of those who had sent him was already beginning. He smiled and wiped the water from his hair, pressing his fingers close in to the back of his neck, and the water streamed down his face, and his eyes saw clearly, and then the Face-Maker saw that he was surrounded by the lumber that he had once seen in the basement of the House — fragments of old armchairs, chairs, tables, gilded frames — and they soaked all this with a thick black liquid with an unpleasant smell that stung his nose, and his patients were already standing on each other's shoulders and raising up the Face-Maker higher and higher, and there, high in the air, they bound the Face-Maker as tight as could be to a stone pillar, with ropes damp from the rain. Stone has no fear of fire, neither do wet ropes — for a while. They bound him there so that he would not fall,

so that he might see everything around him for as far as possible, and then, having fulfilled their task of kindness and justice, they left him — for what sense was there in dragging themselves off to save people like themselves, at the risk of their own death. And so that he wouldn't embarrass people, the pile was ignited down below, the fire flapped its wings and hid the Face-Maker and the lumber from sight, and the black soot began to stain the centre of the awning, and it instantly disappeared where the flame struck it, and for these few minutes, in the face of the fire, the rain, which was omnipotent, was lost, it was overwhelmed and obliterated by this elemental force, and the fire spread its wings generously and swept them in ever more wide and powerful arcs, and there was no more soot, and the Face-Maker felt and saw what he had already experienced once on the eve of the Choice, and he recognized it now, and he was glad, because he knew how it would end.

But this was paradise in comparison with what he saw and felt later. If at the Final Judgment he had been offered forgiveness of all his sins simply for recalling what he experienced later, the Face-Maker would have refused, for without being aware of it, he still carried within him a living sense of the truth, and this had become the only measure by which the Face-Maker now judged his own actions and what he saw around him since he had returned from that place. And in this truth his life was a paltry price to pay, and his pain was a joke, and his suffering amusing, and his success insulting, because the eyes of the black field and the green meadow — the great censor — watched him constantly, they scrutinized the Face-Maker's every action, his every attitude to himself and those close to him.

V

The Face-Maker worked calmly and precisely. A new face, with which he could help people, was the truth that dwelt in him now. It was as simple and constant as the rain in the City is constant. It was simply a human being who now lay before the Face-Maker.

And for the first time the Face-Maker thought calmly and with gratitude of the one who had made him undergo the Trial, made him undergo the sufferings of those who lived around him and with him. If it were not for this, the Face-Maker would scarcely have been capable of creating the face of his own suffering, a face to help himself and his own Muse. And other people? He would have forgotten about them, just as he had never thought of them while he was engrossed in his work, his hopes and his misfortunes, and living only in them.

Yes, no matter how lovely the face might have been then, it would have been strange to everyone.

But today this would not happen. In the Face-Maker's hands there lived those hands that had been stretched out to him imploring help, which had clutched at him in the attempt to survive, the hands that now lay still in the black field or the green meadow, because the soul controlling them had quit them and settled in the Face-Maker's hands, and it controlled every movement of the scalpel.

The Face-Maker was now the debtor, the pupil, slave and creator of what he had experienced — not an artist in the name of ambition and change, but in the name of help for the living and those who had yet to appear on this earth.

As he worked the Face-Maker created a Face which he had not seen and no one alive had seen, but it was everybody's face, for its features were those of the time.

The words moved in an unaccustomed and therefore clumsy manner, attempting to be like thoughts. They were like blind people feeling each other with their fingers, so delighted to find familiar faces in the crowd that nothing can persuade them to let go of each other. Although the strangers standing close by might in fact be dearer and closer to them, in their fear of losing what they have already found, they make no attempt to seek out other people like themselves.

By this time his fingers were already performing their familiar work on the third square of the face. It was strange — the more the Face-Maker removed of the old, coarse skin, which had long been untouched, the less familiar became the face that was slowly emerging beneath his fingers. The head was as immense as previously, but as the features appeared they became steadily more intelligent and hideous than the original formless mass. He had a momentary suspicion that even this face that was emerging had been uniquely lovely for someone at some time, and that meant, didn't it, that even beauty was temporary and relative? No, that could not be. Beauty was permanent, and this face had always been hideous to everyone. But either his eyes were growing accustomed to it or his soul was, and when the hour and the moment arrived to remove the skin of the first face, the Face-Maker felt sorry to part with what he had uncovered, because these swollen blue wrinkles, narrow eyes and motionless grandeur contained their own truth, they bewitched the Face-Maker and subdued him, and probably, if he had been doing this in his laboratory, not under any pressure to complete the task rapidly, he would have left this face, because there was an answer in its power and wisdom, which he came to know better the more he worked with it, but it was an answer only for a few, and probably a long time ago, and not for anyone now. There

was no sense in changing the face of any person living in the City for this one, it was uglier and more primitive than a city-dweller's face. And nonetheless the Face-Maker delayed things a little and set his scalpel aside more frequently than he made an incision in the face he had uncovered. Probably he needed to fix his work in his memory before he could part with it, he needed to see in it as much as possible of the meaning and truth which exist in every piece of work and which are sometimes invisible even to the artist himself, because genuine truth, like a pea in the pod and the yoke in an egg, is concealed within — what can there be in common between the chalky shell, dead and lifeless forever, and the life of that yellow colour that hangs down over the edges of the teaspoon and later, flowing across your tongue and mingling with bread and butter, supports life by its own death? So what of the shell? It was time to remove the skin he had opened up, because the truth should lie beneath it. Once again the Face-Maker ceased thinking, and his work began to think for him. But the skin under the scalpel was fragile, compressed and thin, and he had to be careful. When it finally lay in the broad white basin like sausage-skin, no one would ever have recognized it for what it was a few hours before, because a few ragged scraps bear no resemblance at all to wisdom and authority. The Face-Maker gathered himself and saw the result of his work.

VI

“**W**hat great master made this face that has been uncovered?” the Face-Maker asked himself in his astonishment. “After all that has happened, how is it possible to think of beauty and craftsmanship?” And realizing that nonetheless he was thinking of them, he was horrified at the fact that it was possible. It meant that

there was something greater than suffering — beauty. Surely there could not be beauty in what he had seen? His mind recoiled from its own thought, for there was... But is there anything higher? What can overshadow beauty? Perhaps the man who created it? When was that, and what great artist was it? He worked almost without stitches. What material is this? It isn't skin. Yes, it's some unknown material. But how lovely this face was, he could not begin again, he could not tear his eyes away, he cursed himself, as he had cursed the City and its people up there on top of the fire, for being deaf, and for being so busy, for their indifference, and he himself was unable to tear his eyes away from these wrinkles, the entire radiant, white face, the holiness of each feature, line and fold. Only the eyes destroyed this impression of beauty and light... but one could avoid looking into those eyes. They had scarcely changed, anyway. Something came to life in him. And the Muse also came to life, and her hands and her body came to life. Once again he wanted to work as he used to work, performing an operation on the Muse, after all today he had the right to create any face he liked, any face he had seen in his imagination and his suffering, he wanted to express in this face what he had experienced, and what still existed out there, and what is constantly going on today and tomorrow, so that this face could save them all and change everything in the world, so that this face would be a reminder to everyone that they should not struggle to get their numbers changed, that they should not kill each other, that they should not keep beasts except in cages, or let people go near them, unless they armed the people so that they were not defenseless. And what if some day a master-craftsman should remove a layer of skin and reach the face created by the Face-Maker — then let his hands be filled with the power of the desire to

save people. And he realized that this face had revealed to him the desire to save people and to create a new face. But the eyes... the eyes would be the last thing. He would be able to change them, he would do what the masters who worked before him had not been able to do. Yes, yes, the Muse, and the City, and the suffering, and the pain, and everything that lived and died within him, and lived on in him even though it was dead — it was all in order that he might create a face which would save people.

The Face-Maker sat down again, in order to give Him-Who-Lay-Before-Him a rest. Because He was once again deadly tired.

VII

The Muse had work to do as well. She watched “The Immortals” once more and restored all the scenes that had been cut, she added more blood to the body of the young girl, she inserted an episode with a ripped cheek. But no matter what she did, the level of revulsion at another way of life on her meter was zero. It no longer concerned her, in the same way as the horrors of a painted hell are forgotten at the sight of a human being suffering agonizing pain when you are quite unable to do anything to help. She thought only of the Face-Maker, of what he was like when he emerged from That Place, and that she was ready to do anything at all if only he would become the old Face-Maker again, just for a minute, let him fall sick with his dream, and she would nurse him, let him lose his Name, she could work for them both, if only he would come back to her. And every time the Official came to her and reported that everything was going well, the animal terror she could see constantly in his eyes — after all, he couldn’t be afraid of her — made her believe the Official,

or at least, she believed that the Face-Maker was alive and working. If he wasn't still working, the Muse would have faced Departure. She checked the broadcast with the panel of viewers and was unable to understand how such trivia could induce a revulsion level of eleven points. She left the next episode of "The Immortals" exactly as she found it.

VIII

But the Face-Maker didn't feel like working any more. As he rested he looked at the face of Him-Who-Lay-Before-Him, absorbing and memorizing every line, every movement of the master's scalpel. Deep within him a kind of misty white veil was drawn across his memory, and the beast-children became harmless and innocent, and the people became more beautiful, and it seemed to the Face-Maker that they were approaching the City, where he would be able to help them. The smell disappeared and was replaced by silence and clear, misty air which no longer held any fear or pain. A man can survive any experience. Give him the opportunity to go back to life and experience the miracle of work, and he will rise from the dead. Nothing is ever lost, a man can rise again from the cross, after the death of every living thing, because he is able to forget, because he is able to desire, because he is able to live in what will make him happy and — believe me — it is never too late for this to happen; even in death one may feel within oneself the strength to forget, not to remember — but not through the oblivion of hatred, only through the oblivion of love, and the desire to save everything that remains after you. The Face-Maker rose to his feet.

What wonderful hands nature had given him, what a wonderful time he had behind him, when each day there

had been work, with the Muse beside him, each day new sheets of paper which his fingers decorated with the patterns of forests, and mountains, and seas, and gods, and trees which shed their golden leaves in the autumn: and then once more the first square, up on the summit of the forehead, where the grey, soft hairs, light almost as air, come to an end, thinly scattered silver running away and back, the first square was in there amongst them. Millimetre by millimetre the line of the former face disappeared, the eyes softened and became kinder, the oval of the lips was drawn out and flattened and transformed into a narrow thread, the face changed, and the eyes changed — but the face became harsher, more predatory, and a smile emerged on the lips, and the cruelty was hidden in this smile, but could not entirely disappear from view, it was almost exposed. It was strange — the eyes were kinder than the obvious cruelty. Evidently the eyes had not changed at all, only one face ago they were harsh and overbearing, and yet now, in comparison with this cruelty, their hostility seemed like kindness. Where was the truth? In the eyes? But they were so different in appearance. In the face? But it changed to suit the time, which looked like it. It seemed as though nothing could be more terrible than these narrow lips, these wrinkles threaded with reddish-blue veins, this cruelty which pretended to be a smiling tenderness, attentiveness, compassion and concern. Nothing could? Yes it could! This was still a kind face — if it pretended, that meant that sometimes it was not itself. It was even in some ways a beautiful face — not, of course, like the second, which was white, kind, wise and perfect. But when this face also lay on the white surface of the basin like sausage skin and boiled potato parings and mingled with the first two so that it was difficult to distinguish what skin belonged to what face, the Face-Maker, having

seen and experienced things which would drive the reason from the soul, leaving it to die, stayed his hand and threw the scalpel into its solution.

He had seen and recognized a face which was like the face he had felt within himself when he wanted to be the Great Face-Maker, unique, the one who turned the world upside down and saved it. He recalled his hopes and his choice, and the face was similar, but still more terrible than the one which now lay before him, and was grinning crookedly, glad to have been recognized. Like a thief who had only intended to steal, not to kill, but is so afraid of being caught that he kills the person who has grabbed his arm and then flees, and glancing around him, buries the knife without even wiping off the blood, the Face-Maker grabbed his scalpel and thrust it in just below the chin: he seemed about to slice off the flesh, together with all the accumulated faces, like slicing an apple in half because the top half is infected with rot, and he saw the pupils of the person lying before him grow wider and wider, till they seemed about to burst out of their black orbits and explode, unable to bear the pain, and now the dark blood would come gushing out. And... One Hundred and Five immediately cried out in his memory. Something inside him slowed his hand, and the will disappeared, and the Face-Maker stopped. The one who had sent him to be tested knew that anyone who had drained the cup to the dregs would spare any living thing, because he possessed that experience. Even when his own salvation was concerned. And the Face-Maker was immediately calm. He wiped his face with a napkin and transferred the scalpel to the first square.

Would he have carried through his choice now as he had done when he believed in his exalted destiny? In the right to stand over people? Of course not. But then would

someone else now be standing here? Hardly. The Choice of the Couple would have gone through calmly and there would have been no changes.

But why argue now about whether it was possible to live differently yesterday, when you are already living today? There is a good reason — if you change “yesterday” within yourself, you will act differently today. For having killed once, you will not kill a second time (after the change), quite the opposite — you will save, and there will be no choice for you, you will not spare yourself.

So do not spare your own face, the one hidden inside, that people do not know. Look — there it is.

No dissimulation, everything is exposed—the right of the strong, the right to stand above all others, the right of the only one who knows what will make peoples’ lives better, the right of the only possessor of the truth, cruel, cold, confident — the Face.

Like the guillotine, which also brilliantly fulfilled the purpose for which it was invented by nature and people. And not once did it ever occur to the guillotine that it was in the wrong. It was also simply carrying out its duty, while its blade was sharp, before the iron grew rusty, while there were guilty heads. It didn’t matter — guilty of what against whom; and it didn’t matter who controlled the guillotine — whether the first ones were replaced by the brothers of those the first ones were beheading yesterday.

Look, look at yourself — mind you don’t confuse yourself with anyone else and don’t forget how you have lived, and for what, even if you never had the right circumstances to show your full worth.

Never?

What about the Choice? And the thousands, who have been given Departure? And One Hundred and Five? But that was all the Official’s doing, the time, the law, to

which you, the Face-Maker, can merely submit. Lies! That time and that City depended precisely on you, and it depends on you who they will become tomorrow, and it even depends on you whether the person lying before you will feel pain — these were his thoughts, and his fingers were considerate and careful.

IX

Life seemed to have come to a standstill, time seemed to have stopped moving, like a cyclist who pedals for all he's worth until he's exhausted, only to find he's still surrounded by the same four walls and white ceiling — for beneath him there are only rollers, creating the illusion of a road. But then, why call it an illusion — the cyclist is actually moving and he is actually standing still, both of these are the truth; the heap of parings on the bottom of the basin kept on growing. It covered the bottom, and each face and each skin mingled with the skin of the ones removed earlier, and the faces remained only in the Face-Maker's memory, while his fingers kept on making the usual arched incision, raising the edge of the skin and removing the square, and then doing it all over again. The rollers span, the scalpel moved, the basin grew heavy, the days passed and time stopped. The person before him never moved, his eyes were open, and the Face-Maker always sensed when it was time for a break, although he could not understand how this happened. If it weren't for the eyes, the person lying before him might have been lifeless for all the Face-Maker could tell. But the eyes!

They showed the Face-maker just how carefully he had done what he had done.

How scant and narrow his daily life had become — operation, break, rest, memories of the faces removed,

blurred memories of pain and the sense of the Muse's presence. Sometimes it seemed to the Face-Maker that the operation would never be finished and he would never leave this place, this was simply the illusion of work, and in reality it was all just a cunningly arranged captivity. Although, why would that be? It would be so easy to deal with him in the simple, more customary manner — Departure, and then he wouldn't have to get so tired and suffer such agonizing torment and doubt. No, the Face-Maker told himself immediately, you are doing important work which only you are capable of doing — by virtue of right, experience and suffering — the creation of this new, hitherto unknown face, which he had never seen in any of the faces revealed to him. And when he finished the operation, let the rain carry on falling in the same old way, and let the City present its marble walls to his gaze in the same way it always had done — even so something would change deep inside it, because once they saw the new face created by the Face-Maker, women would become gentler, and men would become kinder, children would love those who loved them, because with this face it would be impossible to feel anything but love, and nobody would care any more what his number was and how his life would end. For life would be filled with kindness and trust. The daily round, yes. Monotonous labour, yes. But not in vain... for trust is everything that can make a man happy, it is when you can speak the truth, when you can say more than you do, and say what you intend to do.

His hands were growing heavier: how strange, the colder his heart was and the stricter his reason become, the greater the ease and the passion with which the Face-Maker worked. The more he wanted to work and the more happy he was in his work, the more heavily he breathed and the more effort each brush-stroke cost him, although

perhaps he was wrong about that; there's always something happening to a man, everything in him keeps changing all the time, and every change makes it easier or harder to work.

It was not the first fright the Face-Maker had experienced, but it was a new fear. It was night, the patient was sleeping, with his head slumped to one side — smaller now, slimmer and almost in proportion with his body. The Face-Maker looked at him. An hour ago he had almost completely removed and reworked yet another face, but he had been thinking his own thoughts, scarcely paying any attention to what he was doing, and now as he looked up the light was dimmed and the sleeper's head was only half-illuminated. Suddenly darkness swam in front of the Face-Maker's eyes and he thought he was going insane — there in front of him was the face of the Image, the face that was the most important in the City at that very moment, the only face, the face that the Face-Maker himself bore. It couldn't be — that had been dozens of faces ago, and the ancient craftsmen had worked in a different manner. Different? Look at the stitches, look at the joinings, look at the tissue — it was all different! What about from this side? He turned up the light. No, from here the resemblance was not so strong. He turned it down again — the same effect. How could that be? Strangely enough, removing that face proved to be harder than anything else, because it was tailored in a fashion quite alien to him. After making a few of his customary incisions, the Face-Maker had to stop and start all over again. Yes it was put together quite differently. But this time too the work was quite perfect.

How good it was, even so, to work fenced off from the entire world by the massive marble walls, all alone with his patient, He-Who-Lay-Before-Him, relaxed, unspeaking

and undemanding, and to think of what had been, and no matter how terrible what had been might be, it was still only “had been” — and not to know what events were taking place in the City, to be free at least from whatever was happening.

X

Meanwhile, life in the City continues on course. Not the old course, when the City swung regularly and evenly around the “Official-Great Face-Maker” axis, smoothly, on and on forever. Something out of the ordinary had fallen under the wheels this time — apparently it was no more than a few hundred heads and that speech from the Great One, but the wheel had risen up from the track where it was crushing them, and the axle had shifted out of true, cracking the bearing, and the wheel had begun to run crooked. They were still moving along, and still at the same speed, but the shaking was worse now, and it was transmitted to the people. There was nothing surprising in the fact that the wheels cracked heads open like nutshells — that was nothing special at all — but the Great One’s words had not been crushed under the wheels, they had not been reduced to dust, but had simply popped out untouched, while the bearing had been cracked and the axle had been pushed out of alignment, and the wheel itself had started running lame and limping.

Yes, that was it — the word, having survived under the wheels, had created the possibility of independence from the wheels, and that meant the possibility of transgression of the law of the City — for the good, naturally, of every person who lived in it. And transgression of the law was understood by each one of them as the opportunity to win a new number or acquire a Name — no longer at some un-

known point in time or by the end of your life, but tomorrow. However — and this was something every true City-dweller understood — this desire required a decent and respectable ideological formulation in order to make it acceptable to a citizen raised and educated to respect the law. And for this purpose the idea of the true face was absolutely ideal.

The city swelled up like dough made with yeast, like a river that has burst its banks in the spring-time, like an anthill teeming with fresh movement after the winter.

The citizens with names regarded the anthill with a curious glance from a squinting eye, and under this gaze the anthill was seen to separate into two uneven halves — the activists and the waiters. The waiters sympathized with the idea but their fervour was contained internally. Their external life was perfectly normal, and since all the rest was only internal, it was their personal business and had nothing to do with the life of the City — they were not the ones.

Remember the one who split female One Hundred and Five's breast in two with his scalpel — he turned out to be one of the waiters, believe it or not. Of course, the fact that he possessed such great internal reserves of nobility was no great comfort to female One Hundred and Five. And as for the activists.

Ideas are capable of producing children.

The activists came up with a neat trick. They disguised their work as love — meetings for this purpose were unofficially allowed in the City, without any restrictions. It was a splendid idea. Of course, some of the citizens turned out to be engaging in love under the guise of the idea, but the rest of them engaged in action under the guise of love. The Husband was quick to join the ranks of the former. How vast his opportunities had now become!.. He used to visit

the houses where uncoupled women lived, but as I'm sure you'll agree, the best ones have always been taken for coupling, and who wants to keep using the things nobody else wants all the time?

Today the Husband had a good idea. He jerked open the door of his former apartment and the eyes of the new female One Hundred were there, looking at him. They watched him with enthusiasm over the shoulder of the new male One Hundred. The Husband recognized her immediately. He remembered her from back then, at the time of the Choice — sitting silently in the next row and staring fixedly at the Husband's face, even back then. Ah, how convenient this idea of the True Face was. The Husband opened his eyes wide and spoke the password. He didn't actually know the real password, but male One Hundred didn't know it either, he simply realized that he had to leave. Only female One Hundred knew that the password was something different — but why should she miss out on her chance?

Everything was arranged most conveniently. Male One Hundred went round to the neighbours without even putting on his cloak, apologizing nervously as he went. He respected those who had chosen to act — he was only one of the waiters — and he was even proud to think that his partner was about to participate in this dangerous undertaking of the bold. Unfortunately he was unlucky; at the neighbours' place there were half a dozen people already engaged in practicing the new idea, it was as dark as Sodom on the night before the end came, and the air was filled with the sound of sobbing and groaning. Male One Hundred realized that such intensive, demanding effort was only possible when people were working on a new idea, and that made him feel even greater respect for these people, so in order not to disturb them or be taken for a

spy, he went out quietly, closing the door behind him. The most astonishing thing in all of this was that female Five could engage in this activity with male One Thousand Nine Hundred and Seventy-Seven, while male One Thousand Six Hundred and Sixty-Six could engage in it with females Forty-Seven or Seven, depending on the circumstances. That was another reason for male One Hundred to respect these people.

When male One Hundred went back to his own apartment, he did have just a momentary twinge of suspicion (like a fleeting glimpse of a bird's shadow through the window at night — perhaps it was real, perhaps you imagined it) when he saw his female One Hundred sitting on the Husband's knees, but they quickly explained to him that it was necessary for the conspiracy, since anybody at all might enter the apartment at any moment, and that would mean certain Departure. Male One Hundred admired them even more for this — her for her moral courage (he knew how his female One Hundred loved him), and the Husband for his strong body, which supported the body of his female One Hundred so easily. People like that won't let you down, thought male One Hundred, as he sat in the corridor for the three and a half hours which the courageous people he respected so very much spent in his home.

We must give the Husband his due, after this he began calling round regularly, and in time male One Hundred stopped getting in their way and sometimes, feeling like a terrible coward and yet at the same time respecting himself for joining in, he would even lend a hand, but without ever fully understanding the inner meaning of their mysterious activity.

The Wife arranged things for herself no worse. Now that she had masses of free time and a Husband who was always

disappearing, she gave up the inconvenient effort of visiting the other houses nearby and began leaving her own door open, and anyone who found his way into her home always left feeling happy and tired. He might even forget all his exalted ideas for a little while, but he wouldn't forget to spread the word about the Wife, who was so generous and so indefatigable. The Wife could probably have satisfied the entire City, but the information was only passed on to close friends and through private channels, which restricted her practice to a certain extent. But then, there was still plenty of time ahead, and she could still hope eventually to receive the very last inhabitant of the City. This, by the way, was no purely private matter either, for the Wife undoubtedly exerted a certain influence on life in the City and the life of the new idea, which fluttered its wings anxiously at first, then began to mould and finally became quiescent, like a butterfly passed from hand to hand for everyone to look at — no matter how carefully it's handled, after six or seven hundred pairs of hands the wings have lost almost all their dust and therefore, all their attractiveness. As well as the ability to fly.

XI

After a while everything in the City settled down and even the crooked limping of the wheel began to seem natural. Those with names made the most of life and forgot the words spoken by the Great One. Except, of course, for the Husband — he remembered them alright, for his own convenience.

The secret and open participants in the movement for the True Face participated secretly and openly in this movement, moving always in time with the rhythm of the limping wheel.

The Official knew the secret and open participants in the movement to look at and from lists, or if he didn't, then his Commission did. From time to time the most active among them were condemned to Departure, and then the water in the canals ran more yellow than usual, and the City, limping along to the regular rhythm of that wheel, continued joyfully, secretly and openly on its course towards the new life, anticipating its own happiness in that new life, which was certainly no more than just, for each of them deserved happiness and had a right to it — such was the fundamental law of the City. The day and the hour of this encounter and its very possibility now depended entirely on the Face-Maker and his work, on his inspiration — but apart from the Official, the inhabitants of the City were quite unaware of that.

XII

The water turned yellow more and more often now, there were days when the yellow water flowed from morning till night, and even the rain, that constant, omnipotent force, could do no more than carry it away — it was beyond its power now to overwhelm the yellow colour and dilute it. The rain kept on pouring down, flowing together from all the streets and the squares in the City, until the water in the canals rose almost to the top of the walls, until it seemed one final effort would be enough to carry it over that granite threshold, and the yellow, glutinous flesh would go creeping though the streets, climbing up stairways and filling the houses, rising above the rooftops until the entire City disappeared beneath an endlessly spreading, noisy yellow flood; but this had not happened as yet, and it merely seemed as though it might happen. The granite banks of the canals had risen noticea-

bly higher and they were prepared to hold back the flood, but when the water reached the limits of the granite, the very top of those tall banks, it became clear that calm and unhurried work was no longer what was required. The Face-Maker was the first to discover this, together with the Muse.

The evening before she had laid on the floor after she came home from work and yelled that she was fed up with everything, she was fed up with the work, and the waiting, and all these Thirty-Sevens, Fifty-Threes, Sixty-Sixes, Eighties, Seventeens and the rest who opened her door almost every evening and pronounced the password which she now knew off by heart, after which, at first in a fury, and later with a smile, and then with total indifference, she threw out those idiots with the burning eyes and the sweaty hands accustomed to submissiveness that now reached out for her. Even her Name was no longer so all-powerful, and what was going on in the City, if even the Muse was so defenseless? Left on her own, the Muse trembled and shivered and curled herself up into a tight ball, feeling sorry for herself and almost forgetting about the Face-Maker — she was tormented by her own fear and impotence. And then, at the very moment when the face-maker, whose hand had been poised ready to work on the next square of skin, learned that his time was limited and the problem was not just to create something, no matter how long it might take, but to create something by tomorrow, the Muse became calm again.

She tidied up the house and washed herself without hurrying, for the first time without that feeling of horror and revulsion for the water which had tormented her since that insane night when the Face-Maker had been led away at dawn. She stopped thinking only of herself, of how she was suffering, how she couldn't bear it, how she hated

waiting, and she began simply waiting, without analyzing anything or feeling sorry for herself as she waited, calmly, with a clear mind, so that if it was necessary, she would be able at any minute to help the Face-Maker, if only by not tormenting him with her own suffering. When someone's dying more humanity is shown by a person who will give them a drink or an injection for the pain than by someone who screams and tears his hair out and beats his head against the wall, losing control in the face of his own suffering, forcing the dying person to think of compassion and to try not to torment the living with his pain.

The news that it had to done by tomorrow had a sobering effect on the Face-Maker. He calmly lowered the scalpel in his hand to touch the skin.

The period of unhurried creative work was at an end, life had begun. Just a few more days of calm, painstaking work and there would be no one left to view the face which so far only his fingers and his memory and his imagination knew — the way a woman will pick out of a crowd the man who will be the father of her son, although she is still too shy to say hello to him, and will think that this is the man who will open her up and leave himself in a space deep inside her soul, so that her son will look at her with those same big eyes, so that his fingers will be strong and nimble like his father's. It's not the man she loves in the person she has met and recognized, it's her future, the continuation of her tribe, and even if it's impossible and even if she doesn't feel it or see it, this is a truth that exists without her having to know it. Just as He seeks for the mother of his tribe, recognizing her by the smell of her body, the colour of her hair and her light, hurried, staccato manner of speaking, which are like the pattern of fingerprints, never encountered twice. The Face-Maker had realized that he could no longer continue searching to find the one for

whom he had come into the world. There was no time to wait, tomorrow was the last day, and if you want to continue the line of the tribe, better embrace the first one to come along, lying on the dirty, unplanned planks smelling of pine resin and turpentine somewhere at the back of the goods yard, behind the wall of a rotten, half-ruined shed, turning your face away from the old, stub-nosed, crumpled face, better give her your excess portion of life. Leave without looking back, because you won't do this, and there will be no continuation of your tribe, and your fingers will never grasp the scalpel and your eyes will never see your work, because there behind you the heavy goods train is already rumbling along the track, it has already picked up speed, and the brakes will make no difference, there's no siding to turn the train into, there is no force that can halt this juggernaut, and the driver, with hair as white as snow, can only watch as your stooped back approaches and feel sorry for you, as though his sympathy will help your head to part more easily from your body under the iron wheels and your bones will be reduced less painfully to the consistency of emptiness.

All the same, you've been lucky, Face-Maker — there in front of you lies the face your own hands are creating, your scalpel is sharp, your fingers are faithful and true, and the Muse shelters you with her love. Out there, where the walls of the houses await your return, the Muse is also waiting, no longer noticing all of the things that surround her, hardly even breathing, so that her breathing won't distract you from your work, and you can feel this waiting dissolved in yourself, you know that behind you, at home, everything is calm and safe, and the train approaching you from behind is not due for days yet, and the train approaching you from the front, which prevents you from hearing the other one, has never been a danger to you,

because you're walking along the next track, and it will always approach and then go flying on past.

Thank you, Muse, for being so calm now and for serving me, even though you don't accept me, for being faithful in my work and in my bed. Thank you for suffering with my pain, the way the heart aches, when the eyes see peace and a garden clad in white, because hiding behind the trees there is a man with a knife and an axe and a trusty hand, waiting for his chance to raise his hand to your body, surely and soundlessly, the way the beloved Muse awaits the return of the Face-Maker. Thank you for shining with my light, the way the eyes of a man sinking into a swamp, wide with terror, are suddenly filled with the light of joy and safety, because there is firm ground under his feet and the swamp is shallow enough for him to stand in. Thank you for being kind with my kindness. What meaning have people's offences to you and each other when death's saw is sounding at the door, and if you put your foot over the threshold, your leg will be gone; if you bend down to the severed leg, your eye will be gone, if you lower your head in impotent humility, your life will be gone? What meaning have people's offences to you and others when they are not the ones whirling the metal disc, and the only path there is leads across that threshold?

XIII

Ves, everything changes quickly in a person. Only yesterday the Face-Maker had been glad that it had fallen to him to continue the line of his trade, to leave people a face which would reveal to them the secret of the miracle of love and tenderness for each other. Only yesterday he had been happy that he could work unhurriedly forever, reading, as he looked into the features of strange

faces, the book left by humanity, a text which was visible only to him — the entire experience of all the City's masters, who had lived centuries before, was open to him. And now, when there were only three or four days left to create a new face and be the first to see it, without having destroyed on the way a single feature of a single face, sensing with each movement the mastery of skill and of intention, he had to hurry. Lord, if he had known earlier that there was so little time, the Face-Maker would have ripped all of those masks from the face of Him-Who-Lay-Before-Him in two or three days, so that the patient would have writhed in agony, and then, in creating his face without having seen anything, without having learned anything, instead of love he would have put into it all his hatred for the one who had tested him and for the City, which is so dead in its eternal pursuit of ranking, in its desire to bypass, to overtake, to astonish, he would have put into it all the pain he had experienced, so that they would hate each other still more, so that, meeting once a year at the Choice, they would tear each other's faces, scratch each other's eyes out, break each other's arms and would be happy in this hatred — because this was what they had taught him each moment of each of his lives. But the Muse!.. The Face-Maker's thoughts come to a halt, they stop circling around, and they are no longer red, and no longer black, but purple, and yellow, and happy.

All the same he will have to remove several faces at once, and no one on earth will ever know what those faces were like. Let them he destroyed, the ones that were left, no one will ever know what they were like. But he will make his own face beautiful, the most beautiful in the world, because people must not hate each other, and their hatred must not swell up to become as immense as the air, so that a man cannot live anywhere without breathing it, because when

that fire starts everything is destroyed and no rain is able to halt the flames, because hatred is stronger than rain.

While the thoughts were skidding and soaring in his head, changing his decision, changing despair into hope, then into fear, then again into hope, the Face-Maker's fingers saw only the small square on the surface of the skin, and this square was separated from the face, and there was nothing but a tiny yellow patch, which had to be exfoliated and preserved — let others do that some other time, it was easier to restore than to create. No one would do that except him.

XIV

The only way to resolve things was by work.

Like a gold-miner he began to rush over the skin, the eyelids, the lips, and there was no more time, or Muse, or concern about growing tired, or leaving anything till tomorrow, for there was no tomorrow. It was an only illusion that tomorrow was coming. When tomorrow arrives — it becomes today, and there is no point in saving your energy, no point in sparing your hands, no point in sparing your soul — only once in a lifetime does the chance come to work as the Face-Maker worked.

The golden plough thrust its way into these furrows, these ruts, these depressions and uplands. An immense field lay before the Face-Maker, and it had to be ploughed and the sods broken, so that it would be transformed into green meadows and be yellow with wheat, and beautiful with the grains of bread which could feed people.

May the harvest come to your field, may the reapers come in time, may their work go well, and the sky — may the sky not send down hail and rain on your yellow field. Hear the ears of corn calling out like pregnant women, hear how their legs will be broken off beneath the blades of the

machines and their bodies will be thrashed with flails, and there shall come to pass what must come to pass — the poor, ragged, hungry children, like the yellow leaves and the green leaves of the bog sedge, shall be given loaves of bread into their hands, into their transparent hands, and with their mouths watering, they shall sink their black, rotten teeth into the bread, and their faces shall light up, and their eyes shall grow more gentle and kind, and they shall stand up, and go forth into the field, and they shall meet the beasts, which shall go dripping blood on the ground, and shall not harm a single person. Knowing not what they do, the children of the bogs, having liberated people from fear and cruelty, shall go to drain the bogs and save everything that is left alive on the earth. And this shall be because the golden plough creaks beneath the hands of the Face-Maker, and the black soil has already been turned over, and steam is already rising from the openings in the upturned blackness, which has never before seen the light of day, and moves like living earth. There is no City, there is no Him-Who-Lies-Before-Me — there is only craving, right and achievement. But then it is as though they have pumped out all the air, like before, and there is nothing left to breathe, and his lungs are stretched till they seem about to burst; but the Face-Maker knows what to do at such a moment, and his hands are raised upwards, and mercy is granted; it becomes easier to breathe, there is something to breathe now, and once again he can take up the handles of the plough, but he manages the earth clumsily, and it cries out in a voice of pain — or is it the rooks calling as they circle above the plough-field, their eyes fixed on the tumbled bosom of the earth, aiming their beaks at the chopped, bleeding worms turned up by the plough?

So that was why the face stirred under the scalpel, no muscles, no tissue — there are worms instead, the red

worms have woven their bodies together and lifted up their tails or their heads, defending themselves and their families from the Face-Maker's knife. The worms share in immortality. For the faces have changed, wisdom has squinted through the eyes of cruelty, pain has emerged from tenderness, strength grinned in insanity — and only the worms have known the truth. They have borne it in their own bodies, and these bodies were constantly in motion, attempting to make themselves more comfortable in the close, stuffy darkness. And now here was a knife — was that any better than stifling in the darkness? Like snakes they raised their tails or their heads to meet the pain. They attempted to demonstrate their skill — one flat white body changed its form, and the Face-Maker recognized an expression of grief. Another one changed its pose, and another lowered its head — and the face was distorted in terror.

The Face-Maker swiftly tore his eyes away from this face, and immediately a short red worm hid itself among its fellows, and laughter curved the lips of Him-Who-Lay-Before-Him. And, setting aside the knife, with fingers that were blue, gentle, subtle, agile as musical sixteenths, the Face-Maker gathered these harmless, blind creatures from the bones, these creatures full of skill and slime, and dumped the mass of joy, pain and life into the bucket, then pulled off the last few who had grown into the bone and muscle. Why rely on worms, on their cramps and hunger, on their closeness and indifference? Let the soul weep — and the face, let it grow radiant, the face expresses the soul, even if the soul is a severe one — and the face is like it.

I don't need smooth-skinned intermediaries, I don't need intermediaries stuffed with my body that has been digested into shit. I want to smile and cry myself. I need a Muse, who sees me, and not them, pretending to be me. I need a City

which will contain what is, not what pretends to be what is. I need a love which is as sincere and shameless and fearless as the love between bodies open to each other in trust.

Without looking at the red worms writhing and scrambling over each other, crushing the remnants of the husks of the faces, slithering down the smooth nickel-plated wall, yet clambering back up again, and devouring each other and the remnants of the material that they used to set in motion, the Face-Maker went on with his work.

He worked until the eyes opened beneath his hands, and they were like the eyes of those who had sent him on his way, who had no strength to crawl after him, whose bread he had eaten, leaving them to die of hunger; the eyes of those who had been kind to him while the woman died at the paw of the beast; his own eyes, which had remained hidden within him during the trial by fire on the square. These were eyes of forgiveness and hope, these were eyes of understanding and compassion — these were the eyes of the life which the Face-Maker was moulding with his own hands. These were the eyes of the Muse, without whom he was helpless and senseless.

Because if you live for no one, you are empty and your name is dust. Now the cheeks have already taken shape beneath the Face-Maker's fingers, like a field in which he has sown his own corn, and from which he has gathered his own harvest. And the nose, like a watchman, has taken up position above the field in order to preserve this harvest and protect the grain from the crows. And the lips have become ricks of corn, crimson from the setting sun and infused with the reaper's blood.

The Face-Maker stepped back, and looked at the person lying there, and he was blinded by the beauty and goodness of what he had created, and when his eyes had

recovered and grown accustomed to the sight which had transformed them — the essence of Him-Who-Stands-Over-All was revealed to him.

And then the Face-Maker understood that he had only remade what was visible to the eye.

The master-craftsman of the flesh had not touched the soul.

The beautiful was external.

He-Who-Stands-Over-All is indifferent to how his face is seen and made by people, for his essence is devoid of flesh and eternally inaccessible either to skill or iron.

A reward?

Of course, the Face-Maker deserves one for his work.

It is not given to everyone to know the count of the days, especially as mercifully, as wisely and with such compassion as He-Who-Stands-Over-All had revealed this to the Face-Maker, whom he would never remember, and without whom he would in any case have brought about what could have happened even without Himself.

XV

The wide-flung doors of the House sucked in the people from the rain. As though a boa-constrictor had opened its jaws, elastic as a nylon stocking, and was gradually swallowing an entranced, defenseless, crawling animal which rustled its cloaks, smelling of the thunderstorm which had rumbled past above the City. At last its tail whisked in at the leaves of the door, and they all came to-

gether slowly and indifferently, probably initiating the process of digestion.

The chalice was full to the very brim with evil, and the Official's hand held it carefully. He had fulfilled his mission today as he had to and none of it any longer depended on him, it was time for him to take a break. Even the water in the canals was almost transparent today after the downpour. All that was left of the City, afraid of overflowing, was perched on the edges of its seats with all its eyes glued to the centre of the stage. It was empty. The image had disappeared, and in its place on the wall there was only a faint, dark square.

Its outline was only visible from the final rows, but from the first row, where the Official was sitting and from which he had viewed the hall when they were removing the image, the spot was invisible. The Official had smiled to himself at the time as he looked around. The Image had been stuck up there without being changed for so long, and when they took it down there wasn't a trace left. Stone doesn't change its colour.

But to those sitting high up, in the final rows, this visible square of emptiness was a sign of hope that today their destiny would change. Who knew who they might be when they left this hall? The front rows, who had seen so many changes in their time, had come to terms in advance with the pain of the usual corrections, and were expecting a spectacle, and laughing to themselves at the hopes of the rows at the back. But even they were gripped by anticipation, and in a few minutes, despite their self-assurance, indifference and readiness for the usual changes that changed nothing, without understanding what was happening to them, they became one with the entire hall, as though they were beginning to feel something that their brains could not understand — the way a dog howls on the eve of its master's death, although t

he master is still unaware of the expiry of his term. Faithful to the law of future causes, the flesh united the people. And the hall's immense heart began to beat regularly, only very slightly fast, as though it had been enlarged and strengthened so that without losing the general rhythm, each of them might look to the spot where He was to appear, the one whose existence the Great Face-Maker had surmised in opposing the Official. Seven days had passed, and that fable had turned the world upside down.

The Official held the chalice of the hall carefully in a steady hand. The hall's heavy heart contracted regularly, driving fear and hope, indifference and hope through the people's veins. Only the Official and the Muse had a life of their own. He winked at the Muse, who was sitting beside him. The Muse pressed her lips together in tense exhaustion — she alone was waiting for the Face-Maker, and not the person the rest of the hall was expecting.

The Official had promised her they would meet here. But she remembered very well the Official's phrase that he never spoke the truth, the phrase that meant he never had to justify anything he said or did. But strong as the Muse's hope to see the Face-Maker had been, in defiance of untruth, for an instant the hall tipped over in her eyes and then righted itself, and just a single drop — the Muse's teardrop — spilled over the edge when the Face-Maker sank into the chair beside her and took her hand with a palm still hot from work. There was no time to rejoice — the light on the stage was growing stronger, and in the hall it began to grow dim, as though it was being pumped from one vessel into another.

The quietness grew still quieter, and only a few hearts began to beat out of step, faster, and then the others caught up with them and joined the new rhythm, as though the train were gathering speed.

XVI

When the light in the hall was completely extinguished, and the shadow on the stone had quite vanished, the Face-Maker rose and pulled the Muse after him. She smiled in response in the darkness, as she had smiled when she waited for the Face-Maker, who was already close by, who was entirely with her an instant later — at this moment she was dying and being born to the light. The Face-Maker led her through the aisles to the exit.

The Muse's head was spinning, and she hardly knew what was happening or where she was, because she had waited for him too long. The people living in the darkness paid no attention to them, and just to be certain, they dug their fingers into the arms of the seats, so that they became part of the arms, in order not to lose their places just yet.

The Muse only recovered herself a little when the rain began to drum on her hood, when the Face-Maker's fingers, weaving their way round her back and under her arm, touched her through her cloak. And again the rain and everything around her disappeared. There was no City, no pouring rain, no anticipation, no need to be back where they had just been.

She came to herself again for a brief moment when he lowered her shirt to the waist, and stroked her, and switched on the light, and leant over her. His chest touched her, and the Muse felt the great power of the moment, and she stretched out her arms and wound them around the Face-Maker's neck. She didn't understand at first when he removed her hands and placed them at her sides.

"Don't you love me any more?" asked the Muse, still not able to believe what had happened.

“I can’t tell you anything, but you must believe that I’m doing what has to be done. I don’t have much time,” said the Face-Maker, “hardly any at all, but I’ll try to do everything that I can.”

The Muse raised her eyes, and only now did she see that she was in the Face-Maker’s laboratory, surrounded by white walls, lying on the operating table, that the Face-Maker was holding a scalpel, and the pain in the right corner of her mouth made her realize that the operation was already taking place. Just like that, without the face being prepared, without the skin being an a estheticized, on the living flesh. Why, the Muse wanted to ask, but she believed that if the Face-Maker was doing it, it was necessary. That meant it was important to them.

“Look at me,” said the Face-Maker, “look at me, and it won’t hurt so much.” And he pressed down still more heavily on her breasts, and she could feel his body and his pain, this Muse who knew him as no one else in the world knew him. The face of love and labour breathed above her, and it all became one — the love, the pain, the pressure of his body. It was no longer frightening to feel the skin being bent under her eyes, her lips growing heavier, her mouth filling with blood, the Face-Maker changing the cotton-wool in her mouth. The scalpel began cleaning the corners of her eye. She began to see the Face-Maker’s real face, and it was different from what it had been yesterday. The taste of blood grows stronger and stronger, and the softness of the Face-Maker’s body... But he works on, hurrying himself along and watching her face as it changes. Water and tears fall on to the Muse’s exposed muscles.

“I’ll get it done, I have to, even if it’s not perfectly right, even if it’s not absolutely accurate it will still be enough, and you’ll wait for me.”

"I'll always wait for you, but why are you crying, and why are we here?"

"I'll tell you," said the Face-Maker, "I'll tell you, just let me get it done. Be patient and bear it."

"Of course I will," answered the Muse, "that's not so difficult, I'll be patient."

But it's not so easy to bear it. All the muscles of the face are exposed now and it's on fire, as though flames are creeping across the face and burning off everything that was on it, so that grass might grow here, so that flowers might grow here, so that this earth might give life to the Muse's new face, which is like her soul, like the face of Him-Who-Stands-Over-All. Ah, these flames, no body left, only pain. How long till the flowers? But now there is only fire, fire and smoke, and a smell of wool, and nothing to breathe, and nothing to live for, and nobody, no Face-Maker, no old face and no new one. Only endless kilometres of scorched steppe. And when will the first grass sprout again from the ashes, and when will the first flower bloom, and the first little green cricket sing its wise, clicking song?

The Face-Maker works on, and the tears fall on the steppe, and its hills lie beneath his chest, heaving slightly, ever more gently. It is so quiet that a bird flying by might startle you with its terrible noise.



THE NEW FACE

I

It is so quiet that if it should get any quieter, the life will flow out of the hall, like water out of a chalice that has cracked in your hands or a mountain lake that empties through a cleft in its bottom — the way a train stops when it breathes out its last smoke, because the coal is all burned out, the wires have gone dead, the climb has defeated the wheels. But after lingering for a moment, the hall breathed out, and the pass was left behind. Like a canal filled by fresh water, the wires were newly charged with watts and volts, and the wheels began to breathe, and they picked up speed once again. There it is — movement, a tight feeling in their throats, hands gripping the arm-rests of the brass seats, heads thrust forward, eyes fixed on the spot where He-Who-Stands-Over-All is revealed to the hall. The first sight of the face, the glimpse that blinded everyone, astounding everyone sitting in the hall with its goodness, strength and mercy, is past now. Just as a person blinded by approaching headlights stops seeing anything round about him, but the flash of light remains fixed in his vision, although the car and its light are already far away. He can just see well enough to make out the road and turn off before he is hit by the next car, the one traveling without lights. He would have turned off sooner, but

for this light still in his eyes. Until they could grow used to it, each of them saw the face with his own imagination, with his own blindness. Yes, this was the face they had been waiting for.

But time passes, and the blindness from excessive light passes, a man's ear hears a word, and that helps him to see what the eye is unable to distinguish. The Official, who was keener-sighted and quicker-witted, was the first to see another new face — and fear crept into the Official's heart.

While the hall was jubilantly silent, a toad thrust its nose and eye into the Official's heart and blocked the valve through which the blood flowed to the Official's body, there was nothing left to breathe, and the Official gulped at the air, exactly like the Face-Maker stuck in the bell-glass from which the air had been evacuated. The Official ceased to breathe, but the Official gathered his strength: "Now then, push, give it everything you've got" — and he squeezed this slimy green monster through the valve, which expanded into a mouth, and he began breathing calmly and evenly.

He-Who-Stands-Over-All had tricked him. The City would be saved, perhaps, there would still be life in it, and there would remain those whose faces, although not quite like the face of the Image, were nonetheless suitable for reworking. But the Official's face was too far beyond the bounds of this "suitable".

He felt cold and senseless inside, like a man who has been wandering in the desert for days upon days, knowing exactly where there is water. He has managed to crawl to the place, half-dead, and his hand is already stretched out to scoop up the water, to return to life and learn once again how to love, and how to fear the simple things (loss of power, abandonment by the one you have loved, or the realization that the work you been doing all your life is confusion and absurdity), he has already pursed his lips,

ready to return to life, to moisten their dry, rough skin, cracked like the earth in a drought, but then before his very eyes, when he has crawled so far and lost everything on the way, abandoned everything on the long journey in order to get here, the water drains away, and nothing is left before him but a sink-hole in the sand, as dry and dead as a road built by man. The Official's lips turned down, as though a cane had been broken in the middle. The Face-Maker, the trials, thousands condemned to Departure with Departure executed so rapidly that the water in the canal became thick as oil, participation in acts of copulation under the guise of a member of the movement, all in the name of the City's good, in the name of the City's salvation, each hour devoted to ensuring that the City lived as it had lived before the absurd quarrel with the Great One, whom he, the Official, would not now outlive by very long.

The Official rubbed his temples, closed his eyes and saw a thought. He needed the Face-Maker now. That was why he had taken the Muse out of the hall — in an hour the Muse would have a new face. That meant the Official had the same chance — while the hall was still listening to the words of Him-Who-Stands-Over-All.

The Official stood up, and in the darkness he walked slowly and quietly up the steps to the entrance: in his thought he had even seen precisely where to find the Face-Maker — in his laboratory. And no one paid any attention to the Official because down there on the stage was the light and down there the destiny of each one of them was setting out on a new journey along a new road. The Official pushed gently against the door — and the door was locked.

If anyone should know, then he should, that if the doors are closed, no one alive can shift them an inch. The Official became even calmer inside. He would stay here, in

the final row, by the door, and when everything was over, he would slip out and find the Face-Maker. All was not yet lost — as long as his legs walked, his eyes saw, and there was air to breathe.

Like a cat ready to pounce, the Official sprawled in the seat right beside the door. The back rows were almost all empty. Too many had been given Departure in the last few days, there were not enough numbers left now to fill all the seats, for the procedure for registering as a number required an operation, and the rank-and-file face-makers simply could not work fast enough to replace the departed.

||

By this time the words of Him-Who-Stands-Over-All were filling up the space in the hall, the way water gushing into an newly excavated canal flows slowly at first, soaking into the earth, but then it picks up speed, and already the front rows are caught up in the flow of thought, they are beginning to feel dizzy with an excitement and strength which drowns out doubt and fear.

Desire, right, necessity, the inevitability of action, like seeds broadcast on rich soil, crack before their eyes to throw shoots high into the sky — the thought of Him-Who-Stands-Over-All flows on and the shoots grow higher in leaps and bounds.

Action — their bodies are filled with strength like a rubber toy with air.

Each hears what he wants to hear. Each one with a Name understands the thought flooding his ears in his own way.

First row, seat six — he's even half-risen to his feet.

Damn it, a fight means something. Defending what you have is a sacred duty, victory is their form of life, every-

thing remains just as it was. But now the stagnant blood, like a river at full-flood, will flow more merrily through his veins. And his hand feels along the arm-rest — this is the weapon with which he is destined to conquer.

First row, seat seven — the Chairman...

It's time to take the side of the back rows, the future belongs to them, to those he has not yet worked with, who, consequently, are still alive, and consequently, for them he is only the magnanimous, compassionate Chairman of the Commission — but he has a Name. He will renounce his Name, he is prepared to carry out his work namelessly, losing your name is easier than losing your life...

Third row, seat ten — the Husband...

He's only just achieved something beyond his wildest dreams and now he'll lose it. he'll beat them all on his own, the lot of them, fighting with teeth and nails and feet.

Seat eleven — the Wife...

Don't get involved, wait a while and see how things turn out — everyone needs a wife. She turned round, and the eyes of the hall looked past her, but there were so many eyes she knew well among the ones she could see, they would defend her and keep her alive. Wait a while.

Seat thirteen...

That's fair. Yes, it's time to get started, everything from the beginning again. Better houses, better women, better... Of course justice is on the side of the back rows, and then there will be no shame inside, no fear or bondage in living by the law of the Name, without paying any attention your inner voice... of course, change sides right this moment, before they notice you.

Seat thirty-one...

For him the words of Him-Who-Stands-Over-All were a clear and palpable expression of the certainty of the victory for the names, in their status as chosen ones, in their

professional ability, their right to stand over the City and command it — for what are these dull, ugly specimens, almost different faces, capable of by comparison with his face, a likeness of the face of the Image... This Other Image? That's what the face-makers are for, tomorrow they will all have that face, and tomorrow once again they will... better to lose your life than to lose your name. And he dug his fingers into the arm-rest of the seat, into the heavy green brass, a very axe of an arm-rest.

Seat thirty-three...

In the fervour and strength of their rectitude the front rows awaited the end of the speech.



Each one heard what he wanted to hear.

In the fervor and strength of their rectitude those sitting behind the front rows waited, motionless, for the words of Him-Who-Stands-Over-All. The wave of thought had already dashed against their ears, against their souls, it was already clear to each of them, even those who were in the back rows: so that was it, their neighbours and friends had not departed in vain, today the front rows would be taken over by them — in the name of their Departure, their homes, their gardens, their peace... They heard quite clearly that the old law was demolished. The new face was the measure of the new life.

All things are made new.

All places in the hall are free.

All they need to do to begin with is make the front rows knuckle under, to ring them dry with their hands, like drying a washed dog.

They can manage that, see how many of them there are, the whole hall row upon row, all who have never seen

the Image so close up as the front rows, they fill the whole hall. Always they've had to fight in the darkness, breaking arms and heads, for what the front rows had without fighting: and even when, mutilated, battered, half-throttled, they nonetheless survived, they were still nothing and nobody for the names, and just like before the front rows didn't even see them and divided all the good things in the City between themselves. So that was it, the time of payment, here it was, the chance to obtain in a single minute — without work, without operations, that is, without pain, simply by making the effort — what belonged to them.

Glory to the Great Face-Maker for revealing to them Him-Who-Stands-Over-All. Their eyes sparkled merrily. The male One Hundred and Thirty-Two felt a paving-slab with his foot — it was loose, and he worked it to and fro. A good material, stone, not afraid of the rain, and for a fight you couldn't do better, The female One Hundred hid her hands on her breast, she had a lead charm, and her fingers quietly began to scrape through the linen thread on which the charm was hung. A charm is not the worst of weapons, if it's heavy.

The male One Hundred thought regretfully that he had not really taken part in the movement, except perhaps once, and that he would hardly get anything, but his partner, the female One Hundred... he stroked her elbow, which was just level with his lips — she was scraping through the linen thread. She just shifted her elbow slightly and the male One Hundred's lips split against his teeth, and the blood ran down his chin. "Yes, yes, that's fair," he thought, "what she did, poor thing, and she loved me, and what could be worse than the pain of moral torment?" The blood was a salve to his conscience, it somehow expiated his passivity in the movement, and he kissed her el-

bow with his split lips. The female One Hundred didn't even wipe away the blood — she had no time.

Ah, how right he was, He-Who-Stands-Over-All.

Anything was allowed, if it was what you wanted.

Everyone had the right to be himself and occupy the position which he felt he was destined for. And nobody — each of them heard — knows better than yourself what you deserve...

Yes, the sweet music circulated in the human body with the blood, and if we were to lower into it a floating light which could be seen through the form of the body, then these are the words it would spell out in its motion: "Behold, the truth".

Each of them is right.

If he has the right.

Each has less than he deserves.

There it is, movement, and each of them is justified by results.

What was still new to them had already grown old. The old words were new in their essence — internally, in their meaning, not externally in their sound and their physical existence. And the hall accepted this in joyful excitement.

The time came when a new face was inevitable. And this face was recognized by the eye of the hall and avidly accepted by it — the way the dry earth accepted the rain.

After this the head of the hall thought lightly and easily and fluently. The hall knew what to do, it was only waiting for the signal. It had all happened already, so far only within their bodies and their imaginations, but it had happened. Each of them had rehearsed his first movement, and each of them had chosen the seat which would be his.

Ah, what power that was — to allow a man to surmount with a wave of his hand the things that took everybody years, a lifetime, a generation. Ah, what power that was!

Like setting a wolf-hound on a wolf, it sets the province against the capital, drives the steppe into the mountains, pours the sea into the rivers, transforms the mountains into ditches, fills the graves with dirt, instantly circles the globe and returns unexpectedly from the other side, hangs itself, gobbles its own pups with horse-radish in oil, brings music into the world and leaves it attached to its umbilical cord, so that terror and pain should live on until both mother and child die, it changes gods the way junk-men change rags for money, chews broken glass with pleasure and a feeling of pride in its strong stomach, it deceives itself, then the second time around becomes the truth, the truth externally and its own opposite internally, and as a result as temporary as this power itself is.

Lord God, how much energy is wasted only in order to arrive back where everything started, and after such great losses!

This energy could turn so many wheels, move so many wings, bring so many children into the world, plant so many new forests, invent so many new words to replace the old ones that no longer mean anything, or new meanings which could be introduced into the old words like a bird into an abandoned house, and so many lives would not have disappeared without trace, like waves dissolved in the ocean... There could be so much extra warmth in every home in the world. Well then, pointsman, switch this energy to the main track, let it fly on without halting.

Go to the left and you'll lose your own self, go to the right and you'll kill a man. Go straight on and you'll end up back where you started. The wheels of the train spin, and there is no choice, you are moving onwards, the carriages fly along, and there's no way of telling the names from the numbers, just one hurtling mass that cannot be stopped or understood, but just let anyone try getting off

and the speed will rip his head from his shoulders: “No Exit” — the sign is lit up in the carriage, like the “No Smoking” sign in the passenger cabin of a plane, where there’s no need to write that there’s “no exit”.

And before everyone’s eyes, which are turned back in on themselves, stands the new face, which has opened these eyes, which has taken on itself all their pains and sorrows, all their guilt.

This face!

How could the soul of the hall not believe in it, how could the ear of the hall not hear the new words, if people recognized themselves in the mirror? He-Who-Stands-Over-All was gone, and the words he spoke had vanished, hidden (the way the free bread-loaves disappear into bags in hungry years), but the hall was still sitting in silence and greedily absorbing the echo of what He-Who-Stands-Over-All had said, the way a beggar, having eaten his crust, gathers up the crumbs and greedily dispatches them into his mouth with his dirty, withered hands.

People were still seeing themselves in the beauty of the new face (a distorting mirror can make an ugly person beautiful), but the first grains had already split and the shoots had sprouted.

Female One Hundred, clutching the lead charm in her raised hand, crossed the border that no one could cross and brought down her leaden fist on the head of the Wife, yesterday this was her place in her imagination, and today by right, but the Husband did what anyone with a name had to do when a person with a number attacked — he caught female One Hundred’s hand, when the fist grasping the charm was just about to touch the Wife’s hair, and twisted the entire arm and the shoulder, so that blood spurted from the flesh, and the bone cracked, the axle snapped, and the first wheel span off into the hall. See it

whirling faster and faster, off across the stones, along the edge of the precipice... The carriage keeled over, caught a sleeper, ripped it out of the ground, and tied the rails in a knot beneath itself, as though they weren't metal at all, but a thick brown thread that had been stretched under the wheels, and the carriage lay across the length of the train.

IV

The law was ended, and there remained only the truth that each one knew and which made him free. The seats began to creak, and those above came rushing downwards, while those below went rushing upwards, or first those below rushed upwards and then those above rushed downwards. Of course, there were some among them who would have liked to quit, who would have voluntarily surrendered what they possessed, who didn't give a damn for this illusion of a person's prospects — name and number. But... of what use to us is our wisdom when we are flying in a burning plane, or standing on the window-sill of the twentieth floor, which is blazing like an oil-tank, how wise can we be in the compartment of a train when the carriages are piling on top of each other? What good are our subterfuge, our cunning, our restraint, our diplomacy, our will, our foresight, our preparedness, our indifference.

Tell me, train, who set you sideways on the tracks? You've tied the cursed rails in a knot and tossed them off to the side. How precipitously it hurtled downwards, this iron monster stuffed with people, destinies, hopes, classes, numbers — carriage upon carriage, like a bull to a cow, like a dog to a bitch... The carriages landed on one another, and inside them arms were pulled off, and scratched-

out eye-balls tumbled like spilled peas around the floor, tendons snapped with a noise like gunfire, heads burst under heaps of feet like balloons pricked by a pin. And the fists were working all the time.

The train hoots with its wheels up in the air, smoke pours out of the funnel. Tear it to sheds! There's a piston still flying through the air, still spinning from inertia, and all the glass! Crash it goes — into your eyes. Crack go the hands — breaking the skulls. What turmoil, God preserve us! Everyone has the same face, you can't tell whose is whose, everyone is beating everyone else, and no one knows who is who and who is on which side. If the Face-Maker could have seen this now, he'd have laid down on the floor like a dog between the chairs and howled at his stupidity. He put his life into this.

Into that?

Into THIS?

Run the film back a week, and he wouldn't have corrected the Husband's face, he'd have slit the Official's throat in a dark corner, he'd rather have been given Departure as long as it was for something worthwhile — but this hadn't happened then. If you can't create, then at least preserve. That's greater than creating, and more importantly, it does people more good. It may be more anonymous, but it does more good. A week's happiness for the Husband and the Wife was small reward for all this suffering. And the train would not have gone hurtling and twisting through the air and crushing those who were caught in its iron folds. And the flames, the flames! Did some fool couple a tank-car into the train for a joke?

The Husband's luck had soon deserted him, dropping him down just as it had raised him up — only lower than his life before the rise. Someone's feet trampled his head, someone's foot sank into his groin, and like a dog the

Husband doubled over, and his life squelched out as his tongue came tumbling out of his mouth, and he could remember no one, the burning train turned upside-down in his eyes, and the lead charm tumbled on to the floor and rolled under the seat.

But life still goes on. Someone is storming the doors. They're swinging the Official against them like a log. The Official's head has long since been replaced by a spongy mass, but they keep pounding and pounding; others press around them and try to drag them away, but they keep on pounding like woodcutters, monotonously — like a pendulum, regularly — like a machine, fast — like breathing in and out, on and on inexorably... And look at the women, the women! Nails and teeth at work — and anything else they can think of — they've set the most zealous ones on fire. The flesh burns well, it runs around, it shrieks and burns, and still it keeps on fighting.

But nothing lasts forever.

V

It seems the carriages are all at the bottom of the slope now, the engine has burnt and smoked itself out and soot is all that's left. Everything seems to be dead, there's nothing but iron and silence. But even here life goes on. They begin crawling out of the iron junk-heap, some with a groan, some even calmly, some — you can't understand how they can possibly do it. It turned out not to matter in the fight, in that whirling tornado, who had a Name and who had a number, there are heaps of both lying there, tumbled together, uncounted, unsorted, between the chairs, in the aisles, on the stage. By the door a hillock has risen up, and is still stirring slightly as other people come scrambling back from non-existence.

The only thing is, however you may try to twist things, the numbers have more people killed, and more survivors too, and this fact, of course, has its own logic and its own justice. In the first place, even before the crash the names were merely an insignificant leaven among the masses, and everyone knows that nature respects proportion, and in the second place, after all, the majority smeared the minority across the walls and hacked them down with brass axes, and if it had turned out differently the scale would surely have been all wrong.

What had happened had happened, and now the survivors crawled out, stunned and listless, they crawled out, glanced around, gathered their wits, recovered slightly — crushed out of shape, twisted but still whole — and the veil of stupor fell from their eyes like the shell from the head of a chick newly emerged from the egg, and immediately the first to recover his wits (who appeared to be the most intact, even his shirt wasn't torn, which means he's an iron warrior, or perhaps, of course it was just luck, or — like the Wife — he simply sat it all out) barked out: "Bind them in the name of the New Face".

The numbers immediately understood who it was they had to bind, and they bound them. But what could you bind them with? They ripped the shirts off the dead women and men, they tore them up and bound the others, and if anyone half-resisted the numbers, still drunk on blood, struck him with a chair-leg or anything else they could lay their hands on, without bothering to think about it too much. And that was only right — what pity could there be when so many of their brothers lay all around the hall between the shattered rows of seats? True, there was still the question of who had put them there — but whose question was that? For the numbers it was clear — the Names, of course, especially the ones who were still alive, these ones

here. The iron man went up on the stage and asked his brother numbers to drag up the bound bodies. They dragged them up.

There weren't many with names left alive.

The Wife, of course, had not come to grief, come hell or high water, half-suffocated, she had sat it out under the chairs, covered in bruises but, like the iron man, almost unharmed — so there is a way out when the carriages are crashing on to one another?

No!

But what about the Wife?

Coincidence — she wasn't the only one who tried to escape, to wriggle out of it, to sit it all out, there they are, still where they were under the seats, some had their heads kicked in, some had them smashed by axes. Pure coincidence, too, that the new female Joint Chairperson is alive, although, of course her profession is in some ways as much of a hell as the picture now resolving itself before her eyes, images draining away like rainwater into the earth after a downpour. Five living Names, less important ones, were all they collected. They included the Muse's Director, who had occupied an empty seat.

The numbers are at work, dragging whole seats — and what remains of what was sitting in them — closer to the stage, leveling them out, forming them back into rows, and almost without abuse, almost without quarreling, seating themselves in them — for what is there to quarrel about?

Here it is, success.

Nine Hundred and Thirty-Seven sits in the sixth seat of the first row as though he has been sitting there all his life. Sitting beside him is the former Three Hundred, and the others are not wasting any time either.

And there's our iron man, Nine Hundred and Ten, already settled into the Official's seat — not the old one,

true, that was shattered or shredded — but a new one has been set in the same place. Not actually a new one, of course, there's the number Six Hundred and Sixty-Six still on the back of it, but the place is the Official's place, and that's what counts. He sat down as the iron man, but he rose as the Official.

And then it started.

“Well,” said the new Official. “What shall we do with you? You have killed so many of our people.”

One of the bound prisoners snarled at him:

“You killed them yourself, nobody else did.”

The Official spread his arms sadly and shrugged his shoulders, people from the front row rose and went across to the slanderer. And with their bare hands, in the sight of all there present, as it says in the ancient chronicles, they strangled this louse, who had dared to contradict the Official (the depths these Names had sunk to, the old Official had been too soft on them) while he was speaking — for numbers love order too. They dragged the dead body aside. The Wife saw his tongue lolling out, and she shuddered, and he reminded her of her Husband in bed. Now the Wife realized why she had hated her Husband all her life — when he blew his fuse he was like a strangled corpse. She thought with relief that now she was free of her Husband, and she smiled.

“Are you smiling? Are you laughing at us?” The Official was absolutely furious. Like anyone who has only just seized power he was, of course, suffering from morbid mistrust in the sincerity of respect shown to his authority.

But the Wife just smiled even more broadly and said:

“I'm simply glad that a real man like you is in charge.”

She hadn't done the rounds of almost the entire male population of the City for nothing. What hadn't she

learned in her varied life — getting round a man was child's play to her. She knew the higher diplomacy of relationships as well as a senior school-boy knew his multiplication tables — what to say and how at such a moment to the former Nine Hundred and Ten, for a position is all very well, but inside (with, of course, the additional experience of the crash) he was still as yet the former Nine Hundred and Ten, with his mind fixed on getting a number a bit higher (which he had), and a decent woman, from somewhere in the eight hundreds. As for the Wife — in this very hall just over a week ago he had sweated and snorted, and dug his fingers into the back of the seat in the course of the model lovemaking. Who could resist the charms of the Wife, whose body he, like everyone, knew like the back of his hand, and had carried for so many days in his heart? Reassured by her words, and encouraged by his desire, he said to the Wife:

“You have earned a pardon.”

And no one spoke a word from the hall, they respected order too. Only when she went over to him, sat beside him, put her hand on his shoulder, and he put his right arm around her and pressed her to him, several rows of the seats still standing squeaked, and no wonder — almost all of them were either broken or scarcely holding together.

The Wife thought how she had always lived with a sensation of loathing for her Husband and her life; and it was quite possible that the names were to blame for that, they had made her what she was. This thought reassured the Wife, and glancing around, and noting to herself the strong hand calmly lying on her shoulder, she thought that to be the Official's partner was success, and everything that had happened was for the best — she had been lucky. Glad at what had happened, she began to feel attracted to the man sitting beside her, and her hand grew

hot, and her hips grew warm, and through the material the warmth touched the Official's legs, and he shuddered, and what he was doing at this minute was determined to a certain extent by this feeling of having a woman beside him.

VI

“Well now,” said the Official, “we have before us the Joint Chairperson of our remarkable and excellent Commission. Whose brother or father or near number has not passed under this all-seeing eye? Look at this monster.” Everyone looked at this monster, and no one felt even the slightest stirring of doubt that he had to look, no one even felt the slightest stirring of regret that none of them felt the slightest stirring of doubt that they had to look. To listen to the other Official, the former one, would have been insulting to the spirit of the numbers who were left alive, but not listening to this one. Because he was them — and surely it's not insulting to listen to yourself? As for the habit and experience of obedience, they had plenty of that.

All of them, even those who had squeaked their rickety seats, looked at the Joint Chairperson. And the sight was worth looking at. The material at her breast and her waist and lower was tattered, exposing the beautiful pink young body, and only by the neck was there a bruise left by someone's misdirected blow with a chair-leg or some other sharp instrument, for instance a woman's nails.

“But we can't see what she's really like,” said the Official. He nudged the Wife in the side and she went over, and without untying the Joint Chairperson, she ripped the remnants of material from her body.

“Now you see.” The Wife raised her eyes to the seated company — there weren't many of them after all, and the

eyes of many of them were familiar to her, but they were occupied with retribution and, of course, they could not allow themselves what they wanted and what the Wife knew all about.

“Now we see...”

The Wife was about to go back, but the Official stopped her:

“Wait, insofar as we represent our brothers who have here given up their lives” — he pointed into the hall — “we must determine the degree of guilt of each of our enemies who is left alive.” The Official pointed first at the Museum Director — “We’ll start with him.” The prisoner twitched in his bonds.

“No, don’t get up.”

There was no need to explain anything to the Wife, she had quickly mastered her new duties. At the words from the hall: “He must hide nothing — away with their secrets!” the Wife tore the last few rags from the Director’s body.

“Untie them,” ordered the Official, pointing to the Joint Chairperson and the Director.

The Wife untied them.

“Set them facing each other.”

The Wife turned the seats round and helped the Joint Chairperson and the Director to sit more comfortably. It was all done with sincere concern and kindness. “After all, he’s one of us,” the thought flashed through her head. “I should do what I can.”

As she re-seated the Director, she even stroked him gently on the shoulder, but so inconspicuously that those sitting in the hall could not see it. Having carried out her duties, the Wife returned to her seat, and once again the Official put his arm round her and pressed her to him. He became tense and focused and leant forward.

“And now perform your duty,” said the Official to the Joint Chairperson, “you’re a professional, and if you do it well enough, perhaps...” he did not say perhaps what, but it was clear from his expression that Departure was one possibility, but clemency was not out of the question. The other prisoners had grown accustomed to their bonds and were still. It seemed now there might be a chance to serve the new Official. Lord, how far away was that peaceful time when they didn’t need to make any choices, they could eat, sleep, go to work, and life was as clear as the name they had and which, of course, they had earned. No need to think about any new face. But then, He-Who-Stands-Over-All had been prophesied by one of their own, and their brains just couldn’t make sense of that riddle. Yes, he was even more them than they were themselves, and there could be no two ways about it.

“Your Name?” asked the Joint Chairperson, who had also had an inkling of hope. The Joint Chairperson began to do her usual job, there was no more hall, no fight, no feeling that the Official was watching her and she had to make a special effort in performing her duties.

The accused had also conceived a hope: after all, it was quite clear that those sitting in the hall had been just as involved in the fight as he had, and he was no more guilty than they were. And then an interrogation in public is not the same thing as a tête à tête in the Joint Chairperson’s office.

“Director!”

“For how long?”

“Two years now.”

“How many corrective operations did you have in order to receive this name?”

“Six.”

“Why was such great concern shown for you?”

The hall was indignant, not even in the most favourable of circumstances could any of them have counted on having two operations, one was the best they could expect.

“What was your initial likeness coefficient?”

“Minus twenty.”

The hall let out its breath. “Monstrous!” They had been stuck in the middle numbers with a coefficient of minus ten.

The further conversation between the Director and the Joint Chairperson exposed such a large number of violations of the Law of Operations that in half an hour everything was quite clear. And despite all his attempts at subterfuge, the accused always came up against that single, central truth, one tenth part of which would have sufficed for Departure even in peaceful times — but today, in front of the numbers, after so many deaths... The Joint Chairperson, however, was merciless.

“Did you yourself believe in the justice of the Law of Operations?”

After he had replied no, but he had always honestly carried out his duties, and the entire City had been educated with the programs that he had produced, which had invariably reinforced the citizen’s aversion for any other life, the Joint Chairperson asked a seemingly innocent question:

“And did it not seem to you that in reinforcing the aversion for any other way of life, you were developing an aversion for absolutely anything that was new?”

“Of course,” — the accused’s response was immediate.

“And therefore,” the Joint Chairperson continued in a lazy, careless tone, she even smiled, “for the new face too.”

“Therefore, for the new face, too.” The frightened accused breathed out the phrase, half-meaningless under

the circumstances. His eyes were full of terror. Good God! he would never have thought of that, now he realized that he really did deserve Departure. And sentence was pronounced...

"Taking into account such and such counts of guilt," said the Joint Chairperson, who had risen to her feet, but rather abruptly, so that the skin on her neck had tensed and pulled open her wound, and from beneath the crust of clotted blood there emerged a fresh, bright-red drop, which ran down across her breast, halted for a moment, crept across her belly, lower and lower, slid over her hip and finally spread out beside her right foot. A small puddle formed on the stage, but the Joint Chairperson was absorbed in her work and her triumph, and she did not notice it.

"Taking into account the understatement by the accused of the damage which he consistently inflicted upon the City over a period of many years, or to be more precise, which was inflicted upon the City under his direction," pronounced the Joint Chairperson, as though reading from a sheet of paper in her hand, although in fact there was no sheet of paper, and she reformulated the text several times as she went through it, but in general she spoke smoothly and with genuine professionalism.

"Yes, that's real skill," the Official took note, "I should learn from that." And he learned.

There followed another series of counts of guilt, to which the accused had not confessed, which had not been mentioned but which (and everyone understood this) ensued from the single confession of encouraging aversion for the new face.

As they carried out their new duties in the name of the new, in a manner not only quite irreprehensible, but demanding a heroic feat of service to a new idea, they were also thrown into a certain degree of confusion by the un-

expectedly large number of counts of guilt which ensued from a single one, of which the accused had been unaware. Each of them began involuntarily to measure these counts of guilt against himself, and it turned out that to a certain extent they had all played the same role, although perhaps at a different level from the accused. The Official also began to ponder, but not along the same lines as the hall. As far as he was concerned now, there could be no question about those sitting in the hall... He'd have to think about that a bit later, he thought, and squeezed the Wife's shoulders still tighter.

"Enough," said the Official, and everyone sighed in relief, because the Joint Chairperson might actually have begun to list the counts on which they too were guilty, and then... "Since we are unable to administer Departure according to the rules... by the way, do you know how the rules define the method of Departure?"

In her agitation the Joint Chairperson shifted her feet and almost fell as she slipped on her own blood; it was a good thing that one of the accused held her up, she thanked him with a quick nod.

"No, that's not my area."

"A pity," said the Official, "we'll have to improvise our own amateur methods. But you will also have to master a new profession. You are appointed Administrator of Departure."

Approval lit up the faces of the hall. That's right, let them administer Departure to each other. After all, if they'd taught us about the new face in time, nothing bad might have happened in the hall today.

There was a pause, and then in the place of the severe, precise, harsh professional face concealed behind a mask of gentleness, they all saw a weak woman on the verge of howling out loud, that is, not actually howling, but the

tears began to roll down her face. She didn't know — and this was the truth — how to administer even an improvised Departure. And not because she hadn't seen it done, but simply because she had devoted too much energy and too many years of her life to a different trade, a trade which was restricted to mere inquiry, accusation and examination.

Of course, the Official was not at a loss. He inquired of the accused whether the latter was able to administer the sentence of the court himself. The latter shook his head in a rather thoughtful manner, because he was sincerely tormented by his guilt and the sudden realization that the duties which he had punctiliously and religiously performed for so many years, had been so detrimental to the City.

"In that case," the Official continued to demonstrate inexhaustible invention — he had accumulated so much energy during the years of hope, with nothing to expend it on (you can't use up much of it editing broadcasts) — "can you administer an improvised Departure to her?"

Yes, the Director is still the Director. Even if he is condemned to Departure and crushed by a sense of guilt. He was interested by the suggestion, and only one thought concerned him: "What would he get for it?"

"A seat in the back rows of the hall," the Official responded immediately.

"I can," said the accused, without pausing for thought. And once again he saw before him not a woman with blood streaming down her body, but the stern Joint Chairperson.

"Then I also can," said the Joint Chairperson, looking into the eyes of the accused, and then into the hall. Ah, how subtle and clever the new Official was.

"I think that the accused deserves to be punished twice: once for his guilt, and a second time for forgetting

his guilt so quickly and accepting clemency which he does not deserve. But our court is both the most just of all that exist, and it is new. Since we have suggested it, first he will administer improvised Departure to her, and then we shall make our decision.”

The Director administered improvised Departure to the Joint Chairperson. He took this young and beautiful body by the legs, and he smashed the head of this young and lovely body against the floor of the stage.

“He administered it well,” said the Official, “but we will reserve pronouncement of our final decision.” He squeezed the Wife’s hip, turned to face the hall, and winked.

Having heard this, the Director picked up the Joint Chairperson, his right arm under her knees, his left behind her back, carried her to the heap of other bodies, and set her down carefully so that she could lie there comfortably, even adjusting the position of her head.

VII

“**W**e appoint you in the interim to perform the duties of the Joint Chairperson.”
 “The next accused!”

She was a young girl, only just past the threshold of maturity. The Wife recognized her, she was one of next year’s candidates for the name of Wife, her future rival. The Official was suddenly extremely polite. He changed before their very eyes. A moment ago they had all seen a witty, somewhat over-familiar man full of energy, and now there appeared before the hall a man one might even call courteous, that is, if you couldn’t see his hands — entirely unconnected with his kind, attentive face, or the clear expression of his eyes — as they fum-

bled with the thighs and the breasts of the Wife sitting with him. But what does that have to do with the matter he is dealing with? The girl was attractive. She was so attractive that the Wife did not carry out her new duties, for fear that the numbers' sensitive souls might be touched by pity — and the half-shredded material was left on the girl's thin body.

But the Director, who has somehow managed to survive so far in this honest, new and just court, has already begun his interrogation, somewhat concerned that he will not be able to manage the investigation as professionally as his predecessor. But, whether because in the course of his own profession he had frequent occasion to investigate the guilt of his subordinates before handing them over to the Commission, or whether because of what he had just experienced (experience frequently makes us wiser and more sincere), or whether for certain other reasons, he demonstrated abilities as an investigator which had remained hidden until required at this moment. In their declining years many people begin to behave like youths, indulging themselves unnecessarily in love, or, in contrast, going into politics, and all entirely as a result of the fact that the unused experience they have accumulated longs to be exposed, to be demonstrated to others.

And so, after an interrogation of literally seven minutes, it became clear that there was in effect nothing to accuse her of — she hadn't worked anywhere, she wasn't involved in anything, she hadn't been a member of anything, she wasn't, in fact, guilty of anything. Of course, in the Official's place anyone else might have suspected the Director of tendentiousness and a desire to help his own kind, but the Official was sufficiently clever to guess that no matter how you tried it would be hard to get anything out of this

frightened, fresh and lovely — at this point he glanced at the Wife — young girl. And she — the Wife — somehow seemed a little less attractive to him just at this moment... On the other hand, the Official was clever enough to understand that even if she was innocent, she belonged to the names, and therefore... After all, justice is supreme over all things, thought the Official, and the way a matter is begun will decide how it continues. And then, what's done here is one thing, but there's still tomorrow, and tomorrow we'll have to account for ourselves to the New Face.

We don't know what else the Official might have gone on to think about, involuntarily squeezing the Wife's hip tighter and tighter, until the effort of his thoughts was so great that the Wife could stand it no longer, but as an experienced and educated woman, of course, she didn't smack his face, she didn't insult him, she didn't protest, she didn't complain of his behaviour to those sitting around her (and their train of thoughts concerning the Official was about as long a train as the Official's concerning what he ought to do now). No. The Wife calmly stood up, went out into the centre of the stage, limping slightly (after all, there was nothing wrong with the Official's fingers), went across to the Director, took him by the nose — which, of course, made everyone in the hall laugh, she did it with such an air of caring sympathy — led the Director off to the side and sat facing the girl.

"Tell me," said the Wife gently, "next year you were to have been a candidate for the name of Wife."

"Yes," said the girl and hastily added that they had told her so and prepared her for it, but they had hardly made any corrections, just very minor ones, her face had a naturally high degree of likeness.

"That is, of course, to the old face," specified the smiling Wife, polite as ever.

“But there was no other,” the girl answered guiltily, but sincerely, “we simply didn’t know any other.”

“Now, perhaps the last question I have for you. Next year, if you were selected as Wife, you would, of course, have faithfully endeavored to fulfill your duties?”

“Of course,” said the girl.

“And so have continued to serve what is now repulsive and unacceptable to us all?”

“That’s right,” said the girl. “Only I don’t know how it would have been.”

“You would have served the propaganda of the old face,”—saddened, the Wife spoke almost to herself, and she spread her arms wide and rose from her seat. And each within his own mind, the people sitting in the hall all rose from their seats and spread their arms in sympathy with her sadness.

The Director now performed the second part of his duties. Then he picked up the girl professionally — right arm under her knees, left arm behind her back, and carried her across to the same spot, to the same heap, and took just as much care putting down the body and adjusting the position of the head.

The Official was disappointed with the Director. The entire hall was disappointed with the Director in the role of investigator, very disappointed.

“Untie the three who are left,” the Official said to the Director.

The Director did it. The Wife at the same time sat back down, prepared to continue with duties so well begun.

“Are your hands numb?” asked the Official kindly. It was quite obvious that they were. “Very well,” he said, “our Director will now take you through a series of warm-up exercises. Please carry on,” he said to the Director. The latter dragged his weary body out to the centre of the stage, and it began.

“Hands up, and one, and two, and three... hands on your chest. Squat down, once more, straighten up, and one-two-three, and one-two-three, and one...”

No double the gymnastics would have gone on for longer, but the hall began to feel bored, and the Official cut short this magnanimous procedure with a gesture of his hand. It had clearly helped the accused, for their arms now seemed to obey them once again.

“And now,” said the Official, “I think the time has come... How are your hands?” he asked the three accused.

“Fine,” a redheaded woman answered for all of them, making a few movements with her wrist, and smiling at the Official and the hall.

The Official continued with his speech, after smiling back at her:

“The time has come to keep the promise we made to punish the Director. In the first place — for his guilt, in the second place — for not punishing himself, and in the third place — for something which happened before your very eyes...” He appealed to the accused and the hall — “he administered Departure to a woman who had refused to do so to him, that is, he showed no appreciation for her noble gesture, nor for our magnanimous decision to allow him the opportunity to demonstrate his moral capacities.”

The Official sensed that both the hall and the accused were on his side. There could be no misunderstanding here — each of them had felt a sense of disgust for the Director, and they had not the slightest doubt that in this situation they would have behaved in the same way as the poor woman who had refused to administer Departure.

Ah, what a difference support does make! The Official could now be humane and liberal. And he permitted the

three accused — not ordered or insisted, but precisely permitted if, of course, they so wished — to administer the Director's Departure, which he had deserved merely for his behaviour during the last few hours of the hall's work.

VIII

Unfortunately the three accused, led by the redheaded woman, were not allowed enough time to finish administering Departure. The doors up above swung open, and a crowd burst into the hall. These were the people with different faces, ones who had neither names nor numbers. They lived on the very outskirts of the city, and only when the City gathered in the Hall of the House were they permitted to approach the square before the House, and standing under an awning erected for these rare and solemn occasions, to listen to the music wafting out to them from the walls of the House with a clumsy energy like a swan just before it alights on the water — but for them this was the great music of involvement in the main life of the City, the music of impossible hope and the music of non-existent prospects. Today, though, there had been no music, today He-Who-Stands-Over-All had transformed it into words and equal rights for them, the ones who had stood here on this square once a year century after century for the Choice of the Principal Couple, knowing only by hearsay what the proceedings were, not once setting foot inside the doors of the House and the houses in which the people with a name or a number lived — for them, who had no future, because the future was the same as the present. Today, He-Who-Stands-Over-All had transported them into that non-existent future. The

town was given over to them, the people of the different faces and the different eyes, by Him-Who-Stands-Over-All. How could they not believe him, if while he spoke the very rain was stayed by his hand!

The service, the payment for this gift, was convenient, necessary and desired by Him — to exterminate everything living in the City which bore the old face, and it didn't matter that when He-Who-Stands-Over-All finished speaking the rain lashed down harder than it ever had in the City, as though the water which had not fallen during the temporary pause had merely been stored up and then poured down on to the earth. With their strength, with their pressure, with their right, with their bodies, the people had burst open the doors of the House and flooded in. Like a tank crushing a snail without even noticing it, like a landslide carrying away a slim sapling, like a plane smashing a bird to pieces — that was how the people still in the hall, and the accused, together with the Director and the Official disappeared beneath the torrent of arms, teeth and legs. In five minutes it was all over. All the people who had been in the hall had the old face, and the invaders knew just what they had to do — any old face of any degree of likeness had to be destroyed that day, like a captured bed-bug or a cockroach. And then the landslide, having swept through the hall, swept on out of the building, spread through the town, through the houses, through the laboratories, through the streets, thoroughly and deliberately destroying as it went everything that fell into its hands, the way a swarm of locusts devastates a field that happens to lie in its path.

IX

The Muse came to herself when the Face-Maker was pulling her shirt down on to her shoulders, he poured her a glass of ice-cold water which made her teeth ache, and having drunk it she wiped her lips, which were not hers — they had become softer and fuller. The Face-Maker showed her her face, and the Muse was astonished. It was a beautiful face. She moved her head, and her hair at the back seemed to be caught by a breeze, and it tumbled down the Muse's back.

“Is this me?” said the Muse. She saw her new, staring eyes, a long face, white and gentle, a thin, straight nose, and the face was severe and full of strength. Only it hurt. “But why did you do it?” said the Muse. “And why didn't we stay in the hall?”

But probably all people have their limits, even face-makers. Too much strength had been expended on Him-Who-Stands-Over-All and the Muse. The Face-Maker said nothing, and while he thought in silence, trying to answer for himself a question which only recently had been simple, and explain out loud to the Muse why he had done it, the doors opened and his surgery was flooded with the people who, after sweeping all before them in the Hall of the House, had spilled out on to the street and spread through the houses where those who had the old face had lived and worked. The flood halted only once — before the miracle — flowing backwards as though it had run into a wall. They had seen the new face — the face of Him-Who-Stands-Over-All, which was still alive in their memory — and after drawing back, they approached, carefully raised the Muse up on their outstretched arms, and slowly and solemnly bore her to the Hall of the House, in order to show her to

everyone. They had become the Muse's slaves, but now she also belonged to them.

They did not look back as they left. What did they want with the man sitting in the corner with his hands resting on his knees, at such a solemn, holy moment they did not wish to soil the hands which bore the Muse, and the old face would not escape — those who were following would do their duty and swill the filth away.

The Face-Maker stood up, put on his cloak and followed them out almost indifferently, the way the dead give up their bodies to the worms, the way the dead give up their bodies to the fire and drift downwind as ash, feebly and slowly, gently and calmly, like the burnt fragments of a letter from one who was beloved and now means nothing.

The Face-Maker lowered the hood over his face and slowly wandered down towards the houses, along the street which was deserted here, near his laboratory, but from down there, from down below, where the citizens' houses were, he could hear shouts and groans. The groans would break off and the shouts would explode into a merry rumbling of voices, then fall silent, and then again after a little while there was that almost subterranean rumbling — as though a volcano were churning its lava, as though the voices were playing a game of hunt-the-thimble, and when they were "cold" it was quiet, and when they were "hot" the volcano growled.

When the Face-Maker got down below the zone of the House he understood the principle that governed the alternation of silence and rumbling — the crowd rushed through the streets and some of its members ran in at the doors that stood open in every house in the City, while the crowd waited silently in the rain, and the rain lashed down on the threshold of the doors standing open, and flowed into the entrance-halls, and puddles stood in the entrance-halls,

and then, splashing up the water of these puddles, the ones who had gone in dragged out the inhabitants of the houses who were still alive, and the crowd greeted their success with a roar, they all seized their victim, helpless in the face of their strength, and bore him off in their arms, up towards the House.

The Face-Maker halted beside the crowd without raising his hood from his face, melted into its ranks and began to wait with the rest of them by one of the entrance-ways, silently, as those around him waited silently for their prey. He saw them carry out of the entrance a person in tattered clothing, half-dead, with a face mutilated by blows. The crowd whooped in joy, they tore the last remnants of clothing from the man, the naked body was raised aloft on their outstretched hands, and like drumsticks the streaming rain beat on the man's body in a rhythm of triumph. The rain was joining in the festivities. In order to see this spectacle through to the end, the Face-Maker also put his fingers to the man's body and set off with the crowd up the hill towards the House. While the people were walking through the streets, no one took any notice of the Face-Maker. They were intoxicated with their mission, they, who only yesterday had not dared to take a single step on these stones were today the authority, the inquiry, the court.

Perhaps the Face-Maker could have made the journey through the streets more than once, then sat it out somewhere, in order to see the Muse at least once more from a distance, and see the life of the new City with a new face, see the creation of his own hands. But it was his hands that gave him away — not the face, that was hidden under his hood. When the people went round the House and in through a side door into a hall which the Face-Maker, having lived a lifetime in the City, had never seen, and the light sprang up, striking the faces beneath the hoods and illumi-

nating the hands, then at the condemned man's back, surrounded by the hairy, hooked, short, coarse fingers, the whiteness and slimness of the Great Face-Maker's fingers was suddenly highlighted, like a lily blossoming in a stinking bog in defiance of all common sense. A lily. They dumped the half-dead man on the floor and crowded round the Face-Maker, tore off his cloak and his clothes, and when they saw the old face, they began to shout in their astonishment at the shamelessness and lack of delicacy of their predecessors, and they were convinced yet again of the justice of their hunt. The very height of cynicism, to march in their ranks!

Raising the Face-Maker over their heads, they approached the Door of Departure, and lowered the Face-Maker down on to a narrow black landing, the upper step of a staircase leading downwards, and the Face-Maker met the eyes of the man lying on the floor, and smiled, and nodded, and then transferred his gaze to the people who were watching him from beneath their lowered hoods, so that it was hard to make out their faces. Maybe even some of them knew the Face-Maker — but then what did that matter? The man had fulfilled the purpose for which he was sent into the world. Departure is merely a question of time and technique, which are a matter of indifference to the person to whom it is administered. The people watched the Face-Maker and waited for his reaction — the ways in which they had seen their captives depart had been so very different, some had cried, some had fallen to their knees and kissed their executioner's feet, some had attempted to resist, and they had been forced to half-strangle those funny fellows to stop them making too much fuss before Departure. Once again the Face-Maker was astonished at himself — at this moment he felt neither fear, nor surprise, nothing at all apart from a dull curiosity, just as he hadn't had any fear

when he led the Muse out of the hall, or on the streets of the city, or here now. Probably he had left his fear and love and desire in the face of Him-Who-Stands-Over-All, which shone so brightly for these people and was so omnipotent that in His name all was permitted, all was forgiven, all was justified. The staircase moved beneath the Face-Maker's feet, and began to slide downwards, the doors parted and closed behind him with a click — the way the mouth of a fish out of water closes in a silent convulsion.

While the doors were opening the Face-Maker laughed with his lifeless smile. The Muse was alive. It didn't matter that he wouldn't be there — the Muse was also the Face-Maker. These harsh, hooked fingers would love her, and she would teach them her tenderness, which she had discovered with the Face-Maker. The Face-Maker smiled again, perhaps at his own naivety, or perhaps at the truth which he saw, or wished to see in this way. The Face-Maker transferred his gaze from within himself outwards, and for the first time he saw the blue dome of the hall soaring upwards out of sight, and below and ahead of him a frozen motionless mirror of yellowish water, a mirror that was trembling slightly at the point where the staircase moving beneath the Face-Maker's feet disappeared under the water, and small circles ran out across the surface and disappeared again not far away — the water was heavy and sluggish, as though oil had been poured on to its surface.

Let the entire city and its new inhabitants in here, throw them, shove them into the water, and there would not be a single splash, not a wave would heave up on this heavy surface, and such is human memory — it drowns without trace, it dissolves destinies, bodies and events, great face-makers and great ideas. The Face-Maker can depart calmly without knowing, and therefore without remembering, that the City has gone mad and time has fallen out of joint. The final

Face-Maker will now move down towards that thick, green, heavy silence and oblivion, there will be no one to carve these faces into the standard features of beauty, nobility, severity, the new standard, for the secret of the craft and the art, together with the fingers, the slim, white fragile, sensitive fingers of the Face-Maker, and his intellect, equipped with the age-old ancestral ability to create a face, will melt away with this single, temporary, fleeting body which contained within itself the traditions of the clan. But the Muse, whom he had left to the people, she would grow old and eventually would depart as he had done, and if she should have children, they would not be like the Face-Maker's Muse, the man-made Muse, they would have their original faces, the ones that each inhabitant of this city had inside.

"The Muse's children will be like the people with no face," was what the Face-Maker thought in his knowledge of the future. "They will have their own faces," was what He-Who-Stands-Over-All thought, who had known the future before it had even begun.

The City had gone mad, the City had been driven mad, and who can tell what awaits the person who has departed from repetition and example; in the entire history of the City, no one had ever returned to his primal state, but perhaps this is not a return to the primal state.

The staircase shuddered beneath the Face-Maker and stopped with only half a metre left to the water, and the Face-Maker swayed forward, but he held on, astonished that the movement had stopped. It was an illusion, the movement had simply become so slow that it was almost imperceptible. Now there were only centimetres left to the water, and it looked soft, and steam rose from it. The water was warmer than the air, its warmth drew him towards it.

The Face-Maker thought that now it was time to re-

member the Muse, and the City, and his work, which had brought him so much joy.

“Did it really bring me joy?” he asked himself.

“It did,” he immediately reassured the questioner.

“Are you afraid of what’s happening now in the city? Or are you the cause of what’s happening?”

“I’m afraid, but you know that you’re not the only cause of what’s happening,” he reassured the questioner.

“But if not for you — would it all have happened?”

“Perhaps not like this, perhaps it would have even been more terrible, and...”

The soles of the Face-Maker’s feet touched the water, at first the warmth, and then the water. Yes, it was a familiar sensation, but there was no time left to remember what it was like, because his thoughts began to flow out through his legs into the water, and his legs themselves were becoming invisible beneath the transparent greenish water, they were melting, as sugar melts into boiling water, as a plane melts into the sky, as a snowflake melts into your hand, as the dawn melts into the morning. But there was no pain. The water was already working at his hips, his belly, his chest, but there was no pain, there were only weariness, peace and submission in place of a body, and his thoughts were becoming warm. Then the vault over his head began to glow red-hot, and this heat touched the Face-Maker’s eyes and just as his body used to be covered with goose-pimples before it was warmed by the steam-bath, the Face-Maker’s eyes froze, and the tears that had risen in them froze. Through the ice the Face-Maker attempted to see the vault and the water and what was still left of his body, but his vision began to be locked into this ice — the way a horse that has fallen through ice into the river may break the crust, but the sleigh still drags it down to the bottom — the way it is with a plane out of control — everyone is still alive,

their hands still function skillfully and precisely, but the earth is rising up to meet it like a billiard ball — the way a dog trapped in the skin-merchant's cage struggles frantically in a futile attempt to break free. The oppressive heat finally overpowered the cold, extracted all the air, his throat swelled up and his cry emerged through his melting eyes, because his mouth was already in the water and was drifting downwards, drawn towards the exit by the current. His eyes cried up to the red vault, they turned red, they melted, and his pink eyes set, not as the sun sets in an eclipse, but as it goes down when it has served its entire term. The vault listened indifferently to this cry and gradually it grew calm and blue, as a house that has been burnt out will be grown over with grass and become transformed into a green wood, so that a century later no one can guess whether there was a powerful state here, or whether high towers stood here beneath the blue vault overhead, and down below the surface of the lake is frozen still without a single ripple.

There were only small circles now running out from the almost imperceptible movement of the staircase, while the eyes and thoughts of the Face-Maker went gurgling out through a narrow channel into the streets of the City and its eternal stone canals, and they were calm and serene, because ahead lay the long journey along the canal to the outskirts, beyond the limits of the City, into the waters of the river which received the canal, and then along the old channel to the ocean, which is eternal and constant, gazing up with its green eyes into the blue sky. But that would be later, for now he was surrounded by the usual houses, built of the stone which is not afraid of water.

The rain was falling as usual, and the Face-Maker thought that somewhere he could hear the Muse crying.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
-------------------	---

ГРИМЕР И МУЗА

Жертвоприношение	8
Глава первая. ВЫБОР	13
Глава вторая. ИСПЫТАНИЕ	111
Глава третья. ОПЕРАЦИЯ	167
Глава четвертая. НОВОЕ ЛИЦО	207
ПОСЛЕСЛОВИЕ	243

THE FACE-MAKER AND THE MUSE

Перевод Эндрю Бромфилд (Andrew Bromfield)

Sacrifice	252
Chapter One. THE CHOICE	258
Chapter Two. THE TRIAL	366
Chapter Three. THE OPERATION	432
Chapter Four. THE NEW FACE	476



Леонид Александрович Латынин
Гример и Муза

The Face-Maker and the Muse

Перевод на английский язык Эндрю Бромфилда

Роман

В оформлении обложки использованы иллюстрации
Андрея Нефёдова и Тимура Исхакова

ООО «Агентство ФТМ, Лтд.»

Генеральный директор В. Е. Попов
Выпускающий редактор А. А. Кобылянская
119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 1
www.litagent.ru; office@ftm-agency.ru



Знак информационной про-
дукции согласно Федеральному
закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ

Отпечатано: Публичное акционерное общество
«Т8 Издательские технологии»
109316. г.Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
www.t8group.ru; info@t8print.ru